

К 84(2.Рос.-Рус)6-4
А 67

60

Маргарита
Анисимкова

СОЛНЕЧНАЯ ЗЕМЛЯНКА

Повесть и рассказы





КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТОК
СРОКОВ ВОЗВРАТА

КНИГА ДОЛЖНА БЫТЬ
ВОЗВРАЩЕНА НЕ ПОЗЖЕ
УКАЗАННОГО ЗДЕСЬ СРОКА

Колич. пред. выдач. _____

MIN. WIZNAPUARTOUSA



347 107 1060



МАРГАРИТА АНИСИМКОВА
СОЛНЕЧНАЯ ЗЕМЛЯНКА



ПОИСК И РАССКАЗЫ

МАРГАРИТА АНИСИМКОВА
1927 г.р. ЛПО
ул. Мухоморова, д. 10/1

Учреждение
Муниципальное образование
2011

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՏՎՈՒՄԸ
ԵՎ ԿՈՒՆԿՐԱԿՈՒՄԸ



К84(2Рос-Рус)6-4

А 67

МАРГАРИТА АНИСИМКОВА

СОЛНЕЧНАЯ ЗЕМЛЯНКА



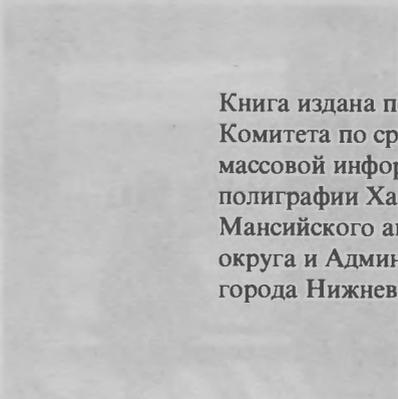
ПОВЕСТЬ И РАССКАЗЫ

Нижевартовское
МУ "БИС"
инв. № 124875/74-7

LKO
-356p

Екатеринбург
Издательский дом «ПАКРУС»
2005

БК 84(2РОС)
А 67



Книга издана по заказу
Комитета по средствам
массовой информации и
полиграфии Ханты-
Мансийского автономного
округа и Администрации
города Нижневартовска

5-901214-69-2

Анисимова М. К., 2005
Издательский дом «Пакрус», 2005
Реутов В. И., оформление, 2005

СЛОВО

В эту субботу Дима собрался на работу, только что...

СОЛНЕЧНАЯ ЗЕМЛЯНКА



ПОВЕСТЬ

...и только на пути к работе он вспомнил, что...

FORNIA 2000



FORNIA

FORNIA 2000
FORNIA 2000
FORNIA 2000

ГЛАВА ПЕРВАЯ

В тот год лето было щедрым на яркие, жаркие дни. Теплые, тихие дожди шли по ночам часто, досыта поливали землю, и она отозвалась хорошим урожаем, сочными травами на лугах и покосах, изобилием грибов и ягод в лесу. Осень подступала незаметно, казалось, летние дни спутались с осенними. Солнце стало мешкать с восходом и выкатывало из-за увала лениво, сбоку. Вроде нехстати подули ветра. Они-то своей холодной колкостью предсказали скорую осень: ночами озорно перещупывали листья на деревьях, рассыпали их по земле желтоватыми золотниками. Стали хохлиться воробушки.

По чутью рогатый драчливый баран по прозвищу Серапион привел с луговины овечье стадо. Овцы разлеглись на поляне возле колхозного правления, которые посмелее взобрались на завалинки, а сам Серапион разлегся между двумя белыми ярочками и водил по сторонам блестящими выпуклыми глазами.

– Эко шубы каки наростили, – боясь вспугнуть одичавших за лето овец, певуче проговорил дед Кунара. – Бали. бали-бали, – шевелил он губами. – Лежите, милые, не потревожу Бабы-то радешеньки будут – сами пришли. Ну, ты, Серапион, молодец. Слов нет – молодец. – Крякнув, дед перешагнул через широкую плаху и, сощурившись, поглядел на овец. – Ну, Серапион, здря я тебя нахваливал. Гляди, какие репейники нацеплял. Одне комья, одне комья – шерсти не видать. Это где же ты пасся? Вот бабы первым обкорнают тебя, как новобранца! – дед Кунара хохотнул и перепрыгнул через низенькую ступеньку.

– Семена Савиныча там не видать? – послышался голос председателя. – В район надо ехать, а он ушел, и с концом.

– Раз знает – придет. Не такой человек Семен Савиныч, – усаживаясь на полу, возле печного поддувала, куда удобно

всовывать окурки, сказал дед.

А у Семена Савиныча как на грех от быстрой ходьбы выкатилась грыжа в паху. Ну, прямо в самое неподходящее время. Он прилег на минуту в чулане на сенной матрац, осторожно прикоснулся шершавыми пальцами к тугой шишке под кожей, рассуждая, что вроде бы неловко было ложиться в больницу с маленькой бородавкой, а теперь эта окаянная бородавка вона во что оборачивается! Первый раз выпрыгнула на Левинской присаде, последний зарод метал. Ясное дело, от натуги. Сено там было такое запашистое. Не оставишь же его под дождем. По быстрым шагам во дворе догадался: Марфа бежит. Семен Савиныч затаился, обтер со лба пот, опять потрогал припухлость, надавил посильнее: и она вроде как булькнула, потерялась. "Ясное дело: брюшина лопнула", – поставил он сам себе диагноз, облегченно вздохнул, но встать сразу не решился. – А сено-то на Левинской присаде только для теляток, – воротился он к мысли. – Теперь теляток-то молоком не балуют, сразу у них молоко отбирают. Все в район увозят – в детские ясли да интернат. А ежли бы я тогда бросил все из-за своей бородавки, сено бы под дождь ушло. А дождь все запахи у травы отбирает. Только промочит его – и сразу другой вкус. С виду вроде каждая травинка прежняя, а аромату нету".

– В район надо ехать! – кричала Марфа. – Где притаился? Опять, поди, грыжа вывалилась. Половчье бабки Шарихи стал с ней управляться. – Говоря это, Марфа и не предполагала, что Семен Савиныч тут, за дощатой перегородкой, и ясно слышит каждое ее слово. – Может, в районе старинку вспомнишь. Ране-то по скольку ден там куролесил. Слышала и про Милку-парикмахершу, да ладно, вовремя на все рукой махнула, а то бы тепереча, как добрая половина баб, одна осталась.

Легкая дверца, ведущая в чулан, скрипнула, Марфа пугливо обернулась и оказалась глаза в глаза с Семеном Савинычем. Лицо ее вспыхнуло.

– Ну-ну! – проходя мимо жены, чуть слышно сказал Семен Савиныч, снял со стены ременный хлыстик, вышел во двор и с такой силой хлестнул им, рассекая воздух, что Марфа машинально зажмурила глаза.

Опомнившись, она выскочила на улицу и, торопливо вышагивая по обочине, затарахтела:

– Опять грыжа вывалилась? Думаешь, не вижу, как ковыляешь вприсядку? Вот дотянешь, дотянешь! Сколько раз тебе рассказывала, как в Прохоровке Пашка Сизокрыл от этой грыжи чуть не очоурился. Тоже все поохатывал! Пашка помоложе тебя! Не так изроблен, а чуть Богу душу не отдал.

"Вот мелет. Все в кучу собрала. Ведь с перепугу, окаянная", – улыбался про себя Семен Савиныч, слушая пугливую Марфину болтовню.

– Из военкомата звонили. Лошадь вытребовали. Вдруг да надумают Воронка взять, так ты ни-ни. Он у нас один на всю деревню.

Тут Семен Савиныч обернулся, Марфа мотыльком отпорхнула к городье, ей было совестно за свою болтливость: неужто он, колхозный бригадир, меньше ее знает хозяйство.

Но в Марфу будто вселился бес. Вытирая ладонями взмокшее лицо, она продолжала свое:

– Чё это Захар Демидыч тебя посылает? Не нашел кого побойчей, помоложе?

Тут у Семена Савиныча лопнуло терпение, он пригрозил:

– Дошебечешь, космы-то выдеру. – Марфа только ойкнула.

Председатель колхоза, Захар Демидович, по прозвищу Окунь, прозванный так сызмальства за красные ободки на веках глаз, завидев издали Семена Савиныча, заморгал, собираясь махом выговорить сразу все фразы, чтобы не заикаться, не мямлить. Но у него ничего не получилось, и он затянул нараспев:

– В Ни-ики-тинск е-е-зжай. В военкомат. Ежли на счет Воронка заз-заикнутся, шпарь домой, хоть в ночь, хоть за полночь. На лесозаготовки другую лошадь дадим.

– Ну к примеру, – вмешался в разговор колхозный счетовод Прошка Чупров, – можешь сказать, что Воронок на одно ухо глухой. Мол, ухо у лошади с изъяном... – Прошка кивнул в сторону Захара Демидыча: – В деревне хозяин-хозяином, а перед районом глух и нем. Че потребуют, то и отдаст.

– Умолкни. Не твоего ума дело! – строго посмотрев на счетовода, сказал Семен Савиныч и как пришилил взглядом суетливого Прошку. Откуда ему, Прошке, забредшему в деревню за милостыней, знать про все деревенские беды и печали. Чужой человек только и видит, что на глаза падает, а пока до истоков деревенской жизни доберется, много в реке воды утечет. – Ты поперек-то батьки с разговорами не встревай.

Тот все пропустил мимо ушей и нес свое:

– Насчет Воронка ухо остро держи. Он нам самим нужен. Понял? А ведь он, – кивнул счетовод в сторону Захара Демидовича, – перед никитинским начальством робеет. Че ни скажут – он и руки по швам.

Про каждый двор, про каждое хозяйство знал счетовод, пока зиму зимовал да лето доживал. Про все знал, да не про каждого. Про самую главную и страшную беду в деревне он знал понаслышке. Об этом говорить ни у кого язык не поворачивался, у всех душа была на замок заперта...

– Не у него ли в семье взяли врага народа? – спросил Прошка, глядя на сутуловатую спину Захара Демидыча. – То-то чувствую: трусоват. По деревне ходит – все под своей рукой держит, а...

– Прикуси язык, или я тебе его сам вырву, – Семен Савиныч, сжав кулаки, направился к Прошке.

– Семе-е-е-н! – завизжала Марфа.

– Удушю поганца. Я те покажу, как в чужие души плевать!

– Правда глаза колет! – крикнул Прошка, чувствуя, что наступал больное место. – Че я такого сказал? Че? – злорадно тараторил Прошка. – Все знают: добрая половина деревенских мужиков репрессирована. Забраны как враги народа.

– Закрой рот. Не для того тебя от голодной смерти, спасли чтобы ты совал свой нос куда не просят. Уходи. Уходи по-доброму по-здорову, – кричал Семен Савиныч.

Прошка какое-то время молчал, но скоро опомнился и заорал:

– Запугивать вздумал? Я на всех вас управу найду. Свили тут гнездышко и живут припеваючи. Им и война – не война, а люди от голоду мрут. Живут с камнем за пазухой. Тут от всех контрреволюционной отрыжкой отдает!

– Ты-ты, Семен, не ввязывайся в разговор. По-нужай Во-Воронка и в Никитинск. Без дела звонить не станут, – будто ничего не слыша, сказал Захар Демидыч.

Семен Савиныч не запрыгнул на телегу, как бывало, а сел осторожно.

"Какие враги народа? В одну из декабрьских ночей деревенских мужиков увезли неизвестно куда, и никто не получил от них ни одной весточки. Враги народа? Это какой же враг народа Марфин отец? Он дале своей деревни Стрелебной нигде не бывал. И муху, наверное, не пообидел. А у Николая Неволина отец? Самый первый председатель колхоза был. С его старания вся коммуна зачалась. А дядька Шабунин – лесничий? А Павлуха Бородин? Шорник был. Все деревни вокруг сбруи ему заказывали."

Лет за шесть до войны по деревне вроде ураган прошел и вынес из изб всех мужиков. Вконец осиротела деревня. А оставшиеся, не зная, как понять и объяснить случившееся, считали себя виноватыми. Захар Демидович не раз говаривал: "Быть бы вместе с ними. Все к одному концу, чем глядеть на бабьи слезы".

Семен Савиныч сидел на телеге и вспоминал Прошкины слова. "Значит, вот как нас называют. Не сам же Прошка придумал такое", – и ему становилось жутко от таких мыслей. Воронок без понукания бежал рысцой, часто из-под копыт летели брызги, под колесами жулькала грязь. Сейчас бы в самый раз оглядеть картофельное поле, решить, с какого конца начать уборку, с какой стороны заезжать, куда свозить

ботву, но нет. Ничто, никакие думы, заботы, не могли освободить его от Прошкиных слов. Прошли годы, а он явственно помнил тот декабрьский день ...За окнами темень. Ветер раскачивает оконные ставни, они стучат о косяки. В избе от большой русской печи, протопленной березовыми дровами, тепло. Вкусно пахнет щами, паренками, парным молоком. Мать мечется от окна к окну: "Че это отец-то не идет? Пообещал к концу недели вернуться. Какой еще конец? Воскресенье прошло".

Отец вернулся с охоты усталым. Долго раздевался возле порога. Семен помог ему стащить с ног замороженные пимы, размотать портянки, стянуть носки. От всего пахло снегом, дымом костра, потом.

– Экий на дворе холодище, – надышавшись избяного тепла, глухим простуженным голосом сказал отец. – Завьюжило. Еле с Алексеем из снегов выбрались. Хотели заночевать, так он заладил: давай домой. Днем-то мы сохатого завалили, с ним навозились, ночевать не грех, да он свое: сохатого потом на лошадях вывезем. Мяса на всю зиму хватит.

Мать хлопотала возле стола, как весенняя птичка возле гнезда, бросала на отца веселые взгляды, то и дело повторяла: "Вона горячего молока отпей. Я в него масла бросила, пей, а то и так охрип".

– В бане попарюсь – все пройдет.

– Поди, остыла уже. Побегу подброшу дров.

– Погоди до утра. Устал, на полати охота, – признался отец, он сполоснул руки, лицо и неловкими шагами подошел к столу, сел на табуретку. По заведенному порядку после него за стол сажались остальные. "Кормилец", – часто говорила мать.

Семен в ту пору женился. Марфу Миковскую давно приглядел, да подойти боялся, а вчера заметил: вроде как Шурка Шабунин за ней подался. Сегодня он не мог дожидаться вечера, чтобы подкараулить Марфу, а тут отец вернулся. Вроде взрослый, а без спросу из избы не уйдешь, за столом всем сидеть надо, пока отец не встанет. Сидел Семен как на

иглоках. не мог дожидаться, когда отец насытится, ложку положит. А он как нарочно ел тихо, разжевывал крепкими зубами куски говядины, горячее молоко пил маленькими глотками, пока на лбу не обозначились капельки пота.

Отец встал, вскинул глаза в передний угол, перекрестился. Он всегда так делал. Ребят молиться не заставлял, а сам не забывал благодарить Господа за хлеб-соль.

"Я этому Шурке ноги выдерну, если узнаю, что он к Марфе пристаёт", – думалось в эту минуту Семену, и отец, будто прочитав его мысли, спросил: "На посиделки бежать собрался? Беги, беги. У тебя пора такая, а то смелые парни отберут хороших девчонок".

Вернулся Семен поздно, неслышно отворил дверь, прошмыгнул на широкий деревянный настил возле порога, затолкал холодные ноги в рукав старого отцовского полушубка, затаился. С полатей доносился отцовский храп. Семен уже почувствовал, как стало тяжелесть тело, и тут услышал отрывистый лай охотничьего пса Серко. "Серко никогда понапрасну не взлаёт", – подумал Семен, приподнимаясь на локтях, чтобы взглянуть на улицу в узкую проталинку возле рамного переплета. За воротами маячили большие тени. Кто-то длинной палкой намеревался дотянуться до окна.

– Кто в такой поздний час? – спросонья спросила мать, сползая с полатей. – Семка, спишь? Беги отвори ворота.

Семен стремглав выскочил из избы, сбросил с ворот палку и, не оглядываясь, вернулся обратно.

– Че это мужики-то ночью? Не убивать, поди, собрались? – зажигая свечу, шептала мать.

– Савин Иванович Чупров здесь проживает? – отбрасывая на плечи овчинный воротник, спросил басовитым голосом один из вошедших мужчин.

– Тута, – ответила она, вскинув глаза на полати, и позвала: – Савин, люди к тебе пришли, вставай. Разморился он. Только вечером с охоты пришёл, ишо в бане не мылся. Может, и вы с дороги в бане попаритесь.

– Мама, – одернул ее Семен, предчувствуя неладное. Семен заметил, что ее никто не слушает. Мужчины молча стояли посреди избы, чуть не доставая шапками-треухами потолочную балку.

Отец медленно сползал с полатей, долго шарил вытянутой ногой приступку, а соскочив на пол, охнул от боли в пояснице.

– Здравствуйте, ишо не успел щетину со щек сбрить. Оброс в лесу как леший. Да вы садитесь, садитесь, – говорил он, прячась за перегородку, чтобы натянуть там портки. – Мать, тащи людям табуретки. В тулупах-то неловко на скамейках сидеть. А лучше всего раздевайтесь, – слышали его осипший голос.

– Значит Савин Иванович Чупров?

– Он, в целости и сохранности. Чем могу служить, люди добрые?

Стоявший позади других мужчина, поправляя указательным пальцем очки на горбатой переносице, тихо, но властно произнес:

– Собирайтесь, Савин Чупров, и пройдите с нами в правление колхоза.

– Ага, – перетаптываясь босыми ногами по половицам, заметно волнуясь, ответил отец и переспросил: – В правление колхоза? А че там делать ночью-то? Али так спешно? Али нет терпения утра дожждаться?

– Может, я за него сбегаю? Я на ноги быстрый. У него после охоты всегда поясницу ломит, а я вмиг! – вызвался Семен.

– Сиди, пока сидитя, – лениво повернул голову в его сторону тот, в очках. И Семену вдруг стало холодно от его пронзительного взгляда сквозь толстые очки – Поторапливайтесь! – обратился он к отцу, в то время пока отец одевался, он бесцеремонно обшарил полки, перевернул вверх дном пустые крынки.

– Тама пшено, просыплется! – закричала мать.

Он опрокинул горшок, утопил ладонь в крупе, стал перебирать пальцами. Крупинки покатались по столу, запрыгали

по полу, покатались под лавку.

– Охотничье? Давно купил? – снимая со стены ружье, спросил, как ни в чем не бывало.

– Оно не чищено. Сегодня до него очередь не дойдет, – с передыхом говорил отец, застегивая пуговицу возле ворота рубахи. – Надеть али не надевать пиджак? Далеко ли тут до правления, – рассуждал вслух, стоя посреди избы.

– Надень, – посоветовал тот, который вошел в избу первым.

– Ишо и рукава у полушубка не обсохли. Наказание одно, в чем в колья и мелья, в том и в лес по дрова. – Мать спохватилась, подбежала к печурке, достала мягкие шерстяные носки. – На, надень, Савин, надень, – протянула их ему.

– Книги какие-нибудь есть? – спросил очкастый, стаскивая с головы треух.

– Вона у парней спрашивай. Оне в школу ходят.

– И этот в школу? – указал на Семена.

– Этот помощник. Трудодни в колхозе зарабатывает. Гармошку захотел купить. Ну, – оглядывая избу, сказал отец, – айдате.

– Господи благослови тебя, Савин, Господи оборони, Господи помилуй, – бормотала мать, торопливо натягивая на босые ноги тяжелые, подшитые пимы, набрасывая на плечи телогрейку.

– А ты не ходи в правление. Не велено, – строго сказал очкастый.

– Ой, Семен, неладное творится, неладное. Какой добрый человек да с добрыми мыслями будет по избам ходить да по полкам шариться. Хорошие дела при белом дне делаются, это недобрый знак, сынок, недобрый, – сказала мать, в бессилии усевшись на лавку. – Только ты не ходи туда. Богом тебя прошу. Побожись, что не пойдешь к правлению? – Семен божиться не стал, пригрозил пальцем проснувшимся братьям, но они не послушали его, облепили окно, разглядывая снежную улицу и удалявшихся от избы мужиков.

– Очкастый-то тятку в спину толкнул, – закричал Никитка,

приподнявшись на цыпочках на подоконнике.

– Поди, сам запнулся. Ветер, дорогу перемело, – говорила мать, подбегая к заиндевелому окну.

– Толкнул. Я видел, – настаивал на своем Никитка, – прямо тычком.

– И чтобы у меня без разговору! На полати полезайте все! – неожиданно, по-хозяйски скомандовал Семен. Трое младших братьев безропотно послушались, будто угадали чуть-ем, что с этого часа каждое Семеново слово станет для них вместо отцовского.

На улице разыгралась метель, бросала пригоршнями снег в стены конюшен, сарая, поленницу дров. Распахнутые ворота кидало из стороны в сторону и, хлопая о толстые столбы, они глухо бухали, издавая тягучий звук.

– Ладно, беги, Семенушка, узнай, – неожиданно сказала мать. – Поосторожней. Чужим на глаза не показывайся. Береженого Бог бережет, – она говорила, не поднимаясь со скамейки, безвольно положив на колени руки.

– Я мигом.

Семен выскочил в метельную ночь, прикрыл распахнутые ворота, свернул в переулок. Услышав чьи-то шаги, приостановился, но не мог понять с какой стороны, казалось, снег скрипит со всех сторон. Он прижался к поленнице и тут по кашлю узнал Павлуху Бородину. Семену вдруг стало страшно в своей тихой деревне, где он наперечет знает каждый двор, каждую баню, конюшню, каждую корову, лошадь.

Павлуха вышел из переулка. Семен подался было к нему, но, увидев фигуры чужих мужиков в длиннополых тулупах, показавшиеся ему ночными привидениями, прижался к поленнице. Клавдия Бородину, дородная рыжеволосая молодуха, голосила на всю деревню. Она не обращала внимания на увещевания приезжих, бежала стороной вдоль дороги, пурхаясь в глубоких сугробах.

Павлуха приостановился, чтобы перевести дух.

– Изготовленные хомуты в предбаннике, отдай их, когда

из леспромхоза приедут. Уздечку починенную Капитолине отдай. Она в сенях на гвоздике висит. – Семен удивился, как ясно он слышит каждое слово, будто ветер вдвухвал их ему в уши. – Колхозные чересседельники Николай Ильич сам знает какие. – Семен удивился Павлухиным наказам. Будто он, колхозный шорник, уходит из родной деревни навсегда.

Высокие фигуры в черных тулупах двигались за Павлухой молча, как тени. Клавдия голосила. В ответ ей взлаивали собаки, подбегали к подворотням, скалили зубы.

В правлении колхоза светило окно. Однорукий конюх Митька-свистун подгонял к крыльцу подводы колхозных лошадей. Выгнанные в ночной час из конюшен, лошади стряхивали со спин парной дух, ловили морозный воздух влажными ноздрями. Поодаль крыльца стояло три чужих кошевы, на облучках, согнув спины, недвижно сидели кучера.

– Дяденька, куда наших мужиков повезете? – подбежав к кучеру, шепотом спросил Семен. Тот, не повернув головы, спрятал лицо в меховой воротник и промолчал.

Семену все казалось странным и непонятным: и гнетущее молчание чужих мужиков, которые жестами показывали деревенским кому куда садиться, растерянность и безропотность отца и местных мужиков, их молчаливые взгляды.

– Вот досада, печать некому оставить. Захар в лесу, – кружась на одном месте, говорил колхозный председатель Алексей Ильич Неволин. – Вот наказание.

– Я передам! – вызвался Семен.

Алексей Ильич шарил в кармане.

– Ты, Семка, не забудь с Николаем по мясо сходить. Мы с отцом вчерась большого быка повалили. Недалеко от Половинки. Под выскирем спрятали, найдете по следам. – Колхозный председатель отыскивал в глубине кармана жестяную коробочку с печатью "Рассвет".

Отец подошел к Семену, коснулся его щеки отросшей на охоте бородой и тут же махнул рукой: мол, уходи.

– Пушнину в порядок приведи, – сказал, когда Семен

оказался поодаль. – Там соболей штук одиннадцать да белок из крошней достань.

– А ты надолго? – крикнул Семен, когда первая кошева с седоком в черном тулупе выезжала на дорогу.

И побежали колхозные лошади, неизвестно куда увозя главную мужицкую силу деревни.

В деревне стоял невообразимый рев. Бабы как угорелые бегали из избы в избы, не сумев в ночной темноте разглядеть всех, кого забрали.

С ночи перепуганные собаки не переставая лаяли, бегали по деревне, скулили возле ворот в надежде услышать окрик хозяина. Проснувшиеся ребята, не понимая причину переполоха в деревне, сгрудились у печек и ревели, вторя причитаниям матерей.

– Айдайте, бабы, в Никитинск. Че мы тут узнаем и че сделаем? – сказала Клавдия Бородиха.

– Лошадей-то где возьмем?

– Каки лошади? Пешими пойдем. Мужиков-то в деревне нету. Кто в делянах на заготовке леса, кто на охоте.

До Никитинска верст пятнадцать. Бабы, наспех собрав котомки, пошли по проторенному санному следу. Парни постарше бежали рядом с матерями.

Клаша Бородиха кричала и причитала больше других:

– Не видать нам своих мужиков, не видать! Сон я видела: будто всех их на льдине унесло в какую-то пучину. Чует мое сердце беду.

– Лошади! Лошади бегут, – радостно закричали мальчишки. Бабы встали как вкопанные, ничего не видя перед собой, кроме дороги. Мальчишки, обгоняя один другого, радостно размахивая руками, бежали навстречу подводам. Они узнали конюха Митьку, который, стоя на саях, не подавал голоса, не свистел как раньше, а только крутил вожжами над спиной выездного жеребца.

– Подводы-то пусты. Мужиков на них не видать, – тонюсеньким голосом завопила Фекла Субботина.

Подъехавшего Митьку-свистуна бабы стащили с саней, и каждая со своим расспросом: "Где оставил? Че наказывали? Че говорили?".

Митька, оказавшийся среди баб, растерялся, в первые минуты не мог вымолвить ни слова, пока Клаша Бородиха не стала трясти парня за плечи.

– ...Подъехали к двухэтажному дому, мужикам было велено тотчас освободить подводы, а мне тут же гнать лошадей обратно в деревню. Гнать и ни с кем не разговаривать до самой деревни.

– Неужто ни единого слова никто не сказал?

– Токо за деревню выехали, мужиков посадили по двое: друг к другу спинами, чтоб они меж собой не разговаривали, – сказал Митька и заревел. – Савин вроде чего-то хотел передать Захару Демидычу, так его турнули в двери. А жеребца так ошпарили хлыстом, что он захрапел и понесся во всю прыть и все подводы за ним. Только за поворотом жеребец послушал меня, остановился. Я лошадей сосчитал. Все вроде.

– Че, Митька, лошади?! Наживем. Где мужики наши? – И в полном бессилии, бабы снова заголосили. Посреди зимней дороги они выли и скулили, как подраненные волчицы. В предрассветном утре, когда солнце робкими лучами силится одарить землю светом, бабий плач вселял в ребячьи сердца какой-то неописуемый страх. Собрав все силы Семка, скорее всего от безысходности, закричал звонким голосом: "Мамка-а-а! Мамка!". В морозном воздухе его крик прозвучал как выстрел. Бабы, опомнившись, стали прижимать к себе промерзших, увязавшихся бежать за ними в Никитинск ребятишек.

Митька-свистун не знал что и делать: везти баб в Никитинск или в деревню.

– Пешими пойдём в Никитинск, а вы, ребята, с Митькой домой поезжайте. Ноги, слава богу, ишо сдюжат. Всем там делать нечего.

Ребятишки, не осознавая случившегося, с радостью

запрыгнули в сани, на которых в беспорядке лежали отцовские тулупы, и поехали в деревню. Старшие молча пошли за матерями.

– Девок-то будите в деревне, пушай идут коров доить, – закричала Мичиха, главная доярка в колхозе.

...Никитинск был в снежной дымке. По широкой пустынной улице мела поземка. Только темные столбы дыма над крышами показывали, что хозяева изб уже проснулись.

Бабы шли по дороге кучно, пряча от колючего ветра лица в большие шали, омоченные слезами. Из всех только одна Мичиха знала, где находится милиция. Она ездила с председателем сельсовета Алексеем Ильичом жаловаться на леспрохозного рамщика, который отобрал у нее ремни для пиlorамы. На другой же день рамщик привез их обратно.

– Сюда, – махнула Мичиха рукой в сторону горы. К высокому зданию с множеством окон бабы подходили с робостью, заметив, однако, что снег здесь истоптан.

– Ванюхин след! – закричала Бородыха. – Ванюхин. У него на пиме пятка сношена.

Как раз в это время на крыльце показался милиционер в длинной шинели, подпоясанной ремнем и в шапке с красной звездой. При его виде все смолкли.

Всегда смиренная и робкая Мичиха с воинственным видом подошла к нему и не спросила, а крикнула:

– Где наши мужики? Куда вы их спрятали? Следы-то наших мужиков. Тута они, у вас.

Бабы знали милиционера Павла Золотарева. Он не однажды бывал в деревне по своим делам, у многих пивал чай.

Лицо Павла Золотарева было белее снега, на нем вырисовывались только густые черные брови и пушистые усы, похожие на беличьи хвосты. Он смотрел куда-то вдаль, будто не видел перед собой баб.

– Павел Петрович, али не узнал? Неволина я, Евдокия.

– Узнал, – тихо ответил он, не повернув головы.

– На что наших мужиков из домов-то взяли?

– Не знаю, – ответил он.

– Оглох, че ли? – закричала Бородиха. – Куда мы в деревне без мужиков? Жаловаться надо кому-то, подсказывай.

– Наши мужики-то все партийцы.

– Ступайте домой, – еле шевеля губами сказал милиционер.

Тут осмелела Вахониха. Пока Павел Золотарев поправлял на голове шапку, сползающую ему на глаза, она умудрилась схватиться за дверь и потянуть ее на себя, но Павел схватил ее за руку.

В проеме окна показалось лицо бритоголового мужика.

– Он! Это он у меня кринки с крупой переворачивал, – закричала Семкина мать.

– Нет ваших мужиков в Никитинске. Уходите домой по добру-поздорову, – спокойно сказал Павел, обтирая лоб, боязливо поглядывая на окна. – А коли самих заберут? С кем ребята останутся? – и он опять встал возле дверей истуканом, вытянув руки по швам.

Семен Савиных очнулся от нахлынувших воспоминаний. Снова пришел ему на ум пришлый Прошка. "Нет, не жить ему в нашей деревне", – с горечью подумал он.

ГЛАВА ВТОРАЯ

За лето Воронок отвык от упряжи, тяжелых оглоблей, и теперь несся как ошпаренный, не различая малоприметной дороги. Жидкая грязь, перемешанная с листьями, летела из-под копыт во все стороны. Несколько липких ошметков угодило Семену Савинычу в лицо.

– Ну ты, урос! – закричал он. – Охладишься. Все одно по-моему не будет.

Но Воронок как сдурел, вбежал на картофельное поле. Рвалась под копытами ботва, хрустели крепкие клубни, переднее колесо угодило в березовый пенек, телегу подбросило.

– Ну, дружище! – рассердился на коня Семен Савиныч. – Хоть меня в армию и не взяли по увечью глаза, а силой я не отошал! Мне бы с тобой только грыжу не тревожить, – говорил он, натягивая вожжи. Голова Воронка запрокинулась, уши стали торчком.

Семен Савиныч в сердцах дернул вожжи.

– Прешь куда попало, – но подойдя к жеребцу, погладил его по влажной шее, похлопал по спине, и Воронок, нервно похрапывая от бешеной прыти, стал пятиться, подчиняясь тихому посвистыванию хозяина.

– Че я лошадь-то виню, – оглядываясь по сторонам, хмыкнул Семен, удивляясь тому, что направил Воронка по зимнику. – В трех соснах заблудился. – Сокрушенно вздохнул. – По этой дороге в Никитинск только пешие ходят. А ты куда меня уволок? Давай, Воронок, поворачивать будем, давай поближе к увалу.

Из кустов, хлопая крыльями, выпорхнул рябчик. Воронок встрепенулся, подчиняясь хозяину, выведившему его под узду.

– А вот на этом месте я кашне потерял, – радуясь, что наконец смог отвлечься от тяжелых дум, вспомнил Семен. – Мы, кажись, с Николаем Неволным в земельный отдел ходили. Вот я и напялил кашне – такое серое, шелковое, а по нему

черные крапинки. Марфа сразу после женитьбы купила. – Семен говорил громко, и конь, насторожив уши, казалось, слушал, а Семен, не сбавляя голоса, продолжал: – Так вот, Воронок, мы пообедали в чайной, в Никитинске, выпили вина, тут Николай и говорит: "Пока не поздно, давай поедем". Стали только подходить к полям, нас и начало бросать из стороны в сторону. Вот тут где-то возле кустов я кашне и потерял. А мы с Николаем идем, песни горланим. Как уснули, не помню. Открыл я глаза – понять ничего не могу. Пялю глаза и вижу на кусте маленькую птаху – зорянку. Поднял голову – а Никола поодаль лежит. Толкнул в бок Николу, он будто того и ждал – вскочил сразу на ноги, так и пошли в деревню, только уже без песен. На душе как-то неприятно, а Николай уж перед самым домом и говорит: "А где у тебя, Семка, кашне?" Мать честная! Меня как кипятком ошпарило. Нету на шее! Я сперва махнул рукой, мол, жил без него и дальше проживу, а потом подумал: все одно кто-нибудь из деревенских его найдет, а Марфе обидно будет. Мы обратно, искать долго не пришлось. Вот на этих кустах оно и висело. Сунул я этот шарфик в карман, да так с той поры и не носил. А где теперь Николай? Ольга сказывала, будто в госпитале лежит. Видать, поувечило парня.

Семен вскочил с телеги, пошел рядом, разминая ноги.

Впереди виднелся Никитинск – районный центр, спрятанный между отрогами Уральских гор. Деревенские дома, будто гурьбой, сбегали под уклон и выстраивались в ряд вдоль берега реки, разделяющей село на две половины.

К военкомату подъехал поздненько. Привязав Воронка к столбу, вошел во двор через скрипучую калитку. На чурбаке возле поленицы сидел сутуловатый старик, чинил хомут. Лохматая серая собачонка с запоздалым лаем выскочила из-под его ног.

– Опомнилась, пустолайка, – прикрикнул на собачонку старик, разглядывая Семена поверх очков. – Из Стрелебной? – с поспешностью ставя хомут возле поленицы, спросил

старик. – Че так поздно?

– Ежели военкомат требует, – значит, знает зачем.

– На подводе явился?

– Ну.

– Телега-то ладная?

– Ежли не слышал, как я подъехал, значит ладная.

– Больно ершист!

– Мы такие, – не сдавался Семен Савиныч.

На крыльцо вышел стройный офицер и поздоровавшись с Семеном Савинычем, скорее для порядка спросил:

– Прибыли?

– Сам военком капитан Петрушкин, – прошептал старик. – Ступай с Богом!

– С Невוליным Николаем знакомы? – спросил военком, когда захлопнулась за ним дверь кабинета.

– Сызмальства вместе. Еще без штанов вместе бегали. Везде вместе. Только вот война разлучила. И кто бы мог подумать, что я из-за глаза окажусь списанным от армии подчистую.

Щеки военного порозовели, он кашлянул.

– По случаю тяжелого ранения военнослужащий Николай Алексеевич Неволин возвращается домой. Из госпиталя. До Сорокино его сопровождала медицинская сестра, а здесь его нам надо встретить, – сказал военком.

– Ох ты, радость-то какая! А у меня каждая жилка от страха дрожала, – признался Семен Савиныч, расплываясь в улыбке. – Думал похоронка пришла. Теперь еще один работник в колхозе прибавится, а то только одни ребятенки да бабы, а мужики кто хромой, кто беспалый, а кого одышка давит. Радость-то для всех!

– Военнослужащий Николай Неволин возвращается из госпиталя после тяжелого ранения, у него ампутирована правая нога.

Семен Савиныч поперхнулся, посмотрел на военкома испуганно. Вдруг одеревеневшими губами спросил:

– Как без ноги? Он же лесничий. Ему без ноги нельзя.

– Пока отдыхайте, как говорится: утро вечера мудренее, – еле скрывая волнение, сказал капитан. – Не обессудьте уж за ночлег. Наш Савелий Кузьмич в своей сторожке найдет вам место.

Но о каком отдыхе в это время мог думать Семен Савиных, оглушенный таким известием?! Еле выйдя на крыльцо, охватив голову руками, он беззвучно рыдал.

Сторож Савелий, по-видимому знавший, зачем приехал мужик из Стрелебного, тихо подошел к крыльцу, по-отечески положил на плечо Семена тяжелую руку и сказал:

– Пойдем в конюховку. Вздремни чуток.

Семен Савиных согласно мотнул головой. Когда зашли в конюховку, старик достал из грубо сколоченного шкафа пузырек с настойкой каких-то трав и накапал содержимое в кружку:

– Отпей, не бойся. Я тут кореньев настоял да всем бабам подаю. Они, сердечные, как похоронки-то получают, считай, все бывают в беспамятстве, а уж про слезы не говорю. Я всем им этого настоя даю. Выпей, и чуть полегчает.

Дрема пришла к человеку незаметно. Савелий, заметив, что Семен немного успокоился, вышел из конюховки, накинул на Воронку узду, повел к водопою. Стоя возле деревянной колоды, в которую из ключа набиралась вода для скотины, Воронка долго принюхивался, касаясь толстыми губами воды, фыркал, но ласковые посвистывания Савелия заставили коня пить холодную ключевую воду.

– Хозяину твоему тебя ишо избиходить надо. Не на покос его повезешь, а на людную станцию.

Семен Савиных уже ходил по двору в недоумении: куда мог подеваться Воронка? И узнав в чем дело, поблагодарил Савелия.

– Мне бы побриться надо, – сказал Семен Савиных, – на лешего похож.

– За рамой пощупай. Бритву найдешь.

Осколок зеркала тоже нашелся за рамкой. "Отощал шибок", – подумал Семен Савиныч, намыливая щеку. С горем пополам побрился, остался доволен своим видом, хотя и порезался немного тупой бритвой.

...Примерно за полчаса до прибытия поезда на станцию "Никитинская" Николай стоял у окна вагона, упираясь о новенькие костыли, которые издавали тягучий скрип.

Мальчишки, затаившиеся на верхних полках, весь вечер разглядывавшие награды на гимнастерке солдата, приподняли вихрастые головы.

– Вы в Никитинск? – спросил паренек, по виду постарше других. Николай кивнул, не оборачиваясь, пытаясь через грязное окно разглядеть лес, скошенные луга, сметанные стога. – Мы тоже в Никитинск. Мы там всех знаем.

– А мне в Стрелебное, в деревню, – Ответил Николай, взглянув на ребяташек. – А вы откуда такие чумазые?

– Мы с завода, – обрадованно ответили наперебой несколько человек. – Для доменных печей, на которых броню плавят, кирпичи обжигаем.

– За хорошую работу домой отпустили на три дня молока попить, а то Толька уже разов пять в обморок падал, – сказал старший и захлебнулся в приступе кашля.

– Вы, считай, тоже на войне, – сказал Николай.

– А мы на вашей гимнастерке все медали сосчитали, пока вы дремали, – вставил другой мальчишка. – Цельных пять медалей и два ордена. А вы самых заправдашних фрицев убивали?

– Вашими уральскими танками дали им жару-пару. – Мальчишки радостно засмеялись.

С непривычки у Николая заныло под мышками от костылей, он сел. Глядя на мальчишек, почувствовал щемящую боль. Исхудалые, изможденные, похожие на маленьких старичков. Он думал о том, что бегать бы сейчас этим мальчишкам по зеленой траве, ездить в ночное, рыбачить или ходить на охоту по лесным делянам да дышать свежим воздухом.

А эти в горячих цехах, возле железа и брони. И на Николая вроде бы напахнуло гарью горящего танка, земли и пороховым дымом. Мальчишкам передалось его настроение, они притихли.

– Дяденька, уже к Никитинску подъезжаем! Крыши барачков лесников показались, – радостно закричал тот, что поменьше, и забарабанил грязными руками по мутному окну.

– Перестань! Стекло выломаешь, – сказал тот, что постарше.

Мальчишки спрыгивали с полок, натягивали на себя пахнущую мазутом и копотью одежду. В вагоне поднялась суета.

...От Никитинска до железнодорожной станции верст пять.

Воронок давно запряжен в телегу, Савелий настлал свежего сена, накрыл большим куском брезента. На станцию поехал не сам военком, а офицер возрастом постарше, с медалями на гимнастерке. С Семеном Савинымч поздоровался за руку, представившись лейтенантом Сосуновым.

– Пора выезжать, – сказал он, посмотрев на часы, и бочком запрыгнул на телегу.

– Счастливо, с Богом! – распахнул ворота Савелий.

Воронок, встряхнув гривой, сразу пошел рысцой.

– Ох ты, елки-палки. Фуражку в конюховке оставил. Эким лохмачом предстану перед Николой, – огорчился Семен Савинымч. На что офицер ответил:

– Не беда, вы человек гражданский.

Дорога каменистая, грохот телеги будил предутреннюю тишину. Поднятая на крыло стайка птиц, попискивая, летала стороной, прижимаясь к кустам, из-под которых выставилась голова пестрой коровы. Лениво поднявшись на ноги, она попыталась податься в лес, но Семен Савинымч, заметив, что из тугого, полного вымени струйками брызжет молоко, не смог стерпеть. Стремглав соскочив с телеги, закричал, на ходу отламывая вицу:

– Уж ты бездомная! Лежебока! Не стыдно тебе в траву молоко ронять?! Не стыдно?! – выгоняя корову на дорогу в село, ругался Семен Савинымч.

– Наше дело крестьянское, каждую каплю молока жаль, – говорил он офицеру, садясь в телегу. От пронзительного гудка приближающегося паровоза Воронок вздрогнул и стал на дороге как вкопанный.

– Испугался, – сказал лейтенант. – Придется завести коня во двор школы.

– Не слыхивал Воронок такого гудка. Вздурит еще! – согласился Семен Савиныч.

Директор школы, узнав в чем дело, взял Воронка под уздцы, привязал к столбу и учтиво сказал:

– Все будет как надо. Ступайте, поторапливайтесь, поезд стоит недолго, хотя пассажиров много прибывает в наше село.

По узкому дощатому тротуару они шли гуськом. Семен Савиныч еле поспевал за лейтенантом, который, хотя и прихрамывал, шел уверенно.

Клубы белого пара валили из-под черного брюха паровоза, ползли вдоль вагонных колес, которые скоро перестали крутиться. У Семена Савиныча трепетала душа при мысли, что сейчас он увидит Николая. А тот, переждав всех, медленно проходил к тамбуру, видя в окно, как мальчишки, сбившись в стайку, вытянув тонкие шеи, бежали вдоль перрона, вглядываясь в прохожих.

– Там он, – услышал Семен Савиныч слова подбежавших к офицеру ребяташек, – у него вся грудь в медалях.

– Еще у него два ордена, – обернулся один, и они, довольные тем, что сразу угадали людей, встречающих раненого солдата, побежали в село напрямик, минуя главную дорогу.

Семен Савиныч глотал воздух, чувствуя неопишное волнение, бестолково толкался на одном месте, пропуская мимо себя крикливых баб, торопливых старушенок. Сам не зная почему подбежал к какому-то мужику и стал помогать ему грузить на тележку тяжелый бочонок с ягодами. И постоянно крутил головой, боясь пропустить Николая.

– Семка-а-а! – услышал он среди многочисленных криков и многоголосого говора. Семен Савиныч приостановился,

ему показалось, что голос донесся откуда-то с высоты. – Семка-а-а! – услышал он и, опомнившись, обгоняя лейтенанта, побежал к вагонам.

Возле вагона, опершись на костыли, стоял солдат, вроде как похожий на Николая. Ветер распахивал в разные стороны полы солдатской шинели. Семен Савинович шагнул к нему и обнял Николая, уткнув лицо в шершавое плечо шинели.

– Ну, слава Богу, дома! – вырвалось у Николая.

Тут же подошел лейтенант, приветствуя солдата. Семен собрался с мыслями, нашел подходящие слова.

– Теперь и коня подогнать можно, – сказал лейтенант, догадавшись, что Николаю на костылях пройти до школьного двора тяжело.

Скоро перрон опустел, сиротливо стояла только дежурная с флажком в руке, провожая состав.

Семен Савинович опрометью побежал за Воронок, но скоро убавил прыть и почувствовал нестерпимую боль в паху.

– Воронок, Воронок, – с какой-то нежностью в голосе бормотал Семен Савинович, принимая от директора поводья.

Подъезжая к станции, Семен Савинович издалека увидел, как Николай неумело тяжело идет на костылях. У Семена сжалось сердце. Лейтенант, несший Николаев рюкзак, по видимому не раз видевший раненых, о чем-то разговаривал с Николаем. У Семена навернулись слезы, и он ничего не мог с собой поделать, утешался только тем, что сейчас его никто не видит.

– Так это же Воронок, – услышал он радостное восклицание Николая. – Воронок! – заторопился Николай и уткнулся головой в сильную шею коня, схватив его за гриву.

– Ах ты, разбойник! – кричал Николай. Воронок, переступая ногами на одном месте, фыркнул влажными ноздрями и неожиданно для всех заржал. – Не забыл, разбойник, меня, – похлопывая ладонью по шее Воронка, говорил Николай, – Не забыл, как убежал от заимки?

Семен с облегчением вздохнул, Воронок помог ему выйти

из оцепенения и подобрать нужные слова.

– Че ему будет? Такой же! Луга раздолжные, сена заготавливаем вволю...

В утреннем воздухе держался запах трав, перемешанный с дорожной пылью от переходившего дорогу коровьего стада. Гнусавый голос пастуха походил на уханье незнакомой птицы, случайно залетевшей в сосновый молодняк. Воронок все чаще стал натягивать вожжи, намереваясь свернуть с наезженной дороги. Конечно, можно было бы миновать Никитинск и сразу домой, в Стрелебный, но велено захватить в военкомат.

Улицы Никитинска оживились, торопливыми стайками бежали ребятишки в школу, помахивая тряпичными сумками; попались навстречу несколько баб с берестяными пайваками за плечами, несколько подвод, груженных кулями с ящиками, пересекали проулок.

Проезжая мимо старого дома с большим парадным крыльцом, Николай попросил остановиться. Это было здание Никитинского райкома ВЛКСМ. Здесь же находилось общество "Знание", контора кинопроката и нотариус, который приезжал два раза в месяц для оформления разных документов.

– Остановимся, – сказал Николай. Когда Воронок встал, он с некоторым раздражением в голосе спросил: – Первым секретарем все еще Фролов?

Офицер, поглядев на Николая, молча покачал головой.

Николай чувствовал, как у него стали сохнуть губы. Эта весть была неожиданностью для Николая. Он долго ждал с ним встречи, намереваясь свести счеты. Это он, Георгий Фролов, как-то вызывал его в райком комсомола. Николай помнит, как шел в Никитинск по весеннему бездорожью и, явившись, долго сидел в коридоре, пока Маруся Левина не позвала его в кабинет с большим столом, застланным красным сукном. За ним сидел комсомольский секретарь. Густая шевелюра русых волос, веселые, бойкие глаза, независимый вид. Увидев Николая, он встал, поправил пиджак, на котором было четыре разных значка, прошелся по кабинету.

– Николай Неволин? – спросил, почему-то вздыхая. – Лесничий из Стрелебного?

– Ну я.

– Мне известно, что твой отец арестован. – Николай вспомнил, как тогда неловко опустил голову. Он почему-то в те минуты считал себя виноватым, хотя и не знал почему. А должен был сказать, что его отца, первого колхозного председателя, совсем безвинно-беспричинно увезли в декабрьскую ночь неизвестно куда. И что нет о нем никаких известий. Вот ему, комсомольскому секретарю, известно, что у Николая нет отца, а почему же он не знает где он?

– Как понимаешь, по этой причине ты и не принят в ряды комсомола, хотя и знаем, что надежный товарищ.

– Нам доподлинно известно, что ты, Неволин, вздумал крутить любовь с дочерью кержака, живущего старыми взглядами, Зосимы Бурмантова.

Николай обомлел: откуда ему, живущему в районном центре, стало это известно?

– Люба мне Агаша. При чем тут Зосима? – с вызовом в голосе ответил Николай.

– Зосима Бурмантов единоличник и твердо стоит на своем.

– Он работает от темна до темна! – попытался защитить рыжебородого кержака Николай, но Гоша резко вскинул голову и в этот миг его глаза стали как стеклянные черные пуговицы.

– А я-то думал, что на тебя можно положиться, – не скрывая досады, сказал Гоша, отшвырнув в сторону исписанный лист бумаги.

Николай молчал.

– А любовь свою с дочерью кержака прекращай. Чего доброго, сам в единоличники подашься. Этого только нам не хватало. – В его голосе была какая-то суровость и чувствовалась недосказанность мысли. – Ступай да подумай, – сказал Гоша, поднимая от стола взгляд.

Николай шел домой, не разбирая дороги. В душе все

трепетало, и он никак не мог понять, как можно любовь к Агаше путать с тем, что ее отец одиночник, и почему комсомольский секретарь Гоша Фролов может советовать ему кого любить.

Вернулся поздно, говорить ни с кем не хотелось. Мать, сидевшая возле окошка, уронила голову на подоконник.

– Ты че? – спросил он, отпивая из кружки молоко.

– Думала не воротишься. Думала, как отца, взяли и не отпустят, – со страхом в голосе сказала она, схватила Николая за руки.

– Нет, мама, времена теперь не такие, – успокаивал мать Николай.

– Про че они тебя спрашивали? Не здря же вызывали.

– Да так, – уклончиво ответил Николай. – Про лесные дела.

– Не сказывай неправду, – построжал ее голос, – и не уноси остаток моей жизни, говори. Рассказывай, сынок, без утайки. Один ум хорошо, два лучше, а что скажешь мне, то со мной и помрет. Только правду от тебя слышать хочу. В глазах после отца мрак стоит, землю не вижу, живу только потому, что вам еще нужна. Сказывай, сынок. Христом Богом тебя прошу.

– Да про Агашу Бурмантовскую спрашивали. Мол, отец у нее одиночник, как бы я к ним в хозяйство не ушел.

Мать низко опустила голову. – Вещун у меня сердце, сынок, вещун. Об этом и были мысли, пока тебя дожидалась, – долго, пристально глядела на Николая, потом почти беззвучно сказала: – Я тебе невесту выбрала. Бери сиротку Ольгу. Она лицом чистенькая, смиренькая, ребят тебе народит. Сживется – сплюбится.

– Это раньше так женились: любишь – не любишь! Теперь времена другие. Теперь нет богатых и бедных, не неволи.

Мать молчала, и только тихие слезы бежали по ее впалым щекам.

– Они тебе подсказку сделали, а уж решай сам. Покою тебе не будет с Агашей, помяни мое материнское слово.

– Да как же! С ума можно сойти, о чем говорим.

– Не хочешь моей скорой смерти – послушай меня, а так тебе полная воля.

У Николая со лба катились крупные капли пота, и только усилием воли он сдержал себя, чтобы не закричать на всю улицу.

– Ты че, Николай? – спросил его Семен. – Может, сразу в больницу? Укол какой поставят.

– Значит, Гоша погиб? – лихорадочно расстегивая пуговицу возле воротника, бормотал Николай. – А я-то хотел сейчас с ним поговорить.

– Пуля не выбирает, – сочувственно сказал Семен.

Николай снова и снова вспоминал их разговор об Зосиме Бурмантове. "Он кержак. Мы ведем беспощадную борьбу с религией и с единоличным хозяйством, а ты, Неволин, там ведешь шуры-муры. Любовь эта, видать, застила тебе глаза. Ты ничего не видишь, стал близоруким, а Зосим гнет свою линию. Или Агаша – или комсомол. Мы были намерены на днях принять тебя в боевой отряд советской молодежи..."

С этого дня вся жизнь Николая пошла наперекосьяк. Вот теперь бы ему поговорить с Гошей! Теперь он не просто деревенский парень, теперь он солдат Великой войны, орденоседец, коммунист. А Гоша погиб. Поди, умирая, покайся, что много напутал в чужих судьбах? А быть может, и нет. Для всего надо время. А он, Николай, до самой войны жил как в тумане. Ольга родила ему двоих славных сыновей, была ласковая и спокойная, только он будто не замечал ее. Мать только твердила: прости, прости меня, сынок. А чего ее прощать? Кто поставит ей в вину любовь к сыну? С этими словами вечной вины перед ним рассталась она с ним, когда он уходил на фронт...

Николая у военкомата встречал военком Петрушкин, приложил руку к козырьку военной фуражки, бодряще сказал: "С прибытием вас!"

Николай отдал честь, отчего Семен Савинич отметил про себя: "Николай, видно по всему, явился герой героем!"

Воронок выгибал крутую шею, гремел удилами: Савелий принес ему охапку зеленого сена, и конь стал аппетитно жевать подсохшие стебельки и цветы луговой травы.

– В Стрелебное-то позвонил? – спросил Семен Савелия.

– Считай, палец вывихнул, – скороговоркой ответил конюх. – Звонил, звонил, в трубке одно шипенье. Али я не знаю радость-то какая! А он видать, герой, – кивнул в сторону Николая. – Я не видывал столько медалев. Че хоть дорогой-то рассказывал? Поди, навидался страстей.

– До разговоров ли было, чудака ты человек! Он, поди, не верит, что домой едет.

– Ладно, ладно, – стал обороняться Савелий и, спохватившись, побежал в конюховку, тут же вышел с глиняной крынкой молока. – Вот, соседка принесла. Узнала, что мужик стрелебинский с войны возвращается, и принесла. Молоко еще парное, пушай пьет, говорит, на здоровье да поправляется. Ушла, а сама, поди, сейчас в окошко выглядывает.

Николай пробыл в военкомате недолго. Вышел на крыльцо, долго стоял, упершись костылями о крепкие половицы, оглядывал Никитинск, освещенный осенним солнцем.

– Ну что, Семен Савиныч! – впервые по имени-отчеству назвал он своего верного друга, слегка улыбнулся.

– Мы всегда наготове! – услышал в ответ.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Воронок без понукания бежал рысцей, размахивая на ветру гривой.

– Мы сейчас с закрытыми глазами в наше Стрелебное домчимся, – захлебывался словами Семен Савиныч. – Как вспомню сватовство Петьки Пузыря, так смех раздрает. Таська-то у него палкинская. Он ведь ее из-под носа Мишки Вожакова уволок. – Проезжая мимо своротки в деревню Палкино, Семен перевел дух, кивком показал на тропку, которая вела в соседнюю деревню. Похлопал по карманам, достал кисет, из которого за утро спалил почти всю махорку, и стал рассказывать:

– Я с Петькой Пузырем ходил в Палкино. Собаки там за версту чуют человека! Мы все время заходим в деревню с подветренной стороны с палками. У Петьки с Таськой договоренность была – ворота на палку не запирать. Мы шмыгнули во двор. Собаки как бросятся на меня, одна за штанину сцапать успела. Стою, дух перевожу. Поглядел на Петьку, а он с Таськой стоит и знаки подает: мол, выходи за ворота, че тут торчишь как бельмо на глазу. А я собак боюсь. Они откормленные, здоровые. Стою, про себя думаю: на съедение, че ли, пришел? А Петька кулаком из-за Таськиной спины грозит.

Семен бросил окурочек на дорогу, сплюнул и продолжил: – Я и в конюшне был согласен посидеть, так он требует, чтоб я вышел. Приоткрыл я чуть ворота, вижу: разлеглись собаки на полянке, головы на лапы положили, караулят. Я как выскочил и с разбегу сразу на забор. Собаки к забору. Заборы у палкинцев высотой метра по два будут, бревна от дождя-то скользкие. Держусь за бревна, а собаки меня за сапоги хватают. Обозлились, рычат, в ярости стали подпрыгивать, за голяшки хватать. Я уж орать собрался, мочи нет. "Ослепли, че ли? Сгрызут парня!" – узнал я голос Таськиного отца, Ивана Терентьевича. Он по деревне ходил печки клал, лохматый такой.

А потом выстрел раздался. Петька Пузырь с перепугу из сарая выскочил, тут его печник и увидел, да как заорет: "стрелебинские парни тут, стрелебинские парни!" И еще раз пульнул из ружья. Мы с Петькой во всю мощь, где нога хватит, где нет, в лес, лишь бы от собак убежать. Версты три отдули, слышу, в сапоге хлюп-хлюп. Остановились, погони за собой не слышим. Сели, он стал с меня сапоги стаскивать, а там кровь. Все голяшки мне собаки изгрызли, я уж про сапоги не говорю. Как их жаль было! Новые совсем, но да себя жалче. По деревне плелись крадучись, чтоб никто не увидел. А как к крайней избе подошли, на меня смех напал. Ну давай я хохотать, как про все вспоминаю, а Петька-то испугался, говорит: смех-то у тебя, поди, от сумасшествия! Зайдем к фельдшернице, она сделает тебе прививку.

Тут Семен Савинович взглянул на Николая и заметил, что он его не слушает, а глядит на лес и кустарники. Неловко стало Семену, опять стал трясти кiset, казнил себя, что ни раньше ни после пришли ему на память какие-то палкинские собаки, а было-то это давным-давно и все быльем поросло. Торопливо добавил:

- Петька с Таськой полюбовно сошлись.
- Еще бы! Особенно после этих собак, – добавил Николай, чем обрадовал друга, что все-таки слушал.
- А что? Таисия всем взяла. Не то что Колька Полушкин Настену привез.

– Да про то все знали, что он на Настене женился из-за отцовских лошадей. Экие жеребцы были у Настениного отца! Вот на них Колька-то и позарился. Высватал корявую Настю. У него, у Кольки-то, мать горбунья была, ты помнишь ее, так она ахнула: "От красы твоей Настены у нас со двора все курицы на крышу улетели". А Колька все не сдавался, все свое гнул: мол, с лица воду не пить. А как Настениного отца раскулачили, лошадей отобрали, так вся любовь и прошла. Вскорости все заметили, как он по ночам к вдове Субботихе забегал. – Семен смолк и посмотрел на Николая.

– Давай здесь остановимся, – попросил Николай, и Семен, в который раз ругая себя за недогадливость, соскочил с телеги, обежал ее и подставил Николаю плечо. – Погоди, Семка, погоди, в голове все кругом идет, то ли воздуха лесного надышался, то ли устал. В глазах темно.

– А ты не торопись, куда нам спешить? – Семен ему удивлялся: как это он домой не торопится? Да у него, поди, вся душа уже дома. Семен нервничал и говорил обо всем подряд, не давал слова вставить Николаю. "Только бы про Агашу не спросил. Не соврать ведь, а правду в такой час говорить язык не повернется".

Николай сделал несколько прыжков от телеги и уже лежал на мшистой кочке, рвал спелые ягоды брусники и толкал их дрожащими руками в рот. Семен присел на корточки, молчал и отгонял снятой с головы фуражкой полчища мошкары. "Эко как тебя, сердечный, ополовинило", – щипнула мысль, но вспорхнувший в кустах рябчик перебил его тяжелые мысли.

– За березняком живой ключ? – не поднимая головы спросил Николай. – Слышу, как вода журчит.

– Я уж и позабыл про него. Куда ему деваться? Бабам теперь не до живого ключа. Раньше бабы верили в его живительную силу, ходили сюда, а теперь они как белки в колесе.

– К ручью сходить охота, – как маленький, просящим голосом сказал Николай, и Семену показалась страшной беспомощность друга. Николай, ухватившись за тонкий ствол березы, встал, попытался сделать несколько прыжков, запнулся в траве и упал. Семен зажмурился, а Николай с невозможной силой хватался за стволы берез, где прыжком, где ползком торопился к ручью.

– Во сне я его не один раз видел! В госпитале, после ранения, – говорил Николай, подставляя жгучим струям ладони.

– Простудишься, вода холодная.

– Вот и свиделись, а мне всегда твоего глотка не хватало, – говорил Николай ручью, как старому товарищу. Мокрой рукой он проводил по густым бровям.

– Пора, Никола.

К деревне подъезжали к вечеру. Из-за реки доносились глухие удары топора. Напахнуло дымком. Мычала чья-то корова.

– Пеструха мохнаткинская базлает, – пояснил Семен. – Пелагея проворонила, пустила телка, а теперя вся деревня эту музыку слушает.

Воронок помчался по знакомой дороге во всю прыть. Телега дребезжала, Семен закрутил над головой вожжами. Из проулка горохом высыпала ватага мальчишек, вооруженных деревянными автоматами, ружьями, наганами. Они играли в войну. У Николая защемило сердце. В русоволосом кудрявом малыше он узнал своего Ивана. Проползая на брюхе под огородными пряслами, он неумолчно стрекотал: ты-ты-ты-ты! Поднявшись, поддернул сползшую с плеча лямку грязных клетчатых штанов.

– У нас в деревне идет война несокрушимая. Воюют, окаянные, с утра до поздней зари, – сказал Семен.

А ребята уже бежали к берегу, кричали: "Отступить некуда! За нами Волга-а-а-а! Ты-ты-ты-ты!"

– Ваня, разве не узнал? – закричал Семен Савинич. – Папка твой приехал.

Мальчишка обернулся, встал как вкопанный, опустив руки по швам, какой-то миг стоял затаив дыхание, и вдруг закричал:

– Нет-т! Мой папка не хромой. Он раненый. В госпитале лежит. Не-т-т! – и побежал в сторону колхозных сараев, уронив на обочину деревянную винтовку.

У Николая на щеках обозначились багровые пятна.

Откуда-то доносился бабий плач. Голосила Парушка Сазониха, бежала вдоль дороги, догоняя подводу.

– Остановись, – вымолвил Николай.

– В прошлом годе похоронку получила. Сразу старухой стала. Как оглохла. Слова не по одному разу надо повторять, – рассказывал Семен.

Паруша подбежала к телеге, уткнулась лицом в колени

Семена и, не поднимая головы, спросила:

– Кого привез? Может, моего Серегу? Боюсь голову поднять. Может, его, а? Солдата ведь привез.

– Я это, Прасковья. Не узнала, что ли? Подними голову-то. Я, Николай Неволин.

– Николай? А ты Серегу моего не видел? Он тебе там не попадался? – Сазониha подняла голову, долгим немигающим, но каким-то пустым, бессмысленным взглядом смотрела на Николая, будто вспоминала что-то, но не могла вспомнить. – Твоя изба на берегу, Николай?

– Ты чего, Паруша? Ладно ли с тобой? Ты раскрой глаза-то.

Прасковья опомнилась. Отпрянула от телеги. Снова вскинула на Николая глаза и уже совсем тихо, как хворая, будто стесняясь себя, прошептала:

– Здравствуй, Николай, здравствуй. А бабы-то по рыжики убежали. Ольга твоя тоже.

Воронок, подчиняясь руке Семена, свернул к избе Николая Неволина. Тут же появился председатель Захар Демидович.

– О-о-оплошали, – соскакивая с коня, говорил он. – Ла-а-а-дно мальчишки на скотный двор прибежали. – Его губы нервно шевелились, он что-то хотел сказать, но вместо этого крепко обхватил Николая за плечи. Захар Демидович в ту далекую декабрьскую ночь со своей бригадой был в лесосеке. Валили лес для строительства нового коровника. На ночлег в деревню не ездили, жили в избушке, срубленной для этого еще по осени. От председателя Алексея Ильича Неволина имел наказ зря в деревню людей не гонять, лес на деляне валить по правилам, нарубить не больше не меньше, чем надо для коровника на триста голов. Тот день был морозным. Деревья падали с каким-то особым треском и грохотом. На лету обламывались сучья и даже переломился ствол толстой сосны. К закату все уже были в избушке. Топилась печь. Дрова пылали, издавая какой-то вой. Быть может, так со временем стало казаться Захару Демидовичу. Все вокруг в ту ночь предвещало беду. Он хорошо помнит, как непоседливый Кунара собирался

сездить в деревню за свежими шаньгами, но Захар Демидович охолодил его пыл, заявив, что поставит ему прогул и не станет засчитывать трудодень. А ранним утром примчался в делянку мехоношинский Мишка, подросток лет четырнадцати, и закричал издали: "Всех наших мужиков в Никитинск увезли. Мамка сказала: это не к добру, и послала за вами. Говорит: пушай два дня не приезжают в деревню, а вдруг да те вернутся".

– А Николай Ильич вернулся с лесования?

– Его увезли. Токо вечером пришел, а ночью увезли.

– А Савин Иванович?

– Тоже увезли.

– А Павлуха Бородин? – спросил кто-то из мужиков.

– Тоже! – закричал Мишка. – Бабы в Никитинск пошли. Все ревут, как пожар прошел.

– Тут чего-то неладное, – заключил Захар Демидович, раскуривая самокрутку. – Может, война началась? Со всех сторон на нас напасть могут: что тебе германцы, что японцы. Все на нашу Россию зарятся. – И стал собираться ехать в деревню. Мужики тоже.

– Погодите, погодите. Я пока один съезжу.

Захар Демидович в делянку не приезжал три дня. Вернулся он обросший, почерневший и с тех пор стал заикаться.

Вскоре колхозники выбрали его своим председателем. Так с той поры и нес он нелегкий крест, а как началась война – для всех отцом стал.

Неволинская изба была окружена со всех сторон людьми.

– Ольгу-то хоть к дому пропустите. Хозяйке дайте дорогу, – кричали гулом, расступаясь, а она шла прихрамывая, еле ступая на пораненную литовкой пятку, одной рукой поправляла под платок волосы, другой прижимала Илюшку.

Бабы рыдали: то ли завидовали Ольге, то ли оплакивали свою судьбу, то ли жалели Николая.

– Во какой курятник. Одна захочет и все за ней, – сказал Захар Демидович, помогая Ольге зайти во двор. Та только обняла Николая за шею, как тут же заголосила.

– Ну-ка, Капитолина, беги на ферму, пушай Нюрка выдаст масла полкило да сметаны три литра, нет, пушай даст четыре.

– Не даст Нюрка без твоей выписки, – высказалась Капитолина, неволинская соседка.

– Даст, даст по такому случаю.

– Не даст. Говорит, когда война кончится, хоть всю ферму по бревнышку растаскивайте, а пока война – крошки без выписки Захара Демидовича не дам. Посылаешь, будто не знаешь. Пиши бумагу. Мне сбегать не лень – одна нога там, другая тут будет.

Захар Демидович не стал пререкаться с Капитолиной, достал из внутреннего кармана помятый блокнот в кожаном переплете, послунывил химический карандаш и стал писать.

– С этой Нюркой всю грамоту выучил, – бурчал Захар Демидович, усмехаясь. – И чтоб сметану лучшую, ту, которая у ней в низенькой корчаге.

– Тоже пиши.

– Еще сбой попроси. Вчерась яловую корову закололи. Мясо-то в Никитинск отправили, в интернаты для эвакуированных ребят, а сбой пушай сюда отдаст.

– Тоже пиши. Каким-то заковыренным ребятам колхозных коров колом, а себе требуху выписываем, – насупилась Капитолина.

– Не болтай языком, Капитолина, – ставя кучерявую заковычку, оговорил бабу Захар Демидович.

– Мужики с покоса едут! – бежали гурьбой к берегу мальчишки. За ними с лаем неслись испуганные криками собаки.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

– Ну, счастливая. Счастливая ты, Ольга! – наперебой говорили бабы, забегая в маленький закуток кухни, где ни с того ни с сего целовали ее, подмигивали и тормозили: говори что делать? А она и сама не знала. Почти машинально выхватила из сундука кофту в белый горошек по синему полю, юбку, шитую из кашемировых платков еще до войны, и, одеваясь, чувствовала, как дрожат от волнения руки.

– На стол ставьте. Перво-наперво – картошку варить! А хлеба-то крошечки нету, – вздохнула Ольга. В это время бочком на кухню пробрался Семен Савиных с берестяным чуманом и, ставя его на лавку, шепнул:

– Соленых хариусков к картошке в самый раз.

– У меня тут рыжики соленые. Один к одному. Миску-то опосля возьму, – сказала Ульяниха. И так, без слов, молчком, деревенские бабы поставили на стол кто что смог.

Послышался оглушительный рев электрического движка, который впервые за всю войну завел Митроха Собянин. Над крышами изб залетали испуганные птицы, замычали коровы.

Над столом вспыхнула запыленная, обсиженная мухами электрическая лампочка. Все сощурились, обороняясь от яркого света. "При свете-то все на виду: печка закопченная, стол цельную неделю не скоблен, паутина в углах", – сокрушалась Ольга, у которой не доходили руки до приборки избы, потому что на огороде и колхозном поле было немало дел.

Но в этот час никому не было дела до Ольгиных углов. Мужики почем зря палили самосад. Едкий дым качался над столом, подымался к лампочке, потолку и сизой полоской тянулся к открытой вьюшке.

Кунара изошел кашлем, сел на пол, прижался спиной к стене, уставив немигающие глаза на Николая. Да только ли

Кунара сидел разинув рот? Все столпившиеся в избе разглядывали Николая, глазели на медали и ордена, на осунувшееся лицо, отрастающие густые волосы, на нервные пальцы.

– А это правда, Никола, – первым нашелся Кунара, – будто Гитлер после Сталинграда на своей башке стал волосья выдергивать? – Бабы хихикнули. Кладовщица Нюрка, прибежавшая со склада вместе с Капитолиной, дернула его сзади за торчащий на макушке седой клок.

– Нашел про че спрашивать. Боле не чем?

– Погодите, бабы, погодите. Я вог про че хочу спросить: у тебя медаль "За боевые услуги" али "За отвагу"? – с порога спросил Семен Савиных.

– И та и другая есть, – не сразу, а вроде разглядывая и вспоминая, за что же получена каждая медаль, тихо ответил Николай. Бабы уважительно вздохнули. Семен Савиных распахнул дверь и крикнул на улицу: и та и другая есть.

– Ура -а-а-а! – неслись ребячьи голоса, они с самого приезда Николая спорили о его наградах. – И та и другая есть! – понеслось по деревне.

На столе как по щучьему велению появились бутылки разной формы и цвета, закупоренные заводскими пробками и самодельными затычками.

– Ешкин корень! – поперхнулся дымом Кунара, приподнимаясь с полу на корточки. – А ведь клялись, окаянные. Даже на компресс никто капли не давал. Это чья ополовиненная-то?

– Да моя, – отозвалась от порога Парушка Сазониха. – Из нее напоследок Павел на посошок выпил, а другую половину при встрече хотели выпить... – И бабы, уже не в первый раз оплакивавшие Павла Сазонова, снова зашвыркали носами, сникли и присмирели.

– А это из военкомата, – поставил Семен Савиных на стол в деревянном бочонке вино. Все ахнули.

– А ведь нам, поди, и не-не осилить столько, – покачивая головой, сказал Захар Демидович. – Рас-растянемся наповал.

– Не растянемся! – крикнул Кунара. – Когда волнительно на

душе, эта отравка с ног не сшибает, – и он стал беспрерывно чихать.

– Душу-то не вытряхни! – опять оговорила мужика Нюрка-кладовщица. Кунара ничего не ответил, потому что уже ткнулся к кружке с пахучей, довоенной водкой.

– Ольга-то че все на кухне да на кухне? – спохватилась Таська. – Иди, Ольга, на свое законное место. У нас тут рук хватит картошку да капусту на стол поставить. Айда, Ольга, садись рядом с Николой.

Мужики кричали, поднимая кружки за здоровье и возвращение Николая. У баб дрожали голоса, говорили они мало, а больше вытирали платками глаза и губы.

Вдруг телятница Дорка во весь голос затянула:

– Ох, молода я, молода-а-а-а,

Плохо я одета-а-а-а.

Никто замуж не берет

Девушку за это...

Все удивились, услышав голос всегда молчащей Дорки, а она, сдернув с головы платок, тряхнула головой, на пол упала костяная гребенка, не удержавшая тяжелые косы. Тут Дорка топнула ногой, повела плечами.

– Че, Николай, один приехал? Поди, в госпитале товарищи были холостые, вез бы сюда. Мы ведь, девки, на корню сохнем! А все в самой поре.

– Ты про че? – набросились на Дорку бабы.

– А про то, о чем вы думали в свои восемнадцать годов. Че засовестились? Сами сокрушаетесь, мою да Люмкину молодость оплакиваете, а как вслух сказала, так поспели бесстыдницей обозвать! Какая я вам бесстыдница? – возмущалась Дорка, решительно приближаясь к Николаю. – Сами ведь говорите: мол, годы твои, Дора, под уклон катятся. Я, быть может, дитя иметь хочу. Неохота мне как яловой корове жить, про яловую-то корову как говорите? Прок от нее какой? Сено ест, а приплода нету-у! Да и бездетной бабе в народе нет уважения. Живешь у всех на побегушках: Дор-

ка туда, Дорка сюда! Куда только вы меня не посылаете! – Дорка дернула плечом. – Ты, Клавдия, меня не трожь. Я с Николой веду разговор и у вас на виду.

– Были, Никола, в госпитале раненые холостые парни мне под стать? Шибко красивых да городских не надо, а так, чтоб по мне.

Дорка поправила воротник кофты, провела ладонью по густым пушистым волосам, встала к Николаю боком, положив руки на широкие бедра.

– Был, Дора, такой парень. Со смоленщины, Павел Овсов!

Дорка вдруг вспыхнула, спрятала лицо в ладони и выбежала из избы.

Как раз в эту минуту мигнула над столом лампочка, потом опять вспыхнула и снова мигнула.

– Митроха домой собрался. Знак подает, – заключил Кунара.

Как только в третий раз моргнула лампочка, Клавдия, Митрохина баба, вскочила с лавки и понеслась к скотным дворам. Зная Митрохину слабость болтать языком, она боялась, что Митроха только захмелеет, так начнет рассказывать про смерть Агаши. Встретив Митроху на полдороге, схватила его за рукав:

– Сегодня помолчи, потерпи, у тебя ведь теплая вода во рту не удержится.

– Не дурней тебя, – отвечал Митроха, как лось несясь к неволинской избе.

– Штрафную-ю-ю! – заорала Улька, стоило Митрохе только приоткрыть дверь. – Наливайте ему, бабы, цельную кружку, наливайте нашему подсобнику. Ему да Семену Савинычу еще не позабудь.

Митроха весело подмигнул Николаю. Клавдия, перехватив этот взгляд, подобралась к мужу поближе.

– Ему, работничку, штрафную! – заорали бабы. – Без него да без Семена Савиныча сгинул бы колхоз.

– Это вас на руках носить надо, да некому, – отшучивался Митроха.

– Опять поволок не в ту степь, – оговорила его Таисия, и он, зажмурив глаза, опрокинул все налитое в кружку.

– Им тоже надо памятник ставить, – еле передохнув, продолжил Митроха.

– Че ли седня восьмое марта? – одернула его за рукав Нюрка.

К ним подошла Капитолина, поправляя на кофте оборки, хихикнула:

– Никола, скажи, я шибко состарилась? – В избе на минуту воцарилась тишина.

– Ха-ха! – захохотал Семен Савиных. – Сама-то не видишь?

– Сам-то себя каждый день видишь. Не примечаешь перемен. И я не тебя спрашиваю. Ты, Семен, дальше коровников да покосов нигде не был!

– Да для меня вы все на одно обличье, как кошки ночью, – пошел в наступление Семен Савиных.

– Ты прекрасна, спору нет! – вставил с полу вконец захмелевший Кунара.

Николай сидел в обнимку с Захаром Демидычем, изредка жмурил глаза, с трудом верил, что все это не сон, а самая настоящая явь: и голоса, и смех, и эти стены, и эти люди. Все было любо его сердцу.

Время за столом пролетело мигом. Вроде каждый только и сказал по слову, а в окно уже заглянула луна, успев проплыть полнеба.

– Утро-то под боком! – первым напомнил бабам Семен Савиных, и они, без всякого сопротивления, будто только и ждали этого, кучно вывалились из избы, побежали додремывать остаток ночи на своей постели. Остался только Кунара, сморенный выпитым вином. Он полусидел, полулежал, упершись спиной о стену. Ольга молчком бросила ему с полатей подушку.

От тишины у Николая будто заложило уши, и только пьяное бормотание Кунары да сопение мальчишек, взбрав-

шихся на полаты, которых все-таки сморил сон, нарушали таинственную тишину.

Оставшись один за столом, он сгреб на середину все кружки и чашки, соскоблил ногтем прилипшую к столешнице рыбку чешую, громко зевнул.

– Ложись спать, – позвала его Ольга, давно взбившая подушки. Вместо ответа Николай взял в руки табуретку, упершись в нее руками, доскакал до кровати.

Ольга отодвинулась к стенке, крепко зажала ладонями рот, но тонкий, похожий на мышинный писк плач все-таки вырвался наружу.

– Ну че ты? – дотрагиваясь до постели рукой, не то чтобы спросил, а как бы успокаивал Николай. – Так и жить станем. – Ей бы в это время забыть обо всем на свете и обнять Николая, а она прошептала: "О, Господи! Прости меня грешную".

– Ты-то уж без греха, – с какой-то легкостью ответил ей Николай, не подозревая, что она испугалась его сгорбленной, трясущейся над табуреткой фигуры. Ольга лежала с зажмуренными глазами. Открыла их, когда он, прыгая на одной ноге, стал раздеваться. Тут Ольга, соскочив с постели, посадила его на кровать и стала стаскивать гимнастерку.

– Половчее, Ольга, – сказал он. – У меня еще не все раны зажили. – Она остановилась в страхе.

– Неужто еще какие раны? И так... – но она не договорила. Откинув в сторону одеяло, помогла ему улечься и теплыми губами обцеловала его лицо и шею.

– Тощий-то какой! Только жилы одне, – вздохнула она.

– Были бы кости.

– Неловко тебе, поди. Ложись как удобнее. Теперь мое место с краю будет, – шепнула Ольга, расслышав, как, цепляясь, выползает из подполья серый кот Буська.

– Раны-то какие?

– Опосля, – закладывая руки за голову, ответил Николай. Ныли ссадины от костылей, рубец от ожога. Он давно бы снял нательную рубаху, да боялся напугать Ольгу шрамами.

– Под рубахой-то какой бугор, – едва дотрагиваясь, сказала Ольга.

– Была царапина. – С этой отметиной он полгода лежал в госпитале.

– Устал, поди. Люди-то от радости налетели, а то бы им подумать: отдохнуть тебе надо. Но от радости они, – баюкающим голосом говорила Ольга. – Че и говорить, устал. – Она уткнулась лицом в его плечо и не заметила, как сон сморил ее.

Кунара пробудился раньше всех. Рассвет шарил по небу, прятал звезды на небе, вырисовывал кучевые облака. По привычке он, не открывая глаз, сунул руку под подушку, отыскивая кисет, но нащупал голые доски. В висках будто клювами стучали дятлы. "Эко нажрался", – напрягая память, вспоминал вчерашний день.

Слабый петушиный голос прилетел от крайней мелехинской избы, затем будто возле самого уха прокукарекал петух по соседству.

– "Капитолинин", – подумал он. И вспомнил вчерашний разговор, что она не могла найти спрятанную где-то в огороде бутылку. И он крадучись, на четвереньках, пополз к двери, приговаривая: "Вода волю просит, вода волю просит".

Свежий ветерок с реки, сырь от земли прохладой ополоснули Кунару. Он задрожал, почувствовал, как мелкими пупырышками покрывается тело. Справив за углом нужду, стал примеривать взглядом расстояние до капитолининого огорода.

"Рукой подать", – подумал уже на бегу. Мокрые и холодные плети картофельной ботвы хлестали по ногам. По пути вырвал луковицу, стал с жадностью жевать, не чувствуя горечи.

На крыльцо избы поднимался вороватыми шагами, остановился возле порога и не дыша, на цыпочках, подошел к широкой деревянной кровати. Капитолина лежала на боку, возле самого края, оберегая сон трех спящих парнишек. Капитолина дышала ровно, спокойно и показалась Кунаре слишком молодой.

"А вдруг да возле себя положила бутылку", – явилась в голове мысль, которую в этот час будто нашептывали ему черти и даже подсказывали: Не робей! Недолго раздумывая он сунул руку под подушку, а угодил прямо в теплую Капитолинину пазуху.

Баба с испугу заорала на всю избу, а он опрометью вылетел в дверь, забыв про боль в пояснице, спрыгнул с высокого крыльца и присел на корточки.

– Люди! Домовой шупал меня. Руку его видела! – кричала Капитолина с крыльца. – Руки холодные, волосатые.

– Уймись, дура. Нужна ты домовому! – выглядывая из-за угла, осипшим голосом говорил Кунара. – Уймись. Да я подле тебя бутылку с вином искал. Че ор подняла ране петухов? Радовалась бы, – стараясь заигрывать с Капитолиной, лепетал Кунара.

– Ну те покажу! Я те не Настя Заречинская. Я мужняя жена! – кричала Капитолина.

– О-о-о, грехи наши тяжкие. Я старше поповой собаки. Че было, да и то при царе Горохе. Али я на правдашнего мужика схож? Да у меня уже давно все усохло.

Капитолина схватила палку, все еще не могла успокоиться.

– Ты, бросай палку-то, тебя простуда задавит. Да пушай это между нами останется. Не мели, мол, дед Кунара у меня за пазухой шарился. Не мели языком, а покажи, в какой у тебя стороне бутылку искать. Рукой только махни и ступай в избу.

– Возле бани где-то, – сообразив, что к чему, со смехом сказала Капитолина и пошла в избу.

– Вот и спасибочко, – неловко приседая, побрел Кунара к бане, стоящей на одной меже с Николиным огородом.

Скрипнула дверь с неволинской стороны. Кунара юркнул за угол, сощурившись, глядел в щель между венцами, ощущая во рту жгучую горечь.

Он видел, как Николай, постояв немного на крыльце, стал спускаться с одной ступеньки на другую, держась за перила,

после долго прыгал на одной ноге, будто спозаранку играл в скакалку.

– Наказание господне, сынок, – пряча под мышки трясущиеся руки, бурчал Кунара. – Война-то экий кедр искалечила. А вчера сидел за столом – мужик мужиком.

Кунара был не рад, что стал невольным свидетелем его беспомощности. В этот миг ему хотелось провалиться сквозь землю. Равномерный скрип коромысла отвлек его от дум о Николае. "Таська, пошла по воду. Кабы эта просмешница не увидела меня тут", – думал Кунара, перешагивая через банный порог. Вроде совсем над его ухом звякнула дужка о пустой подойник. Все вокруг уже наполнилось знакомыми звуками просыпающейся деревни. Ему бы не прятаться, выйти в огород и как ни в чем не бывало отправиться домой, а он не мог. "Экое ранение. Считай, четвертой части у человека нету", – сокрушаясь, думал Кунара, еле сдерживая слезы.

Неволинское крыльцо было как на ладони.

– Стрелебное. Ну, здравствуй, Стрелебное! Здравствуй, родное, – расслышал Кунара ясный голос Николая и замер, затаил дух, понимая, что, быть может, это самый нужный, самый дорогой миг в Николаевой судьбе. Такая душевная отрада.

Иванкин крик вывел Николая из оцепенения, он оттолкнулся от забора, расправил плечи и встал во весь рост: высокий, стройный и бравый.

– Я проснулся, а тебя нету. Думал, во сне приснился, – кричал мальчонка. – Илька тебя каждый день во сне видел, а я нет.

– Тут я. Повоевал. И дома дел много. – И проводя ладонью по кудрявым волосам сына с таким же непокорным вихром на макушке, как у него самого, прижал указательным пальцем его нос и спросил:

– Чей нос?

– Славин, – бойко ответил Иванко ребячьей скороговоркой.

– Не Славин, а Иванкин, – поправил Николай. – Куда ходил?

– Славить.

- Что выславил?
- Копейку.
- Чего на копейку купил?
- Конфетку.
- Куда дел конфетку?
- Съел.
- Куда дел крошки?
- Кошке!

– Не давай кошке крошки. Не давай кошке крошки, – трепал Николай сынишку за нос. Тот хохотал, хватал его за руку, просил еще: – Не отпускай. Спрашивай, говори: не давай кошке крошки.

- Хватит, а то нос оторву.
- Не оторвешь. Он крепкий.

– Ох ты, грамотей, – прижимая к себе сынишку, со вздохом выдавил Николай, мимоходом бросая взгляд на двор, ограду, сарай и конюшню, до которых давно не касалась мужская рука.

– Чего кулак не разгибаешь? Поди порезал или болит? – спросил Николай сынишку.

- Зуб.
- Какой зуб? – удивился Николай.

– У Илюшки зуб выпал, – шепнул Иван отцу. – Он вчера тебя не признал. Такой большой и не признал, а я сразу, – говорил он, недоуменно пожимая плечами – Он у тебя все медали сосчитал, а подойти боится. Как с тобой поздоровался, убежал в конюшню и там весь вечер сидел. Его никто не обидел, а он все ревел, даже не заметил, как зуб выковырнул. Зуб у него шатался и вдруг в руке оказался. Я его мышке брошу, чтобы она ему скорее костяной дала. Все парни так делают. Сереге Субботину мышка уже дала костяной зуб. – Иван полез под крыльцо, и оттуда послышалось: – Мышка, мышка, на репный, дай Илюшке костяной зуб. Мышка, мышка! – Иван быстро вылез из-под крыльца и, довольный, досказал отцу: – Все. Мышка прибежит и утащит Илюшкин

зуб. Это уж точно.

Иванко вмиг оказался на крыльце, и как-то само собой получилось, что протянул отцу руку, будто уже понимал, что тот нуждается в помощи.

У Кунары щипнуло сердце. Он не мог больше на все это глядеть и, прихрамывая, вышел из-за угла бани.

– Вона считай пол-огорода Капитолине вскопал, – опережая вопрос, говорил Кунара. – Вчерась слышал от баб, будто она не нашла бутылку. Вот я и искал.

– Да ты че делаешь? – услышал голос Ольги. – Много ли тебе надо? Теперь утренние росы студены. У тебя зуб на зуб не попадает. Какая тебе бутылка? Вот ведь какая охота к этому.

– Домой пойду. Залезу на печку, опосля свидимся, – глухо сказал Кунара, боязливо поглядел на костыли Николая, приспавленные в углу возле ступенек.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Ночь. У Чупровых отелилась корова. Семен Савиныч собрался на минуточку заглянуть к Неволиным, но Марфа настояла на своем:

– Вот окуришь Звездочку, тогда и ступай.

Из избы она возвращалась с жестяной крышкой от углетушилки, на которой лежала груда горячих углей, посыпанных богородской травой, которую бабы собирают специально для этого дня, сушат и хранят в сухом и темном месте.

Марфа держала крышку на вытянутой руке, быстро тлеющие угольки дрожали остатками серого пепла, рассыпалась сухая трава, наполняя конюшню душистым запахом леса. Звездочка шумно потянула в себя воздух. Опорожненные после отела бока вяло вздрагивали.

– И вымя пушай окурится, опосля омою его да за молоком приду. И ребята истосковались.

– Скоро? – нетерпеливо спросил Семен Савиныч. – Некогда, поле надо объехать, да с сего дня картошку станем копать.

– Может, на речку сходишь, корзину с бельем принеешь? Наполоскала, а поднять сил не хватило. Че-то все во мне ослабло.

– Вот ишо, белье стану таскать, – воспротивился Семен: такие дела в деревне мужики не делали.

– Дрова колоть ваше дело? А мы бухаем топорами.

Над рекой поднимался молочный туман. Стайка стрижей выпорхнула из-под берега, закружилась возле вершин корявой сосны. По берегу бегала неволинская собачонка Лапка, а на опрокинутой вверх дном лодке уже сидел Николай и глядел вдаль.

Семен подумал, что все думы Николая летали и кружились возле заимки.

– Издали твои шаги узнал, – сказал Николай Семену. – Че ты от меня глаза прячешь? Говори, что там, на заимке.

– В мыслях путаюсь, – признался Семен, – да только все слова не подходят.

– Чего там стряслось? Поди, выгнали старика Зосиму или, чего хуже, забрали да увезли куда-нибудь. У нас это практикуется. Гнут, гнут человека, пока он не сломается, а бездушного крути-верти, он безмолвный, покорный.

– Нет, – ответил Семен, искоса поглядывая на Николая. – Там Зосима и покосы у него не отбирали. Колхозу и этих хватает.

– Потому и не отбирают, что эти косить некому. А могли бы и отобрать, хотя вокруг трав на сто колхозных стад хватит. Ведь почему пристали к Зосиме? Не покоряется он, и все. А куда его угонять? Дальше нашей северной стороны некуда.

– Нашли же куда наших отцов отправлять, – неожиданно сам для себя выпалил Семен. Впервые он высказал вслух свои мысли об отце.

– Хотя бы и про отцов. Что им поставили в вину? Разве кто-нибудь полюбопытствовал? Если не считать наших матерей, которые бегали в Никитинск в пургу и метель. Районное начальство сколько раз приезжало по делам, а про наших отцов никто даже рот не разевал.

– Разве Захар Демидыч не полюбопытствовал?

– Ну и чего ему сказали? Думаешь, он чего-нибудь знает? Да и в Никитинске никто ничего. Станут им докладывать! Это все откуда-то издалека шло. В армии ребята рассказывали, как у них в селах вместе с кулаками лучших мужиков прихватили.

– Говорили, что взяли вроде за то, что через наше село белые проходили. В Никитинске пороли нещадно всех, кто попадал под руку.

– А при чем тут наши отцы? – вскричал Николай, но тут же примирительно хлопнул по колену Семена.

Семен, помолчав, добавил:

– К нам в колхоз счетоводом мужичок пристроился –

Прошка. На днях просто так, без заминки у колхозников спросил: а у Захара Демидыча тоже кто-то в семье был из "врагов народа"? И каждый встречный-поперечный нам в спину эти слова ляпает, а мы как виноватые.

– Я теперь каждому буду в рожу давать за такие слова.
– Это нам с тобой тут на берегу легко говорить, нас только ветер да вон собачонка слышит.

– Мне теперь ничего не страшно. Рассчитался, – скривив губы и бросив взгляд на пустую штанину, сказал Николай.

– Слышал я, что и с фронтовиками не больно церемонятся. Че не так сказывают, за шкурку и куда-то в дальние края отправляют, вроде нашего Никитинска.

– Все! – остановил Семена Николай. – Ты давай мне все доподлинно рассказывай, че там на заимке, а не то я спущу на воду лодку и поплыву.

– Боже милостивый! – вскрикнул Семен, да так, что Николай вскочил на ногу.

– Ну, говори! Говори, чего там случилось на заимке?
– Да померла Агаша. Давно померла, у Зосимы только ее девчонка осталась, – выпалил Семен Савиныч, отчего Николай, слабо и медленно покачнувшись, повалился навзничь, но Семен успел подхватить его.

В деревне все знали, что у Николая была большая, непрходящая любовь к Агаше. И сколько его ни ругали, ни осуждали, ни разбирали на собраниях, ни вызывали в район, ни грозили сослать туда, где Макар телят не пасет, снять с должности лесничего, даже женитьба на Ольге и рождение двоих сыновей не помогло ему забыть Агашу. Ничто не могло разлучить его с кержачкой. Все сходились на одном: приколдовала, присушила его эта лесная девка.

С призывом его в армию и отправкой на фронт все в деревне с облегчением вздохнули: мол, там вылетит из его головы блажь, Вернется и станет жить, как все путние люди. А вскорости стало известно, что Агаша умерла от родов, но у нее осталась маленькая девочка. Конечно, Семен любопытствовал

об этом и удостоверился, что ее отцом был Николай.

– Ну, Никола, – затряс его за плечи Семен, – Давай наваливайся на меня как следует, я дотащу тебя до избы, а там ребята за фельдшером сбегают. Ну че теперь делать?

– Врешь! – еще не поднимая головы, кричал Николай.

– Я, может, только из-за Агаши и выжил... Побожись, что сказал правду!

Семен Савиныч молчал.

– Не верю! – стонал Николай. он пришел в себя, когда со стороны деревни стали доноситься голоса.

– Не одежда меня греет, греет аленькая кровь, – старался казаться бодрым дед Кунара. На нем был овчинный полушубок с поднятым воротником, заячья шапка, на ногах высокие бахилы, сшитые из выделанной телячьей кожи. Его все еще колотила непроходящая дрожь. Он шел подтанцовывая, сам дивился своему бодрячеству и даже подумывал: не перед смертным ли часом бушует во мне кровь? По предупреждающему взмаху Семена Савиныча Кунара сбавил напев и скоро уселся прямо на песок, поглядывая на Николая, который сидел безучастный ко всему.

Ольга, все утро хлопотавшая по хозяйству, без радости вспоминала проведенную возле мужа ночь, давно позабывшая тепло родного человека. Она даже загадала: если Николай, проснувшись, не пойдет на берег, значит он забыл про займку...

Но ее сразу охватило жаром, когда, она, вернувшись с огорода, не увидела в сених костылей. "Неужто?" – вздрогнула она и, оставив все дела, побежала на берег.

– Кто-нибудь взболтнет ему про Агашу, а тогда не знаю че и будет? Че будет? – бормотала она.

Она давно смирилась, что Николай всю жизнь жил с ней половинчато, и понимала, что ему никогда не совладать со своей любовью, поэтому смерть Агаши напугала ее до такой степени, что она захворала бессонницей, и никакие Фузкины лекарства не помогали ей хоть на минуту забыться сном.

Она отошала, стала бессильной, плаксивой. Спасло письмо от Николая, пришедшее из госпиталя. И почудилось тогда Ольге, что это от ее неминуемой тоски, от слез приключилась с Николаем такая беда. Она стала корить себя, что может осиротить своих сыновей, оставить их без крепкого отцовского догляду.

Нашла тогда Ольга в себе силы. А тут снова подкараулила ее душевная тревога. Хотя и думала: "Он ведь хоть с какой стороны мой: и перед людьми, и перед Богом!"

Еле переступая отяжелевшими ногами, она вышла на кромку берега. Николай с Семеном сидели на лодке.

– Митроха, – сказала она соседу, – ступай, голубчик, на берег, тама мой с Семеном на лодке сидит, Кунара что-то балагурит.

Намекнула ли Ольга Митрохе про заимку, про Агашу, только, запинаясь о разбросанные возле крыльца поленья, в досаде мужик бурчал: – Да гори она синим пламенем, эта заимка! Теперя ему – не ранешная пора: вскочил на коня и айда! – рассуждал Митроха, спеша к лодке.

– Делов полно, а вы тут сидите. – здороваясь со всеми за руку, стараясь казаться спокойным, сказал Митроха.

"Не иначе как узнал про дела на заимке", – думал дед Кунара, присев на берегу. Он уткнул лицо в острые колени и разревелся. Всяк по-своему мог судить выходки Кунары, но мало кому пришло в голову, что ревел он, жалея Николая, сострадавая его любви к кержачке.

Николай с Семеном молчали и, казалось, боялись взглянуть друг на друга.

Спасительным стало появление на берегу Дорки, которая, воротясь с вечеринки домой, спать не ложилась, а сочиняла письмо в госпиталь на имя Павла Овсова.

Николай машинально взял от нее сложенный треугольником листок бумаги, прочитал и, не глядя на Дорку, сказал:

– Отправляй, только рана у Павла не скоро заживет, а от письма ему радость будет.

– Я тама про нашу радость написала, что ты вернулся. От всех поклоны прописала, – сказала Дорка и весело побежала на работу. Добежав до огородных прясел, обернулась: – А вы че расселись? День-то ведренный, – самый раз копать картошку, и, взмахнув рукой побежала, улыбаясь сама не зная чему.

– Думаешь, этот Павел поедет в нашу глушь? – спросил Митроха.

– Как не поедет? Он совсем осиротел. Их деревню дотла сожгли. Калека, да и на фронт больше не отправят.

– Ну Дорка! – покачал головой Семен Савиныч. – Я думал вчера так спросила, под веселым настроением была.

– Пусть приезжает, коли желание будет. Дорка девка здоровая, краснощекая. Все тело теплом дышит.

– Во времена пошли! Девки сами себе женихов выпиывают, – сказал Митроха, но ни у кого не было желания продолжать разговор. Семен Савиныч сказал:

– Пущай парень едет. По первости у меня жить можно, а там поглядим. Понравится Дорка – и все сладится, миром избу срубим. Кто нам запретит? Миром да собором поможем фронтовику.

– На заимку поплыву, – вдруг решительно сказал Николай.

– Зосима-то тут же пристрелит тебя. Он уже давно для тебя пулю отлил, а деревню нашу поносил всякими словами, – проговорил Митроха.

– Чем себя так терзать, поезжай, – примиряюще робко сказал Семен Савиныч, твердо решив, что через полчаса и сам спустит на воду лодку, поплывет на заимку, хотя дел в колхозе располным – полно.

– Вы уже простите меня, – говорил Николай мужикам, не привыкшим к таким извинениям. Семен с Митрохой сморщились и стали выбирать для Николая лодку полегче.

– Вона у Леньши Лопатина новенькая и недавно просмоленная, – сказал Митроха. – Да хоть какую бери.

Николай встал на костыли и впервые за все утро поднял

голову. День был ядреным: ни облачка на небе. Прохладный ветерок мелкой рябью морщил волны.

– Только Ольгу жаль. Понапрасну ее тревожу. Вы-то ее не корите, – сказал Николай тихо, но Кунара услышал.

– Вона она, – поднимая голову, проговорил Кунара. – Я ведь чувствовал: тута где-то Ольга мечется.

– Знала я, что он на заимку сей же день поедет. Знала. Потому и котомку собрала. Сразу, как только пошел на берег, – не то жаловалась, не то бедовала она, как всякая русская баба, привыкшая к всепрощению.

Она подбежала к лодке, с разбегу бросила котомку к ноге Николая, не замечая, как холодная вода заливает поверх резиновых сапог.

Чтобы скрыть нервное напряжение, она поспешно спрятала трясущиеся пальцы за пазуху и глядела на Николая, читая в его глазах тоску. Она понимала, как нестерпимо ему хочется туда, на заимку.

– Пули Зосимы остерегайся, – сказала она, зная, что уговаривать остаться бесполезно. Ей бы заголосить, заплакать, жалуюсь перед миром на свою горькую участь, поискать в людях сочувствия, но в этот миг она думала о нем.

– Я ненадолго, скоро ворочусь, – подтаскивая к ногам котомку, говорил Николай. Он сполоснул в воде руку и приложил ее к вспотевшему лбу, щекам. Ольга помогла мужикам оттолкнуть лодку от берега.

Отплывая, Николай даже не обернулся. Все его помыслы были там, на заимке. Он лежал на дне лодки, на мягкой копне сена, старательно разостланной мужиками, и не слышал ни голосов, ни плеска волн, ни гоготания в высоком небе каравана гусей. Ему вдруг показалось, что он один в большом и светлом мире. "Голубушка моя, Агаша, вот я и вернулся. Сейчас выйду на берег, отыщу твои следы и буду ждать. Я ведь и раньше тебя подолгу ждал. У меня хватит терпения. Помнишь, как уснул на берегу возле Пузыришки? Ты пришла и просидела – ждала, пока я проснусь. Помнишь? Там, на



Вот он, этот человек, который сидит на земле и смотрит на свои руки. Он знает, что он не может ничего сделать, что он не может ничего изменить. Он знает, что он не может ничего сделать, что он не может ничего изменить. Он знает, что он не может ничего сделать, что он не может ничего изменить.

войне, всегда помнил это. Да только ли это? Я ведь обещал тебе вернуться. Обещал все поправить. Ольга? Ну что Ольга?! Ребятишки?! Жалко их, да я же сильный. Неужто кого из них оставлю на произвол судьбы? Неужели я так побидел тебя, что ты оставила меня сиротой? Я ведь не верю никаким словам. Я вот полежу, выйду на берег и отыщу тебя. Все мечтал, как вернусь, расскажу тебе, че видел, как воевал, как ты мне во сне снилась. Мне даже казалось, что ты в госпиталь приходила. Будто пришла, дотронулась рукой до раны, она и заживать стала. Рана-то большой след оставила. Как же это ты от меня все скрыла? Знал бы я, что ты в тягости, наказал бы Митрохе, Семену, чтобы они чаще на заимку наведывались. Ох, Агаша, Агаша!" – ворочаясь на дне лодки, стонал Николай, отирая ладонью липкое от пота лицо.

Лодку давно прибило к берегу. Уткнувшись носом в прибрежную осоку, она встала наискосок к песчаной косе, равномерно покачиваясь с боку на бок. Со свистом пролетела над лодкой стая уток, и он успел разглядеть сизоватые перышки на их зобатых грудках, вытянутые вдоль туловища тонкие ниточки перепончатых лап. До слуха долетело равномерное бульканье воды. Николай чуть повернул голову. В заводи, шагах в двадцати стоял лось. Бурый, с отлинялой до желтизны шерстью на спине, он вскинул на спину рогатую голову, застыл на месте... С клинистой бороды в воду капали капли. Зверь тарачил на лодку перепуганные, выпуклые глаза.

– Здорово, дружище, – нашелся Николай, и лось, как от оглушительного выстрела, подпрыгнул сразу на всех четырех ногах. Вода под ним вскипела, булькнула, и, выбрасывая парно длинные ноги, лось побежал по бечеве, оставляя в тонкой няше глубокий след.

Николай сел на положенную поперек лодки доску, оглянулся вокруг.

"Вроде как Половинка?... – вглядываясь в крутой яр, подумал Николай. Он не мог сразу узнать подмытый водой берег. – Я ведь на Половинке покосничал, каждый кустик знал. Годов

десять назад тут гарь прошла. Петрухина оплошность была. Он перед отправкой на войну сам повинился. А в гарях и лоси водятся. В мелколесье им еды вдоволь и огляд хороший. Лоси живут здесь без сторожки. Да, Половинка это. Вон на берегу и березу вижу. Она". Он уже отталкивался веслом, поворачивая лодку бортом к берегу. "Как хорошо, что я в этот час один!" – подумал Николай, когда почувствовал, как мелкой дрожью задрожали губы. Нервная дрожь долго держала его в своих объятиях.

Солнце поднялось над головой, прямые лучи насквозь пронизали реку. Стояла тишина. Стайка подростшей за лето чебачьей молодежи нежилась в пригретой солнцем воде, но, потревоженная шорохом лодки, грудно отодвинулась вглубь. Турухтаны – тонконогие болотные петрушки, нахохлив разноцветные перья, бегали по крутояру друг за другом, дрались, прятались в подростшей траве и вновь выпрыгивали на яр.

"Остановлюсь пока, подумаю, что теперь делать". Из лодки Николаю выбраться было не так легко. Вначале он выбросил на отмель мешок, потом один за другим костыли. Притягивая лодку к берегу, держался за осоку. Даже турухтаны перестали резвиться и ссориться, рядком засемили вдоль бровки берега и вдруг, словно сговорившись, все враз поднялись на крыло.

С покосного луга прилетели запахи трав. Николай не рискнул взбираться на покос по комьям, пошел в обход, оставляя глубокие следы костылей. Вскинув голову, он увидел зарод с перекинутыми через каждый пролет сплетенными вицами и сел на прибитую водой корягу отдохнуть.

Оставалось еще метров двадцать подняться вверх. А пока он отдыхал, отпыхивался от усталости, дивился, что раньше не замечал никаких кустарников, валежника, муравейников. Он ходил везде напрямик, без оглядки, и теперь не мог согласиться, с тем что целую жизнь обречен глядеть только под ноги. Остаток подъема прополз, цепляясь руками за упругие ветки молодого березняка.

Вот он, Половинкинский покос! Старая береза, как и раньше, стояла с обломленными нижними сучьями. Когда-то на этом месте он ставил большие зароды. Увидел круг кострища с вбитыми в землю рогулинами для навеса ведра или чайника.

"Половинка!" Он вспомнил, как, бывало, кричал здесь, чтобы послушать, как перекатывается в воздухе громкое эхо. Николай собрался с силой, приложил к губам ладони, закрыл глаза и закричал: "Эге-ге-ге-ге!" Но голос его не вознесся ввысь, а затерялся где-то рядом. Он сел, сорвал жесткие стебельки нескошенных трав, помял в ладони и стал вдыхать их аромат.

"Кругом тишь и запустение. Как же быстро вы, травы, затянули покос! И березняк выбежал на самую середину. Раньше только по кромкам стоял, а тут будто плясать выбежал. Один, два, три, четыре хоровода. Много для одной Половинки. А там ивняк заматерел, даже ветками землю метет. Давно не чистили покос: у баб сил нет, у мужиков – времени. Если так пойдет, оставят Половинку, забудут. Зарод-то всего один, кому охота из-за трех – четырех возов сюда ездить, в зимнюю пору дорогу торить. Видать по всему, к тому и идет. Половиночка... Вот отчего и не звенит над тобой эхо".

Николай взял в руку собранный Ольгой мешок со снадью, направился к старой березе, к месту, откуда хорошо просматривается река. Но, сделав несколько прыжков, остановился, плашмя лег на землю и долго лежал, не поднимая головы. Пахло чистой землей, без примесей гари, копоти, дыма, бензина. Пахло мятой, шалфеем, пыреем.

Молодые березки с темно-коричневыми тонкими стволиками, раскачиваемые ветром, будто шептались между собой приглушенным шорохом. Поднявшись, Николай взглядом отыскал место кострища.

"Еще годок-другой и станет Половинка простым, беспмятным местом. Станут проплывать мимо нее лодки, и не будет ни у кого желания остановиться, развести костер, не будет разноситься по округе собачий лай, не станут по покосу

бегать ребятишки. Громадой лес-молодняк, сорные кустарники захлямят покос".

Николай старался бодрствовать, хотя от слабости дрожала нога, медали на гимнастерке мелодично позвякивали, прикасаясь одна к другой, было в их звоне что-то таинственное и тревожное. Ему даже показалось, что звон доносится из-под земли...

"Боже мой, до чего только не додумается воспаленный разум. Голубушка моя, – вырвалось из плотно сжатых губ Николая. – Прости меня! Поверить боюсь, Агаша. А вдруг да люди все соврали? Вдруг открою глаза, а ты жива и здорова появишься передо мной". Николай схватил голову ладонями, низко склонился. "Только нет, Семка никогда не соврет. Он не будет так шутить со мной. Да и Ольгин плач! Агаша, Агаша, голубка моя. Как мне жить теперь без тебя? Как на заимку явиться? Как с отцом твоим говорить? Есть ли у него слова? Да и у меня тоже нет. Да и у нас с тобой много ли было слов? Они нам не нужны были. Без них нам было радостно и на душе светло. А люди охочи до чужой беды". Он представил, каким эхом отзовется в деревне его отплытие на заимку, замороженного любовью к кержачке.

Молва о смерти Агаши давно справляла свой пир: жила в Стрелебном неделю, в неволинской избе жила постоянно по причине того, что бабы не упускали случая посудачить, полагая, что от этого полегчает на сердце у Ольги. Николай представлял, какое горе нависло над заимкой. Зосиму казалось, что смерть Агаши оплакивали леса и травы, покосы и берега. – все, где ступала ее нога, чего дотрагивались ее руки.

С реки дул ветер, разгоняя по склону пожелтевшие листья. По спине пробежал холодок, Николай поднялся с земли.

"Пуля для меня вылита, – вспомнил он кем-то сказанные слова на берегу. – Че мне пуля? Повидал их немало. Пуля пуле рознь. Я, быть может, на месте Зосимы тоже думал бы о мщении. Тоже приготовил бы обидчику пулю. Нет, на за-

имку пока не поплыву. Пусть душа успокоится да с мыслями соберусь. Все перепуталось в голове. И Ольгу жаль. При чем тут она? И пообидеть ее не хотел, она мать моих сыновей, но ведь и на них я не нагляделся!"

Николай сплюнул скопившуюся во рту горечь, поднялся на костыли, они вдруг скрипнули под тяжестью тела, будто специально, чтобы отвлечь его от грустных раздумий. Но не тут-то было! Намереваясь развести костер, он сразу ощутил свою беспомощность. "Какой я работник? Какой подсобник?" И он снова впал в тоску.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Семен Савиныч, по настоянию деревенских мужиков да и баб тоже, вскорости поплыл за Николаем. Сразу догонять Николая не стал. "День-то какой! – вздыхал он. – Не время вроде бы на дне лодки лежать". Но ополаскивающая речная прохлада нежила его после вчерашнего похмелья и приятная нега потихоньку клонила ко сну.

Очнулся он, когда лодку прибило к какому-то берегу и прибрежная трава зашуршала о ее борта. Вскочил на ноги и чуть было не свалился в воду. Берега показались незнакомыми, и Семен Савиныч какое-то время тарасил глаза по сторонам, пока не взглянул на солнце, которое стояло почти над головой. "Ничего себе храпанул! – нащупывая на дне лодки весло, думал он. – Николая-то где стану искать? Быть может, уже обогнал его?" – с силой работая веслом, выплывая на середину реки, размышлял Семен Савиныч. "Солнце-то к обеду поднялось, того и гляди к закату покатит. Ну, Семка, молодец", – укорял он себя, пристально вглядываясь в берега. "Кажись, уже половинкинские покосы пошли", – подумал Семен, заметив на берегу три березы, растущие из одного корня. "Ясно, они. И надо же столько продрыхнуть! Тут где-то и Неволинский покос. Может, Николай посмотреть захочет, остановится".

И каково же было его удивление, когда он издали заметил причаленную к самому крутояру лодку и хлопотавшего возле нее человека. Семен, прижав свою лодку в зарослях камышей, видел, как Николай выбросил на берег мешок, один за другим оба костыля и почти ползком выкарабкавшись из лодки, стал подниматься на берег.

"Или ты, Никола, соображение потерял? Куда лезешь? Можно же найти место пологое. Чуть проплыви – и берег не так крут". Семен даже зажмурил глаза, когда Николай, вскарабкавшись до половины крутояра, сорвался и скатился обратно, до самой лодки. И снова, с какой-то яростью хватаясь

за дерновые корни кустарников, смытые весенними паводками, все-таки вылез на берег. Как хотелось Семену выплыть из своего укрытия, но он не решался, боясь сконфузить Николая. К его счастью, возле протоки оказались нетронутые кусты спелой смородины. Он не мог вспомнить, когда в последнее время собирал ягоды. В колхозе всегда полно дел, и вообще сбор ягод – не мужицкое дело, их в Стрелебном собирали только бабы и ребятишки.

Осторожничая, Семен проплыл мимо лодки Николая, завернул в заводь, но сразу на покос не пошел, боясь смутить Николая, уставшего, запыхавшегося.

Поднимаясь по склону между зарослями березняка, Семен насвистывал мотив песни из какого-то кинофильма, который еще до войны привозили в деревню.

– Я так и знал, что ты где-то тут, – не скрывая радости, сказал Николай. – Ясно, тебе в деревне не дали покоя. Давай ворочайся обратно и скажи, что на заимку плыть я пока передумал.

– Совсем сдурел? – сказал с придыхом в голосе Семен. – Явился, всех на уши поставил и на свою заимку отчалил.

– Экое, Семка, кругом запустение, – стараясь смягчить разговор, сказал Николай.

– Ты мне зубы не заговаривай. Поплывем домой. Без тебя меня в деревню не пустят. Ты, че ли, наших баб не знаешь? Оставаться тебе тут нет никакой надобности. Завтра ежели не меня, то Митроху отправят, не Митроху – так Оську.

– Без пригляда и помереть не дадут, – расстегивая пуговицу на гимнастерке, сказал Николай.

– Ну-ну! Говори, да не заговаривайся. Может, хочешь, чтоб сам Захар Демидыч за тобой приплыл? Так он и так еле ноги волочит, а как узнал, что ты на заимку поплыл, только руками развел. Вернемся домой, в бане попаришься, отдохнешь, поразмыслишь и тогда плыви. А пока побудь дома. Вдруг да из военкомата позвонят? Че говорить станем? Наши-то мужики врать не умеют.

– Нет, Семка, домой не поеду. Здесь поживу, свежим воздухом подышу.

– Да тебя еще фельдшерица наша не осмотрела, а у ней приказ такой есть возвращенных с войны держать под контролем. Она говорит, что большинство раненых возвращаются домой не до конца вылеченными, за ними присмотр нужен.

– Передай Фузке, появлюсь дома – пушай осматривает. Али, может, сюда приплывет?

– Ты че похохатываешь? Фузка-то уже остарела.

– Что ли, шуток не понимаешь? – сказал Николай и добавил: – Кто поплывет, так пусть лопату привезет. А ты топор свой оставь. – Семен понял, что разговаривать с Николаем бесполезно.

– Меня ведь в деревне поедом съедят, – примирительно, с тоской в голосе говорил Семен, собирая ветки и прутья вокруг себя. – Надо же костер тебе разжечь да кое-какой балаганишко изладить, не дай бог, погода испортится. Осенью она шибко переменчива.

Семен, ловко орудуя топором, заготавливая дрова и таская охапки сена от поставленного сикось-накось зарода, говорил и говорил о чем-то несущественном, лишь бы не вступать с Николаем в пререкания.

С реки тянуло прохладой, ветер трепал последние листья на березе, шумел оголившимися ветками молодой березняк и осинник.

– Ох и заушают на меня бабы! Зажужжат как осы. Ты знашь, сколько у меня командирш? – разжигая костер, не глядя на Николая, говорил Семен.

Костер разгорелся не сразу. Волглая трава, отсыревшие на земле хворостины и щепье шипели и дымились, пока березовая кора не вспыхнула яркими языками.

– Чайник надо вскипятить, – сказал Семен и побежал к крутояру, чтобы набрать воды.

– Нашел место, – бурчал Семен, осторожничая, чтобы не расплескать воду в закопченном чайнике. – Сам-то взобрался как? – слукавил он.

– На брюхе, с горем пополам.
– Подале спуск пологий – через березнячок и сразу берег.
– Да я не огляделся, как угорелый полез, как узнал Половинку, – признался Николай.

Семен стал доставать из мешка съестное, завязанное в женский головной платок: картошку в мундире, лук, чеснок, два свежих огурца, большой берестяной туесок с молоком и два кусочка черного хлеба.

– Ольга велела взять, говорила, что ты все равно со мной не вернешься. Я не поверил ей, что ты такой упрямый, а она ревела, узел да туесок взять просила.

Николай молчал, узнавая прежнюю хлопотливость жены.

– Может, поплывем домой? – попросил Семен.

– Ты топор оставь, – вместо ответа сказал Николай.

– Ну и хрен с тобой. Мерзни тут. Утренники-то холодные. Простудись еще, – в сердцах сказал Семен и пошел к зароду за еще одной охапкой сена. Расстались друзья полюбовно, даже обнялись.

– Про лопату не забудь! – напомнил Николай, когда Семен отгалкивал от берега лодку. Он стоял на берегу до тех пор, пока она не скрылась за поворотом.

Оставшись один, Николай подался в глубь покоса, но не тут-то было! Костыли глубоко проваливались в землю, и он с усилием вытаскивал их, чтобы переставить на другое место. Он быстро устал, вспотел от напряжения, дрожала здоровая нога. Николай в каком-то яростном порыве доскакал до костра, с жадностью отпил добрую половину смородинового чая и, отбросив костыли, грохнулся на сенную копну. Он не знал, сколько времени пролежал так с закрытыми глазами, исподволь радуясь только тому, что никто его не видит в таком состоянии, не слышит скрежета зубов, не видит вытекающую слезу.

Так он пролежал долго и открыл глаза только тогда, когда на землю спустились сумерки и на темнеющем небе показались далекие звезды. Вздохнув глубоко, будто сбрасывая с плеч тя-

жесть, Николай подошел к затухшему костру и стал сгребать в кучу тлеющие головешки. Поглядев в сторону молодого березняка, вспомнил, что именно в этой стороне была проторена тропка, по которой он легко и быстро доезжал на лошади до заимки. Он явственно представил тропу, избу Зосима и даже вспомнил на воротах деревянную завертушку, гладко отшлифованную хозяйскими руками.

"Да мне теперь и не дойти до ворот, – с испугом подумал Николай. – Кому я теперь нужен кроме Ольги? Не случись с Агашей беда, стала бы она глядеть на меня, такого ополовиненного? А быть может, и такого бы меня приняла". И только сейчас он явственно понял, до чего же его душа рвалась к уединению. Он боялся услышать какие-либо слова об Агаше, ревновал к любому сказанному о ней слову. Только здесь он мог предаться воспоминаниям о счастливых мгновениях их жизни. "Как это Агаша не сказала мне о своей тяжести? Да она и сама, поди, ничего не знала. Жила с отцом, ни старух рядом, ни подруг. Да и подругам бы не сказала моя лесная красавица.

А как это деревенские бабы легко опрастываются? Кого в бане прихватит, кого в поле али на покосе. Говорили, что Перевалиха последнего-то, Борьку, в лесной деляне родила. Совсем одна была и домой в фартуке принесла. И как она, Агаша, маялась. Поди, кляла меня, а я ведь ничего не знал. Господи, прости меня грешного. Поди, за этот грех и наказал меня". Но тут Николай сумел остановить себя: "Зря Бога гневлю. Сколько ребят упали на землю, так и не подняли головы. А я не то что дышу, а еще про любовь толкую".

На какое-то время мысли в голове перепутались, в глазах потемнело при воспоминании о последнем танковом сражении, после которого он открыл глаза только в госпитале.

Густой туман выползал из ложбин, окутывая округу таинственной пеленой, заволакивая лес и кустарники белесой дымкой, в которой угадывались только очертания стога, стоявшего посреди покоса. Воздух наполнился сырью, и Нико-

лай, почувствовал пробежавший по спине холодок. "Не мешало бы прихватить шинель", – промелькнула мысль, и он, успокоенный царившей вокруг тишиной, принялся хлопотать вокруг костра. Теперь уже Николай по-настоящему стал готовиться ко сну, зарывшись в сенную копну. Приятно пахло душистое сено, пересохшие стебельки шекотали его щеки и шею, чуть слышно пощелкивали под грузом его тела, но сон не приходил. Он увидел как из-за леса на небо выкатывается луна и как раз в этот момент он почувствовал легкое содрогание земли и глухой отдаленный топот. Николай торопливо поднял голову. "Неужто столько лосей расплодилось?" – промелькнула мысль. Он не мог ошибиться, он явственно слышал бег каких-то животных.

Нельзя сказать, что это его не встревожило, топот животных он слышал явственно и даже определил, в какую сторону удалялось стадо.

Прошло немало времени, прежде чем над покосом воцарилась настоящая тишина. "А вдруг бы передо мной появилась Агаша! – подумалось ему. – Она ведь знала эту тропку. Пешком, кажись, не приходила, а со мной на лошади бывала тут несколько раз". И Николая вдруг обдало жаром, он почувствовал, как кровь прилила к щекам. "А она ведь мне что-то говорила! – вскочив с сенной подстилки вспомнил он. – Я не понял тогда. Возле нее я всегда был в угаре. Она ведь что-то шептала мне на ухо". Он помнил каждое Агашино движение, жест, каждый смешок! А главного не помнил. "Да что она понимала, голубка моя? Мне бы, жеребцу, надо было быть поаккуратнее". Николай в бессилии грохнулся навзничь и лежал с открытыми глазами, ничего не видя и не слыша.

На горизонте показалась розоватая полоска утренней зари. Ветер с реки дыхнул прохладой, шепотом ветвей отозвались березы. "Кто рано встает – тому Бог дает", – ощущая прохладу во всем теле, бурчал он, возясь возле костра. Оглядевшись зарастающий диким кустарником покос, взял в руки топор. Он да-

же не заметил, как срубил куст колючего шиповника, отшвырнул ветки в сторону костра, и, вцепившись руками в крепкое корневище, вытянул его из земли и тоже бросил в сторону. Не замечая, что от росы промокли брюки, и позабыв про костыли, он переходил от одного куста к другому, размахивая топором. "Надо пускать пал, – обтирая рукавом гимнастерки стекающий со лба пот и оглянувшись на срубленный им кустарник, рассуждал Николай. – Есть еще порох в пороховнице! – хвалил себя Николай, измерив взглядом расстояние до костра, где были оставлены костыли. Он доползал до костра, сгребая в кучи срубленные кустарники, и поджигал их, а они, отсыревшие и полные жизненных соков, не поддавались огню, корбились, шаяли, окутывая округу густым едким дымом.

"Работая топориком, я еще многих за пояс заткну", – рассуждал он, хотя и чувствовал усталость во всем теле.

Стоило только голове оказаться на сенной копне, как сон сморил его. Он проснулся от собачьего лая, какие-то минуты соображал: где он и что вокруг происходит? Взглянув на почерневшие, исцарапанные колючими ветками руки, вспомнил, как расчищал покос. Захотелось вымыть руки, но воды в чайнике осталось на самом дне только для того, чтобы смочить пересохшее горло.

Расчесав пятерней густые отрастающие волосы, одернув гимнастерку, Николай направился к кротоюру.

Шустрая собачонка не без труда вскарабкалась на берег, увидев его, звонко тявкнула, будто поздоровалась, и, обежав вокруг костра несколько раз, убежала в березняк.

К берегу причаливал лодку Митроха. Проворно выскочив из нее, надел на плечи берестяную пайву. Звонкий голос сидевшей на корме бабы остановил его: "Неужто тут собрался карабкаться? Подале берег пологий", – узнал Николай голос Ольги. Митроха послушался.

– Это че такое делается? – заорал Митроха. – Ты хоть в уме? Покос чистить собрался. Тебе лежать да лежать надо. Из во-

енкомату звонили, спрашивали, как здоровье прибывшего домой фронтовика, а Фузка не больно соображения имеет, ответила: мол, Николай Неволин и дня дома не побыл, на заимку уплыл. Захар Демидыч, как услышал, мне тотчас велел плыть к тебе и Ольге строго-настрога наказал быть при муже, еще свое двуствольное ружье послал. Наверно, чтоб ты от кержачьей пули защиту имел.

– Ведь у него и воды-то нету! – закричала Ольга и опрометью побежала к реке.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Увидев приплывших к Половинке Митроху и Ольгу, Николай почувствовал неловкость: он понимал, что принес в деревню много хлопот. Стояли погожие дни, и дел в полях было полно, все люди были на счету. Не будь он первым раненым односельчанином, на него махнули бы рукой. Стоять долго на костылях Николай не мог: поторопился сесть на валявшийся возле костра сучковатый чурбан.

– Присаживайтесь, гости дорогие, – с иронией сказал Николай, когда Митроха поставил возле костра пайву. Но тот сразу заторопился в лесок за дровами для костра, а Ольга, охая и удивляясь, стала собирать валявшиеся нарубленные Николаем ветки кустарников.

– Надумал покосы чистить, а дома полным-полно дел, – по-хозяйски бурчала она, – хоть бы ребят-то пожалел. Каждый у них про отца спрашивает, а они с берега не уходят, все тебя ждут. Про себя уж не говорю. Про меня кто токо че не говорил, да, видать, устали, а теперь за ребят принялись.

– Хватит, Ольга, – заметив возвращающегося Митроху, с натугой тащившего тяжеленное бревно к костру, сказал Николай.

– Теперя и перекусить можно. – В чайнике вода вскипела. У Николая, поутру доевшего последнюю картофелину, заурчало в животе.

– Голодом себя уморить надумал? – бойко спросила Ольга. – Бабы-то че только не натащили к нам на стол, а он... – Но, встретившись с хмурым взглядом мужа, утихла как проглотила язык.

На душе Николая повеселело: как ни храбрись, как ни крепись, а одиночество всегда вызывает в человеке тоску. А рядом с людьми за разговорами, за делами боль отступает и становится легче. Он посмотрел на Ольгу и только сейчас заметил, как она исхудала. Митроха тоже изменился,

прибавилось морщин, постарел.

На берестяную скатерку Ольга разложила деревенскую снедь, по которой так соскучился Николай: зеленый лук, чеснок, соленые огурцы, квашеную капусту, отварную картошку, пареную репу с турнепсом. С края два засохших кусочка хлеба положила.

– Не знаю, с чего и начать, глаза разбежались, – сказал проголодавшийся Николай.

Ольга пошарила в берестяном коробе и на самую середину выставила ополовиненную бутылку довоенной водки.

Мужики мимо рта и капельку не уронили. Ольга только смочила язык, сморщилась, зато Митроха с Николаем от удовольствия крикали.

– Довоенная водка заморским винам не чета! – многозначительно сказал Митроха, никогда в жизни не пробовавший ничего, кроме браги и самогона. Он утверждал, что один стакан довоенной водки может сшибить с ног.

Мужики раздурманились, разговорились, первым делом, конечно, про колхозные дела.

– А ты один столько напластал! – показывая взглядом на очищенную деляну, удивлялся Митроха. – Без мужиков, считай, все покосы заросли. Бабы с ребятами прибегают только сено косить да зароды сметать. Некому покосы чистить. До войны-то я здесь четыре зарода метал, а ноне только один кособокий.

– И то слава богу! – вставила Ольга. – Ладно, Мишка Суботин мимо плыл, так я ухнула ему. Подсобил.

– Кособокий зарод, – заключил Митроха.

– Ладно, замолчи. Зарод им кажется кособоким. Глаза-то от выпитого скосило, теперь к зароду пристали.

– Все одно кособокий, – не сдавался Митроха. – Вот давайте сказывайте, когда поплывем домой... Коли сейчас, так дома засветло будем.

– А мы никуда не поплывем, – протянул Николай. – Пока погода стоит хорошая, тута надо топором помахать.

– Тебе махать? – закричала Ольга, но вовремя остановилась, пожалела Николая, с болью взглянула на него: кожа да кости, и по всему видно, что устал, если от выпитой водки пот градом катится по его лицу.

Митроха покряхтывал, отпивая из кружки горячий смородиновый чай.

Со стороны, как показалось Николаю, послышался топот. Никто вроде не обратил внимания, но Ольга, наблюдавшая за Николаем уловила его настороженность.

– Тута лошади место облюбовали, – сказала она.

– Жеребец по кличке Влас приманивает их, – добавил с полным равнодушием, даже не повернув голову в сторону, Митроха. – Одичал, раньше ребят на спине катал, а теперь кусачий стал, в деревню редко приходит, а лошади, как отпустят покормиться, сразу сюда, к Власу, бегут.

– Вроде как проведывать, – добавила Ольга.

– Влас облюбовал Половинкинские покосы, – продолжал Митроха. – Поди, учуял пал и кружит тут.

У Николая от души отлегло: слушать по ночам чьи-то шаги неприятно.

– Так че? Домой собираться будем? – немного отдохнув, спросил Митроха.

– Я еще поживу. Вишь, сколько наворочал. Убрать надо.

– Ты че, Никола? Дней впереди, че ли, не будет? Да в бане помыться надо, переодеться. Че так с медалями и будешь – начала было Ольга.

– Погода какая стоит! В самый раз покосы чистить.

– Ты че? Обратно на шесте тебе не подняться. Река-то убьела, течение быстрое, да и перекаты есть. – В словах Митрохи была чистая правда.

– Не оставлять же все как есть.

– Тогда я с тобой останусь, – бойко сказала Ольга. Николай для порядка воспротивился, но сказал это так неубедительно, что самому стало неловко.

– Останусь. Капитолина али Дорка пушай корову подоят,

а ребятам одним быть привычно, – сказала Ольга, захопавшая вокруг костра.

– Тама, на спуске, надо ступеньки накопать, чтобы было удобнее костыли ставить, – сказал Николай. – Соскальзывают, и приходится на заднице ползти до воды.

Распростились. Бегавшая вокруг покоса собачка оказалась тут как тут. Получив из Ольгиных рук угощение в виде вареной картофелины, твякнула, поблагодарила и побежала за хозяином.

– Присылать кого али сама на лодке подымешься? – воротясь, спросил Митроха.

– Не впервой! Все лето с ребятами одна подымалась, да ишо с грузом, – не оборачиваясь, ответила Ольга, собиравшая срубленные Николаем кустарники.

Ей бы сейчас посидеть возле него, поговорить обо всем, помечтать. Они люди еще молодые, жива в них вера, что жизнь бесконечна и многое можно поправить.

Вздыхнув, Николай молчком принялся вырубать корневища. Прежней силы в руках не было, и это сразу заметила Ольга. Кучи хвороста, разгораясь, трещали, раскидывая искры, дымилась, заволакивая округу дымом. Она все время глядела на Николая. "Ловка Ольга", – удивлялся сноровистости жены Николай, поглядывая, как она управляетя со всем, за что бралась.

– Николай, я побегу балаган поправлю. По небу тучи забродили. – И она побежала, шурша подошвами сыромятных бродней по траве. Широкий подол юбки, сшитой из холщевины, раздувался, будто крылья у приземляющейся птицы.

Стужались тучи. Деревьев стало не видно. На небе показалась темная стена с изломанной городьбой, обозначенная на горизонте.

"Слава богу, что Ольга осталась", – с радостью подумал Николай.

– Зябко, – стараясь прочнее стоять на костылях, сказал он, подпрыгивая к костру. – Про че я и говорю: утро вечера мудренее. Оставляй работу, на сегодня хватит.

...Вечер, кажется, навалился сразу, и ничего не оставалось делать, как отпить горячего чая и забраться в балаган, где Ольга из сена и привезенных телогреек смастерила вполне приличное место для ночлега.

– Хорошо-то как, – обрадовался Николай. – Душицей пахнет и пыреем.

– Разнотравья полно. Откуда-то толокнянка появилась, вроде в прежние времена ее не было – говорила Ольга, прислонившись к Николаю. – Вдвоем-то теплее будет. – Устал? – Она обнимала его холодными руками, чувствуя, как вздрагивают его плечи. Он не ответил, а только кивнул. Какое-то время лежали молча. Разговор не получался, про заимку вроде забыли оба, хотя на уме была только она.

Твердые явственные шаги возле балагана заставили их насторожиться.

– Да ясное дело, Влас прибежал. Видать, соскучился, дым почуял. Он ведь цельные дни тут бегаёт, – Николай вздохнул с облегчением.

– Помнишь сивого жеребца?

– Как Власа не помнить? – ответил Николай, выползая из балагана. – Это тот, которого изувечили на лесоповале?

– Ну, – не вставая, подтвердила Ольга. – Тогда нога у него угодила между бревен.

Николай хорошо помнил этого жеребца. Когда-то, еще до войны, ни у кого из деревенских не поднялась рука на искалеченную лошадь, ее просто отпустили на волю – пусть живет сколько сможет, пока не околеет. Он вспомнил, как встречал Власа на покосах.

– Неужто он еще живой? – не скрывая удивления, спросил Николай.

– Че ему будет? Гуляет себе на просторе жир нагуливает, не то что колхозные лошади – все в работе.

Николай вспомнил, как, встретив Власа на покосе, осмотрел пораненную ногу жеребца. Увидев его, Николай тогда свистнул, а Влас будто его и ждал. Шерсть на ноге вроде

опустилась и прикрывала кость, но во многих местах была вспучена. Николай потрогал ногу, а жеребец тихонько заржал. Взяв палку, Николай приподнял оторванный клоч шерсти, а оттуда посыпались черви. Тогда, пригнав Власа в деревню, он вылил на мешковину весь керосин из семилитровой лампы в правлении, за что получил начет, и привязал ее к ноге жеребца. Кто про это знал? Кто знал, тот забыл.

– Так че, Ольга, это все тот же жеребец? – не веря в живучесть лошади, переспросил Николай.

– Ой, ладно, Николай, то да потому спрашивать. Живет-пожевывает, – ответила Ольга.

"Сколько я керосина извел на его ногу! – хотел сказать Николай, но передумал. – Вы-то не помните, а лошадь вспомнила", – испытывая в душе радостное удивление, думал Николай.

Влас стоял возле костра, смиренно опустив голову, немного погодя фыркнул и побежал. "Знать, нога-то поправилась, только, пожалуй, остарел", – вздохнул Николай, поудобнее укладываясь спать. Над покосом моросил мелкий дождь.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Вернувшись с Половинки, Николай захворал. Эта весть облетела деревню в одночасье. Вызвать доктора из Никитинска сразу не удалось: где-то опять оборвался провод. Запрягли Воронка, и к ночи в Стрелебное привезли главного районного врача поляка Яна Карловича. Он сразу распорядился всем выйти из избы, позволил остаться только фельдшерице Фузке.

– Ох уж эта заимка, – стонал дед Кунара, толкаясь с бабами возле правления. – Всю жисть Николы на перекося ведет.

– Шел куда-то по делу, вот и отшагивай, – сказала Дорка и толкнула его в спину.

– Но-но, – взъерошился Кунара.

Послышался конский топот. С поля возвращался Захар Демидыч, не вылезая из седла, сказал:

– Кланяюсь вам, бабы, считай, все картофельное поле выкопали.

– Кому оставлять-то? Кто за нас делать будет? Только у Капитолины спину отсекло. Едва до дому дотащили, никакой лошади поблизости не оказалось.

– Доктора привезли, пушай и Капитолину лечит, – сказал председатель. Бабы гурьбой за ним.

– Где бригадир-то? Сколько разов сказано: назначать работу с вечеру. Так мы быстрее управимся. Как только вчерась заморосило, мы как угорелые давай пластаться. Самим же после в грязи копать, – доложила Люмка Данилиха.

– Турнепс, – сказал Захар Демидович. Кто-то заметил Семена Савиныча главного распорядителя колхозных работ, толкаясь, бабы кинулись ему навстречу.

– Ну, Дорка, – шикнула на девку Пономариха, – вроде ты замуж собираешься, а сама в этаким засаленном фартуке перед людьми ходишь. Не совестно такой молодой девке себя не обихаживать? А как муж будет? Как дети пойдут? Тогда к тебе и подойти будет страшно.

– Ты че? Про фартук? – вспыхнула Дорка. – А где мне мыла взять? Я еще не солдатка. Мне по списку мыла не дают.

– А хоть где, – не глядя на Дорку, ответила баба. – Щелок кипяти да стирай. Мужики от чистых баб пьянеют. Будто лежат и не с бабой рядом, а на луговой кошенине – и тепло, и дурманно.

– И тепло и дурманно, – повторила Дорка, не найдясь, что ответить Пономарихе.

– Мужики с работ приезжают, у них от пота рубаха колом стоит. Вся солью пропитана. А портянки? Прель одна. Нет, Дорка, ежели хочешь мужика иметь, привыкай себя обихаживать. А вдруг да правда, Николаев друг из госпиталя в наше Стрелебное приедет?

Тут их разговор прервался. Навстречу бежала Ольга.

– В жару мечется, – сказала она отрешенно, махнув рукой. – Бредит, будто по деревенским улицам ходит и всех мужиков навеличивает.

Бабы молчали, сокрушенно сочувствовали Ольге. Они могли бы сказать, что днями Зосима появлялся в лавке, сдавал ондатр и, по видимому, заночевал у старого друга, поставившего свою избушку на краю деревни, в лесочке. Никто не видел, чтобы он отбывал из Стрелебного. Но все промолчали.

За неделю тяжелого беспамятства Николай совсем осунулся. Короткая культя постоянно вздрагивала под одеялом, и сидевший на приступке кот беспокойно следил за ее движениями, подозревая, что там прячется мышь.

– Отец-то как? – переступая порог, шепотом спрашивала Ольга мальчишек.

– Тебя спрашивал, – отвечал Иванко. – Я ему воды наливал. Он сам голову подымал.

– Слава богу. Скоро поправится наш папка. Он у нас сильный.

– Только Фузка с врачом ушла, Илья сразу стал медали щупать, а мне только один раз дал потрогать, – жаловался матери Иванко.

– Ябеда. Сам-то звездочку выкручивал, колесико вертел.

– А я с папкой на займку поплыву. Как токо он поправит-ся, мы и поплывем. К Зосиме за девчонкой, – сказал Илюшка, защищаясь от брата.

Ольга замерла. Она и предположить не могла, что Николай с ними говорил о займке. Она боялась об этом даже подумать. По-видимому, Илюшка слышал о займке от кого-то в деревне.

– А Зосима-то пули наготовил. Убить папку хочет, – пере-щеголял брата Иван. Ольга обомлела. Схватила обоих в охапку и поволокла в сенцы, посматривая на Николая: не расслышал ли он лепет малышей?

– Че это вы болтаете? – накинулась она на них.

– В деревне все говорят: плывал он на займку, к Зосиме, – не переставал твердить Илюшка.

– Ни на какую займку он не плывал, а только на Половинке был, – спросите у дядьки Семена. – Ольга села на табуретку напротив топившейся печи и тупо смотрела, как пляшут в ней огни сгорающих дров.

Николай то ли во сне, то ли наяву заговорил. Ольга бойко подбежала к постели, положила ладонь на лоб.

– Нету жару в тебе, нету, – шептала Ольга, ощупывая его обросшие жесткой щетиной щеки.

– Число-то какое? – услышала Ольга и не могла сразу назвать. – Седьмой день лежишь. Спуталась я с числами-то, – говорила она, поправляя подушку, – а точно знаю – ле-жишь седьмой день. Про тебя каждый день спрашивают, Фузка цельные ночи у нас подле тебя сидит. Собираются тебя в Никитинскую больницу увезти.

– Никуда не поеду, – чуть слышно ответил Николай. Ольга промолчала.

– А гимнастерку-то постирать можно? От нее дух идет. А медали-то как?

– Медали отстегнуть можно, в ящик положить. – Голос Николая ослаб.

– Че их совсем-то прятать? Поди, не каждому дают. Для

ношения они дадены, а не на то, чтоб в ящиках лежать, – присаживаясь возле постели, говорила она. – Одна отстеги-вать не стану. Парнишек позову. Они все подле их крутятся да трогают.

– Пусть ребятишки себе на рубахи пристегнут, пока гимнастерка будет сохнуть.

– А можно?

– Мне медали дадены, – не открывая глаз, говорил Николай.

– На реке-то ветрено? – приподнявшись на локти, спросил Николай.

Ольга вздрогнула, услышав о реке, но ответила:

– Вся рябью покрылась. – С не свойственной ей смелостью, скорее наученная деревенскими бабами, сказала: – Днями Зосима приезжал. Фузка видела. Сказала, совсем усох кержак.

– Ты чего-то сказала? – после долгого молчания спросил Ольгу Николай, не поверив собственным ушам.

– Говорю, Зосима в деревню приплывал, – стараясь не выказать волнения, добавила: – Поди, не зря про реку спрашиваешь, думаешь про заимку?

– Думаю, – спокойно ответил он.

– Скоро наступят холода, река схватится льдом и попасть туда можно будет только на лыжах.

Николай стал подниматься с кровати. Ольга за время болезни приноровилась помогать ему подниматься, и тут оказалась рядом.

– Сам, – сказал он и добавил: – Пора самому.

– Как бы голову не закружило. Доктор велел лежать. Вона и Фузка идет уколы тебе ставить.

Николай, опершись на костыли, сделал несколько шагов. Голову еще кружило, в руках чувствовалась дрожь, но, приоткрыв дверь и взглянув на реку, оживился:

– Впереди-то еще будут солнечные деньки!

На пороге встретился с Фузкой. Услышав о бабьем лете, ахнула:

– Снег пролетает, а вы про какие-то солнечные деньки говорите, Николай Алексеевич.

– Так ведь опять про займку думает. Что бы ему говорить о ясных днях? – дрожащим голосом сказала Ольга. – Я ведь так и знала: заколдованное это место.

Илюшка, услышав разговор матери с фельдшерницей, выбежал и закричал отцу:

– Меня возьми на займку. Тама, сказывают, зайцев много.

– Зайчишки теперь шубки меняют: серую теряют, в белую одеваются. Как совсем побелеют, мы с тобой петли поставим. За картофельным полем, на покосе их много. Тебе заячью шапку сошьем. На займке пока делать нечего.

– А зимой-то ты как? – показав на костыли, спросил Илюшка и заплакал, вытирая кулачком глаза.

– Нам Захар Демидович Воронка даст, и мы на нем через все поля проедем! – говорил Николай. – Воронок-то самый лучший конь в колхозе. Я тебе вожжи дам, ты управлять будешь. – Илюшка успокоился и засмеялся.

За время болезни Николая в Стрелебном не было человека, который бы не навестил неволинскую избу. Конечно, не каждый сидел у его постели, но озабоченность и поддержку Ольга чувствовала. Семен Савиных, Захар Демидович или Митроха всегда были рядом. Они, как говорится, готовы были в любую минуту протянуть руку помощи и в большом и в малом.

С выздоровлением Николая вроде бы оживилась жизнь и в деревне. Как-то Семен Савиных подогнал к неволинским воротам Воронка, запряженного в довоенную колымагу.

– Ну че, Никола, прокатимся по деревне? – сказал друг. – Поди, деревню позабыл. Хотя все на месте, если не считать сгоревшей избушки Пономарихи. Так она и так доживала век, стояла на курьих ножках. Кажись, это дело рук парнишек, все время играющих в войну. Самой Варвары Ильиничны дома не было, она у снохи была, ночевала, за внучатами присматривала. Избушка в одночасье сгорела. А нового ни-

чего не построено, все конца войны ждем. Правда, коровник срубили новый так он за сараями, его не видать.

Пока Николай одевался, к воротам сбежалось почти полдеревни.

– На гимнастерке все медали и ордена? – спросил Семен.

– Все равно сверху пиджак наденет. На улице прохладно, – сказала Ольга.

– В медалях, Ольга, весь форс, – подмигнул ей здоровым глазом Семен, на что она только махнула рукой и пошла следом за Николаем.

Колымага была дочиста вымыта, во многих местах отблескивала еще не стершейся черной краской, на сиденьях, лежала разостланная кошма.

– Сена-то не положили? – приподнимая кошму, спросила Ольга. – Дороги ухабистые.

– Ты, Ольга, человек отсталый. На этой колымаге барин ездил. У ней рессоры есть. Николай будто в зыбке качаться станет, – растолковывал ей Семен. Любопытные парнишки тут же залезли под колымагу, чтобы увидеть рессоры, и Семену Савиничу пришлось прикрикнуть на них, а одного из них схватить за штанины и вытащить на обочину.

Воронк по первому взмаху вожжей тронулся с места.

– Не понукай Воронка, – попросил Николай. Жадно вглядываясь в деревенские избы, вспоминал хозяев, изредка спрашивая кое о ком. Взгляд его был сосредоточен. На приветственные слова проходивших по улице людей отвечал поклонами. Проезжая мимо дома Витьки Шаргина, замолчал: два месяца назад на него пришла похоронка. "Пусть узнает, да не от меня", – подумал про себя Семен и в сердцах прикрикнул на Воронка, который скоро привез их к правлению.

С нескрываемой радостью встретил его Захар Демидович, да и все, кто был в это время в правлении.

– Садись, садись за мой стол, Николай, – с неподдельной радостью говорил Захар Демидыч, широко распахивая дверь и пропуская Николая вперед. – Ты только поосторожнее со

стулом. Ножка одна пошевеливается. Дед Кунара каждый день тут бывает, да все забываю сказать.

Николай огляделся по сторонам, вспоминая, какой раньше была контора правления. Показалось, он будто и не выходил из нее: вокруг все те же прибитые до блеска обшарканные лавки да несколько табуреток. На стене в большой крашеной рамке портрет вождя – Иосифа Виссарионовича Сталина. Разве что добавилась доска с показателями надоев молока.

– За стол садись, говорю. Там удобнее, – повторил Захар Демидыч. – Ну вот вам и новый председатель! – сказал он, показывая на Николая. – Будто для него место и берег.

Николай, отставив костыли, сел на председательское место. Вглядываясь в изменившиеся, постаревшие лица земляков, он испытывал к ним непонятное чувство сострадания, хотя на самом-то деле это они смотрели на него с состраданием. Отправив на войну мужика молодым, кудрявым и краснощеким, увидели вдруг изможденного, поседевшего раньше времени человека.

– Боже милостивый! – воскликнула с испугом зашедшая в правление вездесущая Сосуниха, узнав в незнакомце Николая.

Все смущенно молчали. Вдруг влетел в телогрейке нараспашку Митроха, держа над головой треугольный конверт:

– А где тут у нас Феодора Феоктистовна Вотинава? – На какое-то время все растерялись.

– Да это же Дорка! – во весь голос крикнула Марфа.

– Ей письмоцо из госпиталя от Ов-со-ва, – прочитал он по слогам. Как на грех, на этот раз Дорки в правлении не было – шла вечерняя дойка коров.

– Сбегать, че ли, за ней? – сказал кто-то из баб, но все хором загалдели, постановив, что она мимо правления не пройдет, раз Тюшка зажгла семилинейную лампу.

– Жениха в колхоз приглашаем? – спросил Митроха, взглянув на Николая.

– Тут уж дело хозяйское, – уклончиво ответил тот. – В нашем

госпитале лежали только тяжело раненные. – Сказал и замолчал, не вдаваясь в подробности.

Вскороги в правление стали заходить мужики, заноса за собой запахи самосада, скошенных трав и просто мужского духа. С Николаем все здоровались за руку.

– Никола, не пора ли домой? – спросил Семен Савиныч. – Воронок с ноги на ногу переступает.

Все утихли, бабы, прижались к стенам, когда Николай встал на костыли. Чей-то голос жалобно пискнул.

– А осень нынче – одно загляденье! Экая тишь и благодать. Дожди редкие, морозящие. На полях, считай, все главные дела сделаны, все в закромах. Комарья нет. Бабы ягод наносили страсть как много, – восхищенно говорил Семен Савиныч, совсем не подозревая, что этими разговорами подталкивает Николая еще раз сплавать на Половинку.

– Завтра за тобой заехать? – спросил Семен Савиныч при расставании.

– Можно, – услышал тихий, неуверенный ответ.

Настроение Николая насторожило Семена, он и думать не хотел, что Николай собирается на заимку. А Николаю как на грех приснился сон про счастливую Агашу, как она с отцом по ранней росе косила траву, и как он подкараулил кержачку, о которой говорили, что у лесной девки щеки огнем пылают, обличьем бела как снег, хотя все время в работе. А на Николая Агаша посмотрела сама. Когда он увидел ее на лугу, Зосимы рядом не было. Агаша была без платка, рыжеватая тугая коса лежала вдоль спины и пошевеливалась от каждого ее движения. В прорези длинной холщовой рубахи блестел золотой крест. Увидев Николая, она не убежала, а только сделала несколько шагов.

– Как живешь, Агаша? – спросил он.

– Отколь мое имя знаешь? – услышал в ответ.

– Тебя во всем Стрелебном знают, хоть и приходишь в деревню в черной юбке и в старушечьем платке, повязанном узлом под подбородком.

Агаша хохотнула как-то по-особому, будто птичка прощета-бетала, и пошла в березняк. Привязав коня за ствол березы, Николай заторопился за кержачкой. Там они бросились друг другу в объятия.

"Может, росы моют твоё лицо? Может, ветер носит тебя на крыльях? Может, солнечный лучик спрятан в тебе и оттого ты вся светишься? Отчего во мне все дрожит и мне боязно глядеть на тебя и даже моргнуть? Боюсь, что ты улетишь", – так думал тогда Николай, так думал всегда, но не все умел сказать, хотя Агаша знала это. А потом, а потом... Встречи на Половинке.

Николай проснулся, вскочил на постели весь в поту, шумно задыхаясь.

– Опять война приснилась? – Ольга встала и поднесла ему кружку с водой.

Он снова лег и ничего не ответил.

– Может, за Фузкой сбегать? – спросила Ольга.

– Не надо, – тихо ответил он.

В Стрелебном все как в рот воды набрали, ни словом ни намеком не напоминали ему о Половинке, а тем более о Зосиме и займке, тем не менее Николай всем своим существом ощущал постоянную недоговоренность.

Теперь, по прошествии времени, он мог уже спокойно рассуждать о необходимости встречи с Зосимой.

Примерно через неделю, возвращаясь с Семеном домой, он будто между прочим сказал:

– Дня на три свози меня на Половинку.

У того выпали вожжи из рук. Воронок остановился. Какое-то время сидели молча, боясь взглянуть друг на друга.

– Ты че? Совсем одурел? – не глядя спросил Николая Семен.

– Если не сплавим, то нынешней зимой я умру.

Семен, взглянув на Николая, понял, что тот говорит серьезно.

"Чистая колдовка эта кержачка. Померла, а покоя Николаю не дает".

– Господи! – само собой вырвалось у Семена.

Намерением Николая Семен был озабочен не на шутку.

"А может, вдвоем сплавать на займку к Зосиму? Узнать обо всем, поговорить по-людски. Не застрелит же он нас? Да мало ли че говорил Зосим да и говорил ли?" Дня через три, Семен Савинович напрямик через огороды, не заглядывая домой, пошел к Николаю. Тот в это время большим охотничьим ножом вырезал Иванке деревянный автомат, и мальчишка сидел возле него на корточках.

– Ладно, завтра доделаю, – откладывая в сторону недоделанный "автомат", сказал Николай. Иванко заревел:

– Осталось токо дырочки вырезать.

– Изладь парню как надо. Я подожду, – погладив Ивана по голове, сказал Семен Савинович. – Они все воюют, все воюют...

Говорили о том о сем. Семен рассказал, как в правлении плясала Дорка, получив второе письмо из госпиталя от Павла Овсова. Когда Ольга ставила на стол соленые грибы к горячей картошке, Семен будто между прочим сказал:

– А не сплавать ли нам с тобой, Николай, до Половинки?

– У Ольги из рук выпала ложка.

– Ты че, одурел? – закричала она не своим голосом.

Семен Савинович зажмурился, ожидая, что Ольга очень даже просто может стукнуть его чем-нибудь по голове.

– Мало он болел? Какая ему Половинка? Я токо две ночи пробыла с ним на Половинке, так и то все косточки болели. Ты на че его подбиваешь? Я вот в военкомат позвоню. Если так на Половинку тебе охота, то ищи других попутчиков.

Семен и без этих Ольгиных угроз понимал, что она во всем права, но как по-другому сделать, не знал.

– А что, Семен, дело хорошее. Дни какие стоят, – повеселел Николай, понимая, что Семен придумал это для него.

Что бы Ольга ни говорила, как бы ни возражала, но это мужиков не остановило. Собравшись, они крадучись от всех ранним утром отплыли от Стрелебного.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Долгое время Николай с Семеном плыли по реке, не проронив ни слова, каждый думал о своем. Остались позади колхозные покосы с высокими стогами, заводы с теплой водой и высокой травой, в которых растут, нежатся и играют полосатые шурята; миновали крутой яр, когда-то тут была главная стоянка вогульского князя, а поодаль места глухариных токов.

Тут берега пошли хмурые, нетронутые. Излюбленные соболиные места охотников. До войны многие мужики зимой пушным промыслом занимались.

Половинка – другое дело пристанище на излучине давно облюбованное. Николай, работая до войны лесничим, любил приезжать сюда, подолгу любоваться рекой, прислушиваться к шепоту березовой листвы и в томлении ждать Агашу.

– Ты, Никола, на что лопату взял? – спросил Семен, в недоумении пожав плечами. Николай промолчал, может оттого, что держал во рту дратвенную нитку от блесны, он надеялся поймать на уху свеженькую нельмушку, которая в это время года часто попадалась на крючок.

Подплывая к сильно подмытому весенними водами яру, Николай удивился, что в свой первый приезд смог вскарабкаться на такую крутизну. Семен уверенными взмахами весла вводил лодку в прибрежные заросли осоки, разгоня дремавшие косяки молоди. Скоро Семен встал на ноги, лодка накренилась, но он вовремя выровнял равновесие, сосредоточенно вглядываясь в берег, отыскивал пологий спуск.

– Пожалуй, здесь и причалим, – сказал Семен, когда стало возможным прижаться бортом лодки к самому берегу. – Слава богу, не вязко, – вытаскивая нос лодки на берег, говорил он, принимая от Николая костыли и мешок с собранными Ольгой вещами. Лопату выбросил с размаху далеко. Она, перелетев через прибрежные кустарники, угодила

в березовый ствол, оставив на коре глубокую отметину.

– Тут легче будет подниматься, – взваливая на плечи все, что было выброшено, сказал Семен.

Николай напрямик направился к месту выброшенной лопаты.

– Она хоть на что тебе? Оставляй тут, – остановил его Семен.

– Ты мне лучше скажи: это место весной затопляет?

– По кустам не видишь? Ноне река в большом разливе была. Или забыл, как узнавать? – то ли устыдил он Николая, задавшего такой вопрос, то ли удивился, но, обернувшись, сказал: – Гляди, до каких мест доходил паводок.

Они прошли несколько шагов к березняку, костыли протыкали землю, оставляя следы, похожие на мышинные норки. Николаю поневоле приходилось останавливаться после каждого шага. "На обеих ногах можно было бы давно подняться на яр и вернуться обратно", – подумал Семен, но разве мог он об этом сказать вслух?

– Дай-ка сюда лопату, – попросил Николай, почувствовав, что костыли уже не проваливаются в землю.

– Ты все-таки скажи, на какой ляд тебе она?

– Место вроде сухое и, как мне кажется, паводками не затопляемое, – Николай, положив в сторону костыли, и проворно рассек лопатой дерн. – Я на этом месте буду землянку рыть.

Семен Савиных в недоумении присел возле Николая на корточки.

– Это, Семка, для того, чтобы не подниматься на яр, а сразу со всеми пожитками на место. Сколько еще идти до места кострища? А как с поклажей одному? А тут из лодки и сразу все на месте. Тут и будет мой заползай.

– Ты че? Долго думал? – еле сдерживая себя от гнева, спросил Семен.

– Долго, – ответил Николай, отмеряя черенком лопаты приблизительную ширину.

– А ты не подумал, что люди над нами не то что смеяться будут, а упрекать станут: мол, стрелебинские мужики не смогли единственному фронтовику избушку срубить?

– На каждый роток не накинешь платок, – ответил Николай, откидывая в сторону комья земли. – Мне так удобнее. Каково мне на костылях подниматься с поклажей? Оно только кажется близко, – говорил Николай, отирая со лба пот.

– Да положи ты лопату! – закричал Семен. Николай послушался, сел. Долгое время сидели молча. Стояла таинственная осенняя тишина с особыми запахами увядающих трав, с бесшумно кружившей в воздухе невесомой паутиной, одинокими листьями.

– Мест-то поближе нет, где землянку копать? Половинка – этакая даль от деревни. Да ты только заикнись, мужики тут же все изладят.

– Неужели, Семка, ты такой недогадливый? Ну не могу я жить вдали от заимки. У Зосимы моя девчонка растет. Неужели ты думаешь, что я брошу ее? Смерть Агаши на моей совести. Думаешь, я смогу жить спокойно?

– Что было, то быльем поросло. Всем известно, что женился ты на Ольге не по любви, что зазнобой твоей была Агаша. Но случилась беда, кто бы спорил, так ведь руки не подставишь.

– Ты мне, Семка, такие бабские разговоры в голову не втолковывай. Я эту любовь через всю жизнь пронес и выжил, быть может, только потому, что о встрече с Агашей мечтал, а теперь хочешь, чтобы я эту мечту похоронил? Да на этой Половинке самые счастливые дни в моей жизни были! Вот вырою свою землянку и каждое лето буду жить тут. Пусть Ольга приезжает. Куда я без нее – калека? Парнишки будут со мной жить. Да и мужики лодки причаливать станут. Может, и с Зосимой поладим. Быть может, в таком горе он пуще других меня ждет. Говорят, убить меня собрался, пулю отлил, да мало ли че в горе не скажет человек.

– Так на что землянку-то рыть? Давай на правлении кол-

хоза постановим: построить фронтовику Николаю Неволину избушку на Половинке. Кто против будет?

– Не надо мне избушки. Я и в балагане лето проживу. А землянка – мой заползай будет. Я прямо с лодки в землянку заползать буду. Заползу, отдохну, а уж потом с новыми силами поднимусь на яр.

– Выдумал какой-то заползай, – не на шутку расстроился Семен, чувствуя по настроению Николая, что отговаривать его от этой затеи бесполезно.

Недолго думая Семен поднялся и с остервенением стал лопату за лопатой откидывать в сторону землю. Николай не стал его останавливать, сощутив глаза, на миг представил, как саперскими лопатами они дружно рыли траншеи, а после, оставаясь на завоеванных позициях, рыли землянки. Семен копал землю во всю свою мужицкую силу.

– Да остановись ты, – примирительно сказал Николай. – Не сразу же вырою этот заползай. Нынче по осени, может, еще сплаваем, а пока остановись.

– В деревне-то че скажем? Заползай рыли. Кто хоть поймет? – сокрушался Семен.

– В деревне пока нет нужды говорить про заползай. Вот когда вырою, всех на новоселье позову, – не то в шутку, не то всерьез сказал Николай. – Остановись, Семка, зачин сделан, куда мне торопиться? А теперь пошли на покос, в балаган.

Говорил все это Николай с нескрываемой радостью, отчего у Семена защемило под ложечкой. Он молча поднял поклажу и, не говоря ни слова, зашагал по склону, не оборачиваясь, не глядя, как поднимается Николай.

Когда тот вышел из березняка, Семен уже разжег костер. Дым полз по земле во все стороны извивающимися змейками. Остановившись возле берез, Николай заломил несколько веток. "Вешки оставляет напрямик, к своему заползаю". При этой мысли он, отвернувшись от костра, сплюнул.

– Давай поедим, – сказал Николай, увидев, как Семен вынимал из мешка крестьянскую снедь.

Ели молча. Солнце хозяйничало на небе, заглядывало во все уголки, заливало светом каждую ложбинку. Казалось, оно никогда не сможет спрятаться ни за тучи, ни за леса, ни за реку,

– Что дальше будем делать? – в полном расстройстве спросил Семен. – Или заползай копать, или покос чистить станем или поедем обратно домой.

– Ты, Семен, плыви обратно, а я, пока такая ведреная погода стоит, останусь здесь. Сам видишь – дел у меня тут много.

– Ага, вернусь и всем скажу: остался Николай какой-то заползай рыть? – потерявшим силу голосом сказал Семен. – Думаешь, поймет кто-нибудь, что ты делать собрался? В деревне дел полно, а я тута возле костра чай распиваю.

– А ты плыви домой. У меня тут все есть.

– Так ведь меня в деревню без тебя не пустят. Кабы ты не хворал в последнее время, еще куда ни шло, а как теперя без присмотра оставлять? А че случится с тобой? Да меня сразу в каталажку посадят. Да я каталажки не побоюсь, а какой грех возьму на душу. Ты на че меня толкаешь? Сам побудь с минутку на моем месте.

– Тогда давай покос чистить. Много ли я тогда выкорчевал? Тоже команда приехала.

– Да благодари Бога, Ольга осталась с тобой, а дождь какой был! Не она, так че бы было?

– Я от простуды захворал, а не от сердца, как все болтают. Сердце у меня еще выдюжит.

– Ну, тогда хрен с тобой. Где топор спрятали?

– Там, под зародом, отыщешь, – махнул он рукой в сторону зарода.

Семен поднялся тяжело, будто ему на плечи взвалили тяжелый груз. Молча широкими шагами отправился к зароду и, отыскав там топор, принялся выкорчевывать зарастающий молодым кустарником покос. Вырубленные кусты издали походили на собранное в копны сено. Николай только успе-

вал разводиться под ними огонь. Кустарники плохо разгорались, долго дымились горьковато-едким дымом, прежде чем вспыхнуть. Семен Савинович не подавал голоса, и только видно было, как летели по сторонам ветки, которые он собирал в огромную кучу. "Пожалуй, на сегодня и хватит", – подумалось Николаю, когда солнце подкатывало к лесу, а по покосу стал разгуливать ветер.

– Хватит! – крикнул он, и будто кто-то подхватил его крик, эхо пролетело над покосом, испугнуло в кустах несколько рябчиков, которые, не поднимаясь ввысь, прошуршали трепетными крыльями.

Пили чай молча. Поправив балаган, притащив охапку сена, Семен завалился спать. Скоро послышался его храп, а Николай, встречая надвигающуюся ночь, сокрушался о том, что не смог убедить друга в своей затее. Конечно, он мог бы и не говорить о желании выкопать землянку, но как он мог не довериться ему, Семке, с которым всегда были вместе с младенческих лет. Это, пожалуй, была их первая размолвка в жизни. Но Николай великодушно извинял друга, ведь он мог и не понимать его. "Бог ему судья", – подумал Николай и, посмотрев в сторону покоса, увидел, как из горящих костров вылетают яркие искры, вспомнил горевшую от пожаров землю.

Тихонько, чтобы не потревожить Семена, он залез в балаган. Проснулся оттого, что Семен тряс его за плечо. Сам Семен проснулся от каких-то равномерных ударов по земле. Затаясь, он прислушался и отметил, что удары стали приближаться, но скоро стихли, оставив на земле громадную тень, которая, как показалось Семену, беспрестанно шевелится и готова придавить балаган.

– Че? – спросил сонным голосом Николай.

– Кто-то здесь стоит. Глянь, какая огромная тень шевелится, – с нескрываемым волнением шепнул Семен. – А мы ружье не прихватили. – Николай понимал, что без причины Семен не станет его тревожить, он приподнял голову, вглядываясь в темноту осенней ночи.

– Так это, наверное, Влас! – он и Ольгу напугал.

– Какой еще Влас? – удивился Семен, давно позабыв про коня, отпущенного на свободу по причине серьезного увечья ноги. Многие говорили, что Влас одичал, но нет-нет да прибегал к рабочим лошадям, отпускаемым на пастьбу, но, увидев людей, убегал прочь в глубь леса.

– Это он учуял запах дыма и прискакал, – сказал Николай, сбрасывая с себя полушубок, который сунула Ольга в мешок, чтобы укрываться.

– Влас, Влас, ах ты, разбойник, – позвал Николай, вылезая из балагана.

– Испугал-то как, – ворчал Семен, следуя за Николаем. Конь стоял поодаль, приподняв голову, широкими ноздрями обнюхивал воздух. Ветер трепал космы его длинной гривы. Увидев подсакивающего на костылях Николая, он не отскочил, а тихонько заржал. Чувствовалось лошадиное беспокойство по шевелению ушей и хлестким ударам хвоста по крупу. Ближе к себе Влас не подпустил Николая, отскочил к березняку.

– Это же надо! – только и смог проговорить Семен, облегченно вздыхая. – Этак можно и в штаны накласть с перепугу. Явился как леший лесной.

– Соскучился конь, – с сочувствием в голосе сказал Николай. Семен заторопился разжечь костер. – Экие страсти! И охота тебе тута ночи коротать. Не здря бабы говорят: заколдованное это место. Может, так же к чьему-нибудь балагану подходил Влас, а кто про него помнит, вот и рассказывают разные байки. "Если бы не Николай, и я бы в страхе был. Этакая махина стоит над балаганом! У страха глаза велики", – признался Семен сам себе.

Костер разгорелся, вскипела вода в котле. Рассвет только začínался: оком за лесом порозовел, будто чья-то невидимая рука провела кистью по темному небу. Семен ни о чем пока говорить не мог. Нет-нет да поглядывал в сторону березняка, где только что стоял конь.

– А ведь он признал меня, – сказал Николай. – Животина, а добро помнит. Я ведь к его ободранной до кости ноге керосиновую мешковину привязывал, на передней ноге должна отметина остаться.

Семен тяжело вздохнул и пошел было к березняку, но Влас, не спускавший взгляда с мужиков, насторожился и сделал несколько шагов в сторону.

– Погоди, Семка, я сам к нему подойду, – поднимаясь на костыли, сказал Николай. Он боялся, что Влас от него убежит. Чем ближе он приближался к Власу, тем беспокойнее вел себя конь: несколько раз ударил себя хвостом, будто отгонял надоедливых мух, потянул воздух широкими ноздрями. И вдруг побежал по покосу, глухими ударами копыт содрогая дернистую землю.

– Испугался, – громко сказал Николай и свистнул коню вдогонку. Влас круто повернулся, прислушиваясь к улетающему эхо, и негромко заржал, будто здоровался с Николаем.

– Нога-то у него издали показалась белой, да он и прихрамывает на нее. Кажется, Влас признал меня, – возбужденно говорил Николай, испытывая душевную радость. Семен Савиных помрачнел, не зная, как выразить свое отношение ко всему случившемуся.

– Остарел Влас. Отяжелел.

"Заколдованное место, и все тут!" – не покидало тревожное чувство Семена. Будь его воля, он тотчас же отправился бы домой.

Осень давала о себе знать: по покосу разгуливал ветер, это видно было по густому дыму от разоженных костров, который то полз по земле, то вдруг рассеивался в кустарниках и поникших травах, возле кустов. Было зябко. По спине Семена пробежал холодок, Николай, изредка поглядывая на него, совсем неожиданно сказал:

– Плыл бы ты домой, Семка. Чего ты возле меня маешься? На что тебе эта Половинка?

– Рад бы, да сам знаешь, не будет мне покоя, – не кривя душой, ответил тот. – С великой бы охотой сейчас сел в лодку и

к обеду был в деревне. А пока рассказывай, какое мне дело делать? Заползай ли твой копать али покос чистить. Говори.

– Ну, раз так, давай выруби шиповник, а я жечь стану. А про заползай пока забудь: не к спеху, хотя к весне задел надо сделать.

Семену совсем и не хотелось начинать копать землянку одному. Вчера у него поселилась мысль: сделать ее с мужиками без Николая. А чистить покос – дело другое. Поработав, они сели отдохнуть, и Николай опять принялся за свое.

– Ну что? – спросил Николай, когда они допивали чай. – Поплывешь домой? Или меня караулить будешь?

– Хрен с тобой! Оставайся на своей Половинке, – решительно сказал Семен Савиныч и торопливо зашагал в сторону лога. Скоро притащил к костру почерневшую от времени корягу, потом приволок два березовых ствола, давно высохших на корню.

– Ночуй тут со своим Власом, если неохота под теплым одеялом спать.

В ответ Николай засмеялся, искренне был рад, что останется один, не будет обузой.

Перед тем как отправиться к лодке, Семен обежал дымящие на покосе костры, по-хозяйски сгреб в кучи несгоревшие ветки, которые вмиг вспыхивали, рассыпая по сторонам яркие искры.

– Ты тут поаккуратнее, – наказывал Николаю Семен, подвигая вскипевший котелок. – Завтра все одно кто-нибудь приплывет. К заползаю не спускайся – тебе и тут работы хватит.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

После отъезда Семена Николай весь день был в работе. До балагана добрался к вечеру. Уже собираясь отойти ко сну, услышал со стороны березняка лошадиное ржание. Обернувшись, увидел возле берез Власа. Конь смотрел на Николая большими черными глазами. Длинная челка, раздуваемая ветром, то закрывала его глаза, то выставляла будто напоказ.

– Ты, Влас, видать, соскучился по людям? Нога у тебя зажила, слава богу. А я вот, сам видишь, без ноги остался. Плохо, брат, без ноги, да ничего не поделаешь, меня осколком снаряда шарахнуло. Ногу, говорят, оторвало сразу напрочь, будто и не было. Очнулся уже в госпитале, ничего не видел, и хорошо, что не видел, страсть там такая была! Все было перемешано с землей. Я, видать, счастливый. Хоть калека, да все же живой, а если тебе, Влас, по правде сказать, то можно было и остаться лежать в сырой земле. Агаши-то нашей нет тоже. Ты, поди, помнишь ее? Может, подойдешь ко мне? Я погляжу твою ногу.

К великому изумлению Николая, Влас сделал несколько шагов к костру, остановился. Внутри у Николая все заглохло, показалось, что ему не хватает воздуха. Вблизи конь походил на косматое лесное чудище с клоками повисшей шерсти на боках.

– Экий ты, Влас, – не находя подходящего слова, подавив в себе растерянность, промямлил Николай. Такое одичавшее существо может напугать кого угодно. Как-то само собой получилось, что он протянул в сторону Власа картофелину, и тот размеренным шагом пошел к нему. Николай смотрел, как осторожно конь подходит. Тут он разглядел пораненную ногу. Конь остановился шагах в трех, пошевелил влажными ноздрями, принюхался к протянутой руке. "Как же ты выжил, Влас?" – подумал Николай, тихими посвистываниями подзывая коня, который вытянул шею, дотягиваясь до его ла-

дони. Картофелина с ладони исчезла мгновенно, оставив на ладони след от языка.

Влас словно испугался кого-то, круто повернулся и рысью побежал в сторону густого леса, содрогая землю гулками ударами копыт. Николай, оставшись один, недолго сидел возле костра, полез в балаган, но уснуть не мог. Мысль о заимке, о предстоящей встрече с Зосимой не давала покоя. "Как только приплывет Семка, сразу поплывем туда. Что это я за размазня? Зосима, поди, давно знает, что я в деревне, и думает, что струсил, испугался ответа, – громко вздыхая думал он. Был бы здоров, то сейчас же напрямик через лес побежал. Рекой далеко – она петляет, а напрямик – рукой подать".

Прислушиваясь к ночной тишине, он слышал шаги Власа, ходившего по покосу, и у Николая было ощущение, что конь чего-то ищет, и от этого ему было не по себе. Он даже слышал, как Влас подошел к балагану и долго стоял, затаясь, будто прислушивался, спит ли Николай. От такого ночного посещения коня Николаю стало не по себе. Пока Николай вылезал из балагана, Влас успел убежать в лес.

Солнечное утро развеяло все ночные страхи. Оставшись довольным вчерашней работой на покосе, он направился к отмеченному месту рытья землянки. Шел по косоугору медленно, через каждые три-четыре шага останавливался, осматривался, замечал березы, по которым лучше проложить тропку. Он улыбнулся тому, что берег оказался ближе, чем показалось сначала. Лопата стояла торчком, и, подойдя ближе, Николай увидел огромную кучу содранного с берега дерна и холм земли. "Семкиных рук дело", – догадался он. Положив рядышком костыли, Николай какое-то время сидел на берегу и долго смотрел на реку, на мелкую рябь, на всплески от играющих в воде рыб. "Вот обживусь, и вся рыбка будет моя. Че ее не ловить, когда сама в руки просится? Можно и сейчас блесенку забросить, да подниматься к балагану... Завтра непременно порыбачу", – думал Николай.

Рыть землю, как и корчевать покос, ему приходилось сидя.

Работал до обеденной поры, пока, как говорится, кишка с кишкой разговор не завели. К великому счастью, река была рядом, и он с наслаждением мог вымыть лицо, охладить влажной рукой шею и грудь, хлебать пригоршнями вкусную речную воду.

К балагану поднимался тяжело. От усталости дрожали руки, ему казалось, что вот-вот и он выронит костыли. Пройдя березняк, увидел маленький бугорок, залитый солнцем, лег на него, положив голову на руки.

Вдруг теплая струйка воздуха ополоснула шею. Николай открыл глаза, резко приподнял голову. Конь фыркнул, но не отскочил.

– Ах ты, разбойник, – вырвалось из груди, и он потянулся рукой к Власовой морде. Конь прижал уши, медленно стал пригибать передние колени и скоро улегся рядом. Николай с изумлением глядя на Власа, который уставил на него большие глаза. – Ну, брат, напугал ты меня, – сказал он, глядя широкую спину коня. – А репья-то на тебе сколько! – Немного успокоившись, произнес он, и стал убирать из запутавшейся гривы хвою, листья и репейники.

Спина лошади вздрагивала, Влас от наслаждения вытянул шею, с отвисших губ спускалась и падала зеленоватая слюна.

– Сколько седины в твоей грязной гриве, Влас, а челку надо обрезать, а то без глаз останешься. – Вдруг от мысли, что он может взобраться на спину Власа, Николая бросило в пот, в глазах все зарябило. И он, опустив костыли, крепко вцепившись в лошадиную гриву, подтянулся и перебросил ногу через спину Власа. – Боже мой! – застонал Николай, радуясь тому, что только Влас видит его слезы. Не открывая глаз, он ощупывал мускулистую шею коня, прислушивался к его дыханию. Уткнувшись лицом в конскую гриву Николай чувствовал, как медленно поднимается Влас на ноги, как он качнулся, сделал первые шаги. Он расслышал, как по-особому шумит в ветвях ветер-верховик, но боялся открыть глаза,

поверить в явь, он хотел продлить счастливый миг, быть может приснившийся, быть может придуманный им самим. Собравшись с духом, Николай решительно поднял голову и будто захлебнулся воздухом: бескрайние дали, величественная река, покосы со стогами сена, дымящиеся костры и разноцветие осеннего леса!

Ползая по земле от куста к кусту, он даже не предполагал, что очистил от дикой поросли большую половину Половинкинского покоса. Да в покосе ли дело? Мысли путались, и он не мог совладать с внутренней дрожью, с волнением и страхом.

Он очнулся только тогда, когда под ногами коня захлюпала вода.

– Это куда мы с тобой забрели? – несколько раз дернув Власа за гриву, сказал Николай, оглядываясь по сторонам. Конь остановился. Если бы Николай не работал до войны лесничим, не знал лесные массивы в округе, мог бы растеряться. Заплутать в лесных дебрях ничего не стоило: глухомань.

– Так ты куда направился? На займку? – заметив впереди слабые признаки тропинки, спросил Николай. Нестерпимой болью отозвалась в сердце мысль о возможном свидании с займкой и Зосимой. На какой-то миг он растерялся, но нашел в себе силы побороть волнение, хотя в голове путались разные мысли. А конь смирно стоял, будто чувствовал настроение седока.

– Ну что, Влас? – охрипшим голосом сказал Николай, инстинктивно толкнул лошадь по бокам, только тут вспомнив, что забыл костыли. Николай на какой-то миг испугался, но вдруг с каким-то молодецким ухарством свистнул во все горло. Эхо улетело вдаль, отдалось глухими отзвуками и замолкло, затерявшись в густом лесу. "Была не была!" – и хлопнув ладонью коня по шее, понесся в глубь леса, виляя между громадными стволами сосен. – Быстрее, быстрее, – подбадривал он коня, находясь в состоянии неопишуемого возбуждения. "А что, если свалюсь и одичавший конь убежит от меня?" – мелькнула на мгновение мысль, и он тут же уткнулся лицом в грязную гриву коня и,

крепко схватившись за нее обеими руками, лежал почти бездыханный, прислушиваясь к равномерному дыханию Власа.

На небе ярко светило солнце. Освещенный лучами лес радовал особой изумрудной зеленью хвои и яркостью листьев берез и осин, не сорванных ветром. Вокруг была тишина, которую нарушали неторопливые конские шаги да тонюсенькое попискивание рябчика, затерявшегося в кустах. Скоро ему отозвались другие, и целый выводок сероватых птиц поднялся на крыло.

Николай услышал отдаленный собачий лай. Дернув Власа за гриву, остановил коня. Трудно было понять, с какой стороны доносились прерывистые взлаивания, щемящие сердце. "Неужто Урманко?" – вспомнилась кличка большого серого пса, прибежавшего с Агашей на Половинку.

– Так ты везешь меня на заимку? – со страхом вымолвил Николай, не то удивляясь, не то отчаявшись. Конь, почувствовав жилище, прибавил шаг, а Николая одолевала дрожь. Сомнения развеялись: он узнал потемневшие от ветров и дождей тесовые крыши заимковских построек.

Влас шел напрямик по еле заметным вешкам, и Николаю ничего не оставалось, как покориться судьбе. "На кого похож?" – подумалось Николаю, когда взглянул на свои почерневшие от сажи руки. Поблескивали разве что только, ордена и медали, крепко прицепленные на гимнастерке, которую он сам не зная почему надел в самую последнюю минуту перед отплытием на Половинку, чем удивил Ольгу, собравшуюся положить ее в сундук.

– Умыться-то все равно надо. Поди, на лешего похож", – подумалось ему, когда Влас вывез его на берег обмелевшего до тоненького ручейка – лесного Пузыришки. Легко сказать, а как слезть с коня? "Убежит, оставит на берегу одичавший конь. Тут, возле заимки, не пропаду, до ворот доползу", – подумал он, но не мог себе представить, как появится перед Зосимой в таком униженном положении.

– Чего, Влас, делать будем? – спросил он коня, подъезжая к развесистой березе. – Может, не убежишь? Вот давай я на

всякий случай твою гриву к березовым веткам узлом привяжу. Постоишь, пока я ополоснусь?

Сколько мучений испытал Николай, спускаясь с коня, потом поползая до речушки и снова карабкаясь на спину коня. Он долго утирал слезы от горестной радости, успокаивал себя.

Оказавшись на опушке леса, откуда просматривался добротный выстроенный Зосимой дом со всеми постройками, Николай чем-то испугнул Власа, и тот рывком бросился к городье, чуть было не сбросив со спины седока. Пурхающиеся в борозде куры, испугавшись, разбежались, а пес громко залаял и, прихрамывая на переднюю лапу, бросился к коню.

– Хозяин-то дома? – приглушая в себе волнение, спросил Николай пса, который, признав его, вилял хвостом и жалобно скулил, будто жаловался и хотел рассказать ему о постигшем их несчастье. – Здорово, здорово, преданный друг, – шептал Николай. – Твоей преданности не коснулись ничьи наветы, никакие разговоры. Ты, поди, живешь своим умом, потому и рад мне. Вижу, что рад. С меня, конечно, спросить надо, да только я сам себя казню. Осиротил я, Урманко, не только себя, но и Зосиму и тебя и, все говорят, маленькую девочку. Ты, конечно, видел ее. Там она? – кивнул Николай в сторону избы. Пес будто понял все, твякнул и побежал по еле приметной тропе к воротам. Николай, "выговорившись", не стал понукать Власа. Он крепко держался за гриву, хотя и чувствовал, что конь переминается с ноги на ногу.

– Была не была! – решительно сказал он, сгорая от нетерпения раз и навсегда разрубить тугой узел, не дававший ему покоя ни днем ни ночью, тронул коня.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

У хозяина заимки Зосимы с того дня, как похоронил Агашу, вся жизнь переменялась, он замкнулся, загоревал, почти ни с кем не разговаривал. Вставал, как всегда, до зари, делал все машинально, по привычке. Управлялся с хозяйством, маленькая внучка все время была с ним: и в огороде, и на покосе, и в лесной делянке. Он всегда умудрялся найти для нее удобное местечко, придумать забаву. "Видно, Господу угодно это несчастное дитя", – думал он, дивясь спокойному характеру ребенка. Правда, осенью оплошал, попали они с внучкой под проливной дождь. В другое время он непременно бы переждал ливень, а тут побоялся простудить внучку и заторопился домой. Внучку уберег, а сам захворал. Тут и подкараулили его грешные мысли: "Мол, ушла бы и ты вместе с матерью. Всяко лучше, чем маяться со мной да не видеть никакой ласки, не слышать материнской песни, а как-то мне слушать по ночам, как тоскует твое маленькое сердце". Уж как после этого корил себя Зосима! Только Богу одному известно. Обхватил он внучку сильными руками, прижал к груди, голубил как умел, просил прощения, целовал ее маленькую головку, и казнил, казнил себя, пока не успокоилась душа, от веселого воркования внучки. После Зосима думал: "Не оставить ли заимку, не уйти ли через увалы на реку Колву, где по раскиданным в лесах скитам жили дальние родственники, которые помогли бы ему вынянчить маленькую Агашу, но Зосима тут же отказался от этих дум, понимая, что ему нелегко и непросто будет оставить с таким трудом обжитое место. "Вот кабы бабушка твоя была жива, ты бы совсем была мне не в тягость. Ничего, скоро сама помощницей будешь. Вчерась принесла мне онучи. Молодчина. Скоро заживем мы с тобой. Че поделаешь? Бабушка твоя тоже не вовремя ушла на погост. А кто, голуба, вовремя уходит? – рассуждал вслух Зосима. – От надсады в одночасье не

стало Настены – такие лесины мы с ней вдвоем на наш дом валяли. Бабушку твою Настеной звали. Не забудь, когда вырастешь. Я им с Агашей кресты из вековечного дерева вырубил и на могилы поставил.

Про смерть дочери Агаши старался не вспоминать, потому что тогда сердце его заходило и грудь давило удушье, перед глазами появлялся лесничий Николай Неволин. Поначалу сердце обжигала ненависть к этому красивому сильному парню, ввергнувшему девку в грех, но по прошествии времени Зосима, поразмыслив о случившемся несчастье, стал винить не парня, а себя. "Девка была на выданье. Я хоть бы раз подумал об этом? Она все время в работе: то на покосе, то в деляне, то со скотиной управляется. Развел цельное стадо, а для кого? В деревню девку не пускал. Да она, поди, сама к Николаю-то прилипла. Парень-то он видный супротив других, обходительный. Как он мог быть не люб Агаше?" – стонал Зосима, чувствуя, как внучка теревит его бороду и усы.

Мысль о Николае часто приходила ему на ум и, бывая в деревне, он непременно узнавал о нем, даже постарался увидеть его мальчишек и сравнить: схожи ли они лицом с его внучкой? Ему не пришлось никого спрашивать, чей это кудрявый звонкоголосый парнишка в изорванных штанах бежит напрямик к магазину, держа в руках самодельное ружье. Зосима только и взглянул на кудрявую голову, и сразу развеялись все сомнения. Увидев большие голубые глаза, пристально на него глянувшие, вздрогнул: "Точь-в-точь как у Агашеньки! Вот ведь какой варнак!" – сокрушенно покачал Зосима головой, осуждая блудливость лесничего.

С этого дня в душе его поселилось незнакомое кержаку чувство сострадания. Как-никак, а Николай был на войне, и бегали эти ребятишки, хотя и не осиротевшие, но все равно обездоленные. Хочешь – не хочешь, а братья они ей по крови", – рассуждал кержак, погружаясь в раздумья.

А когда услышал, что Николай домой без ноги вернулся,

запереживал еще больше: перепутались вражда и радость, злоба и сострадание. Его настроение передалось и внучке, она вдруг громко заплакала. "Экое наваждение! И ее сердечко вздрогнуло", – прижимая к себе Агашеньку, дрожащими губами произнес Зосима. Он не поверил, когда слезы застилали ему глаза. Ведь он отроду не плакал, даже когда хоронил Настену и прощался с Агашей. Болела душа, ныло сердце, бессонными ночами бесцельно ходил по двору и огороду, не находя покоя, но чтобы из глаз катились слезы, припомнить не мог.

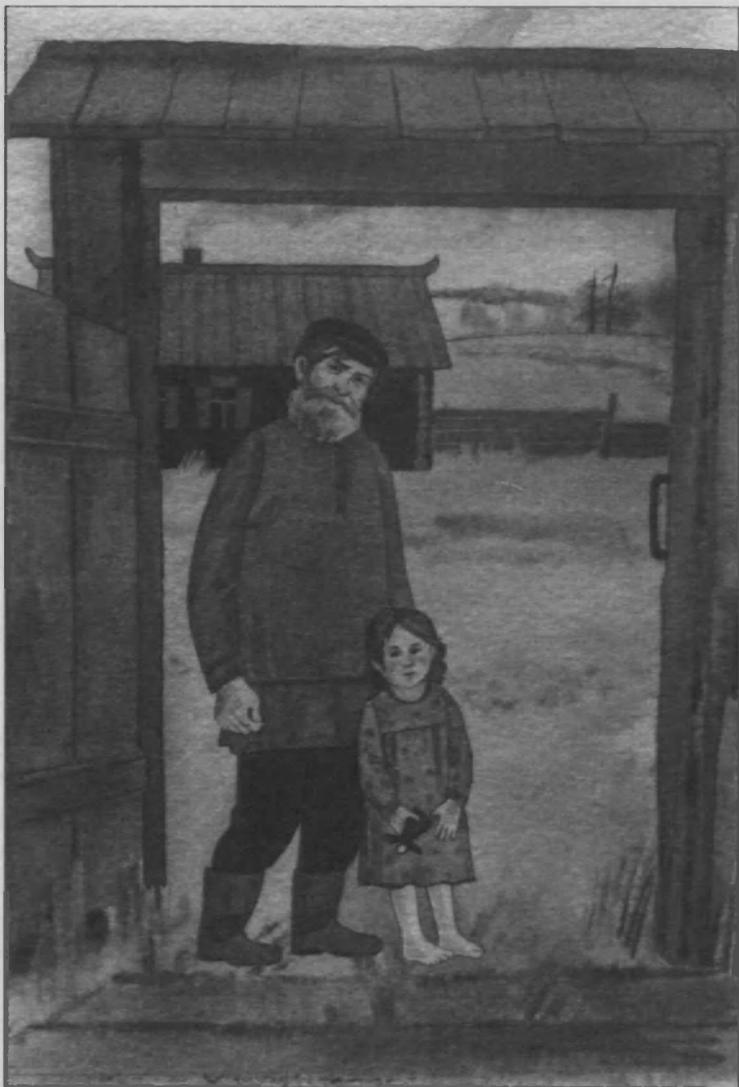
Необъяснимое чувство тревоги сопровождало его повсюду, и он несколько дней не мог освободиться от него, пока не вспомнил о настое трав, стоявшем за божницей, который поставила туда приходившая из-за увала монашка Пелагея.

Пелагея пришла к нему по настоянию сестер. Взять у него внуку на воспитание в скит. Прожила она на заимке долго и, как показалось ему, хотела остаться тут навсегда, жаловалась, что жизнь в скиту стала совсем скудной. Шибко старалась Пелагея, большое облегчение было от ее забот. Вставала ни свет ни заря, в руках у нее все спорилось, но глядеть на нее Зосима не мог – не любя она, и только!

Выпив настой, почувствовал облегчение. С той поры нет-нет да и вставал на табуретку, протягивал руку за божницу.

Мало-мало успокоившись, все-таки надумал сам побывать в Стрелебном. Хоть и не ближний свет, а тоска по людям одолевала. На заимку теперь мало кто заглядывал: все мужики на войне, а те, что дома, в работе на колхозных полях. Дальние покосы заброшены, на охоту и рыбалку только мальчишки бегают. На заимку они не заглядывают. Нет им дела до кержака-единоличника, не пожелавшего, как все, вступить в колхоз.

После долгих раздумий решил сам наведаться в деревню. Собирался долго: сложил наловленных капканами ондатр, чтобы сдать их в обмен на муку, прихватил вяленого мяса лосятину для товарища, для внучки в несколько туесков на-



THEY WERE THE ONLY TWO WHO WERE LEFT
IN THE HOUSE WHEN THE FIRE BROKE OUT
AND THE OTHERS HAD BEEN ESCAPED
THROUGH THE DOOR. THE MAN AND THE
GIRL WERE THE ONLY TWO WHO WERE
LEFT IN THE HOUSE WHEN THE FIRE
BROKE OUT AND THE OTHERS HAD
BEEN ESCAPED THROUGH THE DOOR.

лил кипяченого молока, сварил яиц да кашу из толокна с ягодами. Достал из сундука чистое белье, прихорошился. На Агашеньку надел цветастый материнский платок.

Стрелебинские бабы, увидев его, посторонились на крыльце магазина, но не разошлись, делая вид, что торчат тут по делу. "Николай-то только до Половинки доплыл, пробыл там дня три и захворал, – сказала какая-то из баб, будто выстрелила Зосиме в затылок. – Сказывают, на заимку собирался, да не доплыл".

Внутри Зосима все вздрогнуло, кровь прилила к щекам и затылок опалило огнем. Будто уличенный бабами в своих потаенных мыслях, Зосима поторопился выйти из магазина, оставив на прилавке опорожненный от ондатр мешок, и девчонка, по просьбе продавщицы, догнала его – на окраине деревни.

Зосима зашел к своему давнему товарищу, тот тоже добавил, что, узнав о смерти Агаши, Николай тут же ушел на реку, где собрались почти все мужики, чтобы не дать ему уплыть, но уговорить не смогли. После только и плавали один за другим, чтобы вызволить его с Половинки.

Воротясь домой, Зосима стал жить в какой-то тревоге, в предчувствии то ли беды, то ли радости. Намерение пристрелить Николая у него давно прошло. Он уже много раз представлял себе встречу с Николаем. Ничего теперь не исправить, не повернуть время вспять. "А вдруг да Николай откажется от Агашеньки? Вдруг да посчитает себя оклеветанным?" – пришла к нему неожиданная мысль. "Кто знает, что было у него с девкой-кержачкой? Разговори разговорами, а человек он семейный. Возьмет да потянет меня в Никитинск за клевету. Митрохе-то я рассказал, что отлил для Николая пулю. А вдруг да Агаша с кем другим была да грех совершила, а я на мужика напраслину несу? Мало ли мужиков мимо нас проплывало и останавливалось? Кому веры больше будет? Ему, фронтовику, или мне – кержаку-единоличнику? От такой мысли у Зосимы

снова зашлось сердце, выступил на лбу пот. Взглянув на игравшую с котятами внучку, ласковым голосом позвал к себе. Она, обделенная лаской и вниманием, быстро вскочила и побежала к нему и сразу уткнулась личиком в колени.

– Сердечко-то как у тебя бьется, как у пойманной птички, тук да тук, а у меня еле слышно. Видать, износилось – говорил Зосима, поглаживая Агашеньку по кудрявым волосам. – С тобой мне веселее, спокойнее, – и изредка поглядывал в окно, отмечая, что погода налаживается.

Как раз в это время залаял Урманко.

– Набегался? – выпуская из рук внучку, сказал Зосима, вспомнив, что с утра не видел пса, и приглядевшись, через подворотню увидел лошадиные ноги.

– Кто-то к нам приехал, Агашенька. Видать, знакомый, если Урманко не грохочет, – говорил Зосима и никак не мог подняться со скамейки. Сидел, как прилип, будто враз отнялись ноги.

– Кого Бог принес? – спросил он, распахнув створки окна. Ему никто не отозвался, а невидимый всадник проскакал вокруг сараев и снова подъехал к воротам. – Айда, Агашенька, поглядим. Конь-то, видать, колхозный. Айда – протянул он руку внучке, которая, помогла ему подняться.

Ворота открывал непривычно медленно. На лошади полужелал человек, в котором угадывались знакомые черты. Зосима побоялся признать в нем Николая.

– Гость-то какой! Боже милостивый! – воскликнул Зосима, отчего Агашенька непривычно громко заплакала, спрятав личико в дедушкины колени.

– Зосима Егорыч! – вырвалось у Николая, чем окончательно расслабил душу кержака, не привыкшего к сочувственному к себе обращению.

Зосима пытался распахнуть ворога и успокоить хныкающую внучку.

– Дитяtko ты мое, дитяtko. Ты ишо ниче не понимаешь, – лепетал он. Влас, прихрамывая, оглядываясь по сторонам,

вошел на широкий зосимовский двор. В другое время Зосима непременно бы заметил и то, что конь без узды, и что он грязный и одичалый. Но в эти минуты до этого ли было несчастному кержаку? В эти минуты Зосима про себя молился, боялся приподнять голову, узнать Николая Неволлина.

– Отче наше...! – вырвалось из уст кержака, и не в силах больше стоять, он уткнулся лбом в брюхо Власа и взревел громко как подраненный медведь, казалось, изнутри вырвался комок скопившегося за многие годы горя.

Оставленная возле порога Агашенька, испугавшись, вдруг пронзительно громко заплакала. Николая будто подбросила невидимая сила, и он, вмиг соскочив с коня, очутился лицом к лицу с Зосимой.

– Ребенок плачет! – первым нашелся Николай, крепко держась за гриву Власа.

– Боже милостивый! – не сдерживая себя, плакал Зосима, не зная что и делать: то ли брать на руки и успокаивать внучку, то ли помочь Николаю сделать несколько прыжков до крыльца.

– Кланяюсь тебе, Зосима Егорыч, – облизывая пересохшие от волнения губы, сказал Николай, усаживаясь на широкие плахи крыльца.

– Уж как я обрадовался, как обрадовался! Ведь я, Николай, разную напраслину молол, ты, поди, слышал? Тебе, поди, передавали? А кто на моем месте поступил бы иначе? Агаша-то нам вот какое семя оставила. Не знаю, признашь ты ее али нет? – поставив между колен притихшую Агашеньку, глядя в упор на Николая, спросил Зосима.

Вместо ответа Николай молча протянул руку к девочке и погладил ее по кудрявым волосам. Агашенька уставила на Николая удивленные глазки, надула румяные щечки, готовая вот-вот расплакаться.

– Да это он любя, дитяtko, погладил тебя по головке. Любя, – говорил Агаше Зосима, взволнованный скупым жестом Николая.

– Че мы тут на крыльце-то? Али места в доме мало? – засуетился Зосима.

Николай заметил, как переменялся Зосима: когда-то крепкий, властный, своенравный, без устали работавший, способный в труде заткнуть за пояс любого, сейчас сник, скукожился, согнулся.

Заходя в дом, Зосима обратил внимание на зазвеневшие медали на гимнастерке Николая. Он обернулся и с нескрываемым любопытством посмотрел на солдатские награды. Ему еще не приходилось их видеть. Когда-то он видел царские кресты на проходивших через Уральские хребты царских офицерах, ночевавших в лесных скитах.

У Николая этот звон вызывал смущение, он как бы подчеркивал его неполноценность и вызывал в людях сострадание к нему, чего Николай совестился. Ему не хотелось видеть на себе сочувственные взгляды. Зосиму к числу таких людей отнести было нельзя. Он принимал жизнь такой, как она есть. В силу сердечного характера он, стремглав забежал в избу, тут же выскочил с крепким батошкой в руке.

– Возьми его. Не побрезгуй, упрись. Я на обеих ногах да с устатку упираюсь на него. После работы стало часто поясицу отсекаль, так он в руки просится.

– Давай проходи прямо к столу, а я возле печки похлопочу. – Схватив внучку на руки, Зосима ушел в закуток. – Не отдам, никому я тебя не отдам, – успокаивал он внучку, растревоженную появлением незнакомого человека.

Николай удивляла откровенность Зосима. Не мог он предположить такой открытости в кержаке, такой хлопотливости и добросердечности. Все, кто знал Зосиму, отмечали его скупость в словах и подчеркнутую молчаливость, а тут! На столе появилась нехитрая еда, хозяин пригласил к столу. Сев за стол, оба замолчали, какая-то неловкая пауза возникла, невозможно было начинать разговор.

Агашенька, успокоившись, по-хозяйски сидела на коленях у дедушки и хитро смотрела на Николая из-под кудрявой

челки. Заметив, что Николай обратил на нее внимание, спрятала личико дедушке в рубаху. Бойкий, дикарский взгляд черных глаз обжег сердце Николая. Он крепко сжал баджонок, но от взгляда Зосима не ускользнул этот жест.

– А мы уже вот такие большие, – сказал Зосима, спуская внучку с рук, которая бойко побежала к порогу. – Не упади. Гляди под ноги-то! – говорил Зосима, не в силах скрыть в голосе дрожь. – А Влас-то ведь убежит! Убежит дикарь окаянный! – спохватился Зосима. – Я ворота-то закрыл али нет? Запомню.

Конечно, он знал об одичавшем коне, который часто навещал заимку. В зимнее время хромоногий конь особенно часто подбегал к его стогам, и Зосима из жалости бросал ему навильник-другой сена, и сейчас ему было любопытно узнать, как это Николаю удалось взобраться на спину одичавшего коня. Как доехал на нем без узды?

В эти минуты у Николая все плыло перед глазами, жаром пылало лицо. Казалось, что все человеческие силы, какие были в нем, враз иссякали. Заметив это, Зосима сказал:

– А ты прикорни часок. Тебя в теплой избе разморило. – Помог Николаю поудобнее прилечь на широкой лавке, подложил под голову какую-то лопатину. Напугавшись, что Николай заболел, простыл или не вынес переживаний, Зосима забегал по избе, смочил в холодной воде тряпку и положил на лоб Николаю, затем полез к божнице за травяным настоем.

– Испей, Николай. Травы – это хорошо, – приподнимая голову гостя, говорил Зосима, вспотевший от переживания.

Через какое-то время Николай попросил пить. Обрадованный тем, что Николай пришел в себя, подвел к нему внучку и с испугом в голосе спросил:

– Твоя она али не твоя? Если твоя, то сказывай. Тогда я знать буду, в какую мне сторону глядеть и как жисть улаживать, а коли нет, тоже говори, не пообижусь.

Николай моментально сел на лавке, расплескав поданную Зосимой воду.

– Моя. Разве не видишь? Хоть кто скажет – моя.

Зосима тут же упал на колени, протянув обе руки к божнице.

– Дай Бог тебе здоровья! Я в последнее время как с ума сошел, – бормотал Зосима, – Не знал куда голову приклонить. Вся хворь моя из-за нее, – поглядывал он на возвышующуюся с котятами внучку. – Кому она нужна, безгрешная душа? А в скит отдавать жалко.

– Гляжу, с тебя пот градом сыплется, – вскочил Зосима. – Неужто заболел? Быть может, ишо топленого молока попьешь? У меня все есть: и рыбка и мяско. Один-то я за два брюха не съем. А она, – кивнул он в сторону Агашеньки, – какой едок? Как птичка божья. Птичка-то птичка, а хлопот с ней полон рот. Глаза да глазоньки надо: куда только не лезет! Все любопытствует. Все одна да одна. Играет только со щенятами да котятами. Пока они маленькие да несмышленные, барахтаются с ней, а как подрастут, то царапнут, то укусят.

Казалось, Зосиму не остановить. На него напала такая словоохотливость, что он и сам устал себя слушать.

– Ты, Николай, не слушай меня, я нынче в беспамятстве! Ты полежи, я тебе прямо сюда мяса с картошкой принесу. С утра в загнету поставил. Полежи, куда тебе торопиться? – Зосиме от своих слов стало неловко, и он, посмотрев на медали на гимнастерке, сказал:

– Эко сколько тебе разных-то навесили. Задря-то не дадут.

– Много всякого повидал, – уклончиво ответил Николай.

Поглядывая на маленькую Агашеньку, он позвал ее к себе. Девочка, услышав свое имя, обернулась, но продолжала играть с рыжим котенком.

– Она ишо придет к тебе, придет. Куда она без тебя? – вздохнул Зосима, несказанно довольный тем, что Николай признал в ней свою кровинку. "А там, – думал Зосима, – будем жить как Бог пошлет". – А ты ешь горяченькое. У Николая при виде зарумянившейся картошки заурчало в животе.

– Ниче, поправишься. Молодой ишо. Вона и Власа умудрился приручить. Поди, в Стрелебном-то не знают, что ты его

заново объездил. Кабы знали, то без узды бы не отпустили. Да и по одежде видно – не из деревни ты. На покосах, че ли, был?

– На Половинке покосы чистил, – признался Николай.

– Че ли, в колхозе совсем некому их чистить? Слов нету – заросли без мужиков все покосы, а на Половинке особо. Ноне, кажись, только один зарод поставили, – сказал Зосима. Хотел твоей супружнице подсобить, да побоялся – прогонит. В Стрелебном все про Агашеньку знают, глазуют, шушукуются люди, и до нее слух долетел. Ей от этого мало приятностей. Я уж все сторонкой да сторонкой от нее. Кажись, один только раз сморозил ей чего-то обидное. Не сдержался. Сам не знаю как получилось.

– Потеряют меня, – ответил Николай. – Приплывут на Половинку, а меня нету.

– Слов нету – загадал ты всем загадку! – всплеснул руками повеселевший Зосима. – Мыслимое ли дело такое придумать? А подпорки твои где?

– Костыли на покосе оставил. Как оказался на спине Власа, про все забыл, – признался Николай.

Пока они разговаривали, Агашенька тихонько подошла к лавке и стала перебирать медали на гимнастерке Николая. Недолго думая, приподнявшись на цыпочки, стала облизывать блестящий орден Красной Звезды. От ее бесхитростного детского поведения двое взрослых мужчин растерялись, не знали, что сказать, как поступить.

Глянув в окно, увидев подходявших к воротам корову с телятами Зосима проронил:

– Время-то как быстро пролетело, солнышко на закат покатило. Власа-то придется отпустить, а то корова во двор не зайдет. А ему, разбойнику, уже на волю охота, не стоит на месте – кружит по двору.

Николай, придерживая девочку за руку, привстал.

– Может, в сарае какая-нибудь старая уздечка найдется?

– Уздечка найдется, но неужели я тебя на ночь глядя на Половинку отпускаю? Кто тебя там ждет? Испростудишься

весь. – В словах Зосимы была правда, и у Николая не было никаких доводов, чтобы с ним не согласиться.

– Потеряют, – несколько раз поднимаясь с лавки, говорил Николай.

– Ну потеряют, так ведь найдешься. На ночь глядя кто на Половинку поплывет?

– Да поплывут. Не Митроха, так Семен, не он, так Ольга надумает.

– Нет уж, Николай, седня я тебя не отпущу. Не буду брать грех на душу. Завтра спозаранку сядем в лодку, и я доставлю тебя на Половинку в целости и сохранности.

Честно сказать, Николай не горел особым желанием оставлять заимку, где все было связано с Агашей, где жил и летал ее дух, от которого у Николая млела душа.

– Нам с тобой еще говорить – не наговориться, – повеселел Зосима, получив от Николая молчаливое согласие переночевать у него.

– Черноглазенькая моя, – поглаживая Агашеньку по голове, шептал Николай, когда Зосима вышел во двор. – Пока жив буду, никому не дам тебя в обиду. На заимку приезжать стану. Кто мне указ? Никого и спрашивать не стану. Братьев твоих сюда привозить буду. Они уже большие, дедушке твоему помогать станут. Наведу я порядок в своем доме. Наплевать мне на людскую молву. Поговорят, поговорят да перестанут. Я ведь из-за людских наговоров не женился на твоей матери. А чего хорошего? Вся жизнь пошла наперекосяк не только моя – откровенничал Николай с несмышленной Агашенькой.

Зосима управлялся по хозяйству: стучал ведрами, по-молодечки посвистывал, отпуская Власа на волю. Николаю верилось и не верилось, что наконец-то он на заимке, в кержацкой избе, затерянной в далеком медвежьем углу, о которой думал постоянно, проходя через многие чужеземные села и города.

Сумерки наступали быстро. Скоро из углов избы стала надвигаться темнота, пряча от глаз нехитрую обстановку и утварь. В небольшие оконные проемы заглянул молодой ме-

сяц да ветка черемухи с необобранными кистями ягод покачивалась на ветру, стучала в стекло.

Маленькая Агашенька по-видимому, часто встречавшая темноту одна, встав на ножки, бойко подбежала к лавке, покрываемая, взобралась на нее и какое-то время сидела молча, будто о чем-то раздумывая.

– Иди, Агашенька, ко мне, – с робостью в голосе позвал Николай. И крохотное существо, впервые увидевшее незнакомого человека, доверчиво подошло к нему. "Вот ведь что делает родная кровь", – с замиранием сердца подумал Николай и растрогался до того, что из глаз выкатились слезы. Он не мог выговорить ни слова, когда Агашенька дотронулась ручонкой до его щетинистой щеки и, отдернув ее, стала тереть ему мочку уха.

Он боязливо провел рукой по кудрявым волосам, крохотным плечикам и легонько прижал к себе, испытывая блаженное умиротворение. Она быстро уснула на его руках.

– Уснула? – войдя в избу, спросил Зосима шепотом и сам же сказал: – Спокойный ребенок. Всегда так.

Засветив лампу с тусклым, давно не мытым стеклом и увидев, что Агашенька уснула рядом с Николаем, Зосима всплеснул руками и, чтобы не будоражить душу, вышел во двор.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

К Стрелебному Семен старался приплыть к полуночи, чтобы никто не заметил его возвращения и ему не пришлось объяснять, почему с Половинки он явился один. Низкое небо с темными тучами отражалось в реке, покачивало на волнах лодку, отчего, как подумалось Семену, у него закружило голову и он заторопился причалить к берегу. "Щей похлебаю и все пройдет", – подумалось ему. От голода у него часто перед газами мелькали серебристые искорки. "Надо было прихватить с собой хоть одну картофелину да "заморить червячка", так все оставил Николаю. Картошки-то нонче, слава богу, полно накопили", – рассуждал он, ощущая горечь во рту. Неожиданно перед кормой раздался сильный всплеск и хлопок по воде, сразу спутались все мысли. "Крупная нельма выиграла!" – наблюдая за большими разводами на реке, догадался он. – "За нельмой к Черной речке плаваем, а она возле деревни пляшет".

Как ни осторожничал Семен, поднимаясь вдоль берега на шесте, но чутко дремавшие деревенские собаки услышали скрежет шеста по гальке. Тявкнула только одна, будто подавала команду, а остальные молча неслись на берег наперегонки. Узнав Семена, обнюхали лодку, немного покружили возле нее и трусцой побежали обратно, каждая в свою конуру досматривать свои собачьи сны.

Деревня спала, чем он был доволен: не было нужды каждому объяснять, почему явился один. Идти старался неслышно. Тихо приоткрыл калитку, закрыл за собой сенные и избыные двери. Неслышно вошел в избу. Наверное, так бы и примостился где-нибудь уснуть, не выпави из рук печная заслонка, когда он полез за чугуном с горячими щами. Марфа с перепугу, в темноте не признав Семена, закричала на всю избу.

– Да я это, я! – прошептал Семен. – Кто бы ишо к тебе ночью пришел?

– Ребят-то всех перепугаешь, – застонала Марфа, пытаясь зажечь лампу. – Мишка только уснул: все зуб болел. Жар поднялся. Насыпала ему горячей золы в тряпицу да привязала, аспирина Фузка дала, так еле уснул. – Только потом будто проснувшись, громко спросила: – Сам-то че как вор?

Семен молчал, опустошая большую чашку картофельного варева.

– Скусная у нас картошка! Ел бы да ел!

– Ты ишо сметаны не положил, а со сметаной-то вовсе объедение, – довольная похвалой мужа ответила Марфа.

– Ложись спать, – раздеваясь возле порога, шепотом сказал Семен.

– Че на ночь глядя поплыли? На воду-то уже туман спускается, холодно.

Тяжело вздохнув, Семен юркнул под теплое стеганое одеяло, которое в прошлом году приобрела Марфа в обмен на картошку в Никитинске.

– Холоднющий какой! Околел-то как! – бормотала она, ощупывая теплыми руками мужа, который вдруг захрапел. Марфа даже не поверила. – Семка, ты че? – потрясла мужа за плечо, на какое-то время он вроде затаил дыхание.

"Далась им эта Половинка? Как сдурели: ни отдыха ни покоя. Кабы какие деревни поблизости были, можно было бы к кому-нибудь приревновать, – рассуждала она про себя. – Во всех деревнях одни бабы остались. А по реке самая ближняя – заимка. Так там живет один кержак Зосима с внучкой. А кто знает, – вдруг встрепенулась Марфа, – вдруг да какая баба пришла из-за увала? А быть может, ишо и не одна? У них, кержаков, свои тропы есть. Про это узнать надо. Вон оне, колдуны, че с Николаем-то сделали. Столько лет прошло, а он никакого покоя не знает. Уж его возлюбленная Агаша померла, конечно Царство ей Небесное, а он после этаких боев и стражений, изувеченный, первым делом туда поплыл".

Распалив себя такими предположениями, Марфа затрясла Семена:

– Сказывай, скоко тама баб на заимке? Ты, поди, тоже облюбвал какую-нибудь кержачку? – Узнаю – глаза ей выцарапаю. – От непонятого бормотания Марфы Семен перевернулся на другой бок и снова захрапел. У Марфы потерялся сон. Поздно вечером она ходила к Ольге Невוליной, и та по старой привычке гадала на решете. Как утверждала Ольга, эта ворожба всегда предсказывала правду. Сделав в решете дырку и прицепив его на один конец ножниц надо немного подождать и посмотреть: в какую сторону станет поворачиваться решето, значит в той стороне и надо искать мужа или ждать его с той стороны.

Ольга утверждала, что, когда Николай был дома, решето крутилось в левую сторону, показывало на заимку, а как ушел на войну – стало поворачиваться в правую или висело на кончике ножниц без всякого шевеления. Правда, у Марфы не было особой нужды заниматься ворожбой. Они с Семеном поженились по любви, но для интереса она тоже решила погадать. И несчастное решето показало ей в сторону заимки. Ольга, увидев это, всплеснула руками.

– Так и Половинка в той же стороне, – стала обороняться Марфа, но сомнение закралось.

"Надо же? Захрапел. Да виданное ли дело? Семка хоть с какого устатку явится, обязательно обмилуется, а тут захрапел. Нет, тут дело нечистое!" Марфа и Семен были еще в тех годах, в той поре, когда в человеке вскипает кровь от прикосновения друг к другу.

Ни с кем делиться своим счастьем Марфа не хотела. От подозрений у нее часто забилося сердце и по спине пробежал холодок. Она встала и не зная почему стала одеваться, хотя до петухов было еще далеко. Растоплять печь было рано, и, затушив лампу, Марфа полезла на полати к спящим ребятишкам.

"Быть может, Семен поссорился с Николаем? – размышляла она, заметив, что муж вернулся молчаливым. – Так не может того быть. Семка за Николая всем башку оторвет, защищать станет. Уж как только бабы ни канифолили Николая

перед войной за его любовь к кержачке, и на собраниях его ругали, и в Никитинск вызывали, и в партию из-за нее не приняли, а Семка все равно на его стороне был. А теперь, когда Николай с войны воротился, у Семки в руках все козыри! Нет, поспориться они не могут. Но че-то Семка смурной приплыл. Быть может, устал али опять грыжа донимает. Начнет светать – к Ольге сбегаю, может, Николай чего ей рассказал", – успокоилась Марфа, но уснуть так и не смогла.

Встала, когда услышала, как кто-то стал колоть дрова. Пока вспоминала, у кого до сей поры не сложены дрова в поленницы, над лесом стала заниматься заря. Накинув на плечи стеганую телогрейку, покрыв голову платком, Марфа быстро перебежала дорогу, открыла неволинскую калитку. Как раз в это время Ольга с подойником выходила из избы доить корову. Увидев Марфу, остановилась.

– Никола-то спит ишо? – спросила Марфа каким-то чересчур ласковым голосом.

– Нет его дома. Или не знаешь? Семен, что ли, воротился? – Не зная что ответить Ольге, Марфа махнула рукой и выскочила из калитки. Ей стало стыдно, что она навдумывала всякую всячину про мужа.

Семена в избе уже не было. Марфа и не подумала, что в такое раннее время он мог уйти в правление колхоза. А он торопился первым увидеть председателя и рассказать о Николае, который остался на Половинке рыть себе заповзай. Захар Демидыч уже сидел за своим обшарпанным столом. На Семена смотрел долго и пристально.

– Поздно воротились? – спросил, совсем не предполагая, что и на этот раз Николай остался на покосах. – Ей-богу, как маленькие. Неужто дома делов мало? – откровенно досадуя, говорил Захар Демидыч. – Опять один с ночевкой остался? Кабы здоров был, так леший с ним, а то ведь, не дай бог, че случится – нам всем в вину поставят. Не вины боязно, а его жалко, – выйдя из-за стола, говорил Захар Демидыч.

– Я ведь на него узду не наброшу! – защищался Семен. Он

рассказал о намерении Николая вырыть землянку, чтобы можно было с реки вползть в свое "жилье".

– Ты че городишь? – возмутился Захар Демидыч. – Какой еще заползай? Совсем с ума сошли? Или у нас лесу нет, чтобы на Половинке избушку поставить?

– Да не хочет он никакой избушки. Ему заползай вырыть надо. Вот он там и остался.

– Ешкин корень! – сматерился Захар Демидыч. – Давай собирай всех здоровых мужиков и плывите на Половинку. Не могу я взять в толк: че такое этот заползай?

Скоро вся деревня знала, что мужики после обеда с лопатами, топорами и пилами поплывут на Половинку рыть для Николая заползай да валить лес на строительство там избушки. В назначенное время все деревенские мужики были на берегу: переворачивали на песке лодки, тащили охапками сено, чтобы постелить на дно. Перекинув через плечо большой мешок, дед Кунара тащил мережу.

– Ты-то куда, божий одуванчик? – захохотала Капитолина.

– Ты, Капитолина, у меня дождешься. Я тебе когда-нибудь ребра-то посчитаю, – без злобы говорил Кунара и добавил: – Мережу там в заводи брошу, может, кака рыбешка угодит. Место возле Половинки рыбное. А ежели хороший улов будет, тебя, Капитолинушка, в первую очередь свежатиной угощу.

– Мечтать не вредно, – только и смогла ответить Капитолина, сконфуженная добротой Кунары.

Захар Демидыч шел на берег прихрамывая, опоясав свою стеганую душегрейку патронташем.

– Дома бы сидел, Захар Демидыч. На воде-то теперь холодно, – посоветовал кто-то из баб.

– Засиделся уже. Все верхом да верхом на коне, не помню, когда и плавал.

Мужики без лишних слов определились плыть попарно, среди них не было ни суеты, никаких лишних разговоров, зато прибежавшие на берег бабы тараторили, советовали,

кричали на скуливших собак, которых хозяева не желали брать с собой. Ольга стояла тут же, скрестив на груди руки, немало удивленная тем, что мужики собрались плыть к Николаю.

– Ребятишек давайте сюда! – сказал Захар Демидыч, глядя на Ольгу – Пущай побудут с отцом.

Те сразу и не поверили. Иван от радости засуетился, не зная, в какую лодку залезать.

– Ты, Илюшка, иди к нам, – распорядился Семен.

– Иван, прыгай ко мне на сено! – позвал оробевшего мальчишку Захар Демидыч.

– Одеться потеплее надо, – захопотала Ольга и стремглав побежала домой за одежкой.

Лодки одна за другой медленно отплывали от берега. Погода была теплая, если не считать порывистого ветра с горной стороны, который сметал с берега опавшие листья, стружку, сенную труху. Собаки жалобно скулили, бежали по берегу, готовые броситься за лодками вплавь.

– Поплыли Николаю какой-то заползай ладить. Че за заползай? – спрашивали у Ольги. Та в ответ пожимала плечами: – Тоже в первый раз слышу.

– Ну и слово! Не поймешь – хорошее или плохое.

– А че не понимать? От слова "ползать", – заключила кладовщица Нюрка. Она непременно бы добавила, что теперь Николаю всю жизнь только и осталось что ползать, да вовремя прикусила язык, встретившись с взглядом Клавдии, строгой супруги Захара Демидыча, редко выходившей со двора из-за больных ног.

– Помогу дойти до дому? – предложила Нюрка.

– Пожалуй, не откажусь, – обтирая лицо кончиком головного платка, сказала та, подавая руку. Какое-то время шли молча, Нюрка стремилась приноровиться к медленным шагам Клавдии.

Клавдия Севериановна жила вместе с Захаром Демидычем лет пятнадцать. Привез он ее из Никитинска учительствовать

еще до войны. Она и тогда была в немолодых годах: высокая, с густыми седыми волосами, красиво уложенными на затылке, широкими черными бровями и легким пушком над верхней губой. Голос у нее был тихий и ровный. В деревне ее почему-то побаивались и были удивлены, узнав, что малообразованный председатель колхоза Захар Демидович не только нашел с ней общий язык, но и такие слова, что через год проживания в деревне она переехала в его дом. Пересудов на этот счет в деревне не было: Захар Демидович к тому времени уже три года как вдовел. Двоих сыновей проводил на войну, дочь работала в Никитинске в какой-то лаборатории и приезжала к отцу раз в две недели. Ему давно пришла пора уйти на отдых, но деревенские жители каждый год упрасивали его остаться, потому что Захар Демидович был человеком большой доброты и справедливости, знал колхозное хозяйство до последнего гвоздя.

С появлением в доме Клавдии Севериановны он будто помолодел и кому-то из деревенских сказал:

– Уж до конца войны, если колхозники доверят, похозяйничаю.

Клавдия Севериановна, женщина не деревенская, не умела доить корову, колоть дрова, работать в поле, но никто ее не осуждал. Не было в Стрелебном семьи, чьих ребятишек она бы не научила читать и писать.

Деревенские бабы заметили: она обязательно выходит за ворота, в редких случаях на крыльцо – проводить Захара Демидыча на работу. Никто не знал, говорила ли она ему что-нибудь на прощание или только стояла и смотрела вслед, пока он не свернет в переулочок. В деревне это не принято. В лучшем случае мужик скажет домашним: "Я ушел!" Обычно же молчком отправится по своим делам. Наверное, и Захару Демидычу первое время было непривычно уходить на работу провожаемым женой, но с годами привык и сам, как только доходил до переулочка, оборачивался.

В этот день, когда мужики собрались плыть на Половинку, Клавдия Севериановна, как обычно, проводив Захара

Демидыча до ворот, вдруг надумала сходить на берег. Раньше она любила бывать там: подолгу стояла на берегу одна, или прохаживалась по песку, или, присев на борт чьей-нибудь лодки, подолгу глядела на торопливые волны, думая о чем-то своем. Скорее всего, представляла бурные реки Кубани, откуда была привезена еще девочкой ссыльными на Урал родителями. В последние годы на людях появлялась редко. Фузка говорила, что у Клавдии Севериановны сильно болят ноги. Она ей ставила уколы, но они мало помогали. Зато компрессы из мокрицы и листьев лопуха снимали отечность, и она постоянно пользовалась ими. Увидев спускающуюся к берегу Клавдию, Захар Демидыч всплеснул руками и сказал:

– Могла бы и сказать, любезная Клавдия Севериановна, что на берег сходить охота, – и, улыбнувшись, пошел помогать мужикам стаскивать лодки на воду.

С берега бабы расходились нехотя, смотрели на уплывающие лодки.

– А все-таки любовь – прекрасное чувство, – совсем неожиданно сказала Клавдия Севериановна. Нюрка не сразу сообразила, о чьей любви говорит Клавдия Севериановна, и даже покраснела, удивившись, что в таком почтенном возрасте можно говорить о любви. "Да сидела бы на печке!" – чуть было не вырвалось у Нюрки, по-своему понимающей, что любовь бывает только у молодых. Разговаривая с деревенскими бабами, она ни от кого из них не слышала таких слов. И не то чтобы удивилась, а даже вздрогнула, представив, как Клавдия Севериановна говорит Захару Демидычу о любви. А та, словно угадав ее мысли, продолжила:

– О любви, Нюра, вслух не говорят. Влюбленного человека сразу видно.

Такое заключение Клавдии Севериановны ей было совсем не понятно: она соглашалась и не соглашалась со словами старшей учительницы, хотя, вспомнив Пашку Мелехина смущенно заулыбалась. Она никому не говорила, что ей нравится Пашка, а Танька Бенина догадалась. Как? Да и мама заметила, что она

всегда ходила за водой по их переулку, хотя по своей улице идти на реку было ближе. Мама так и говорила: "Опять на мелехинские ворота пошла смотреть?" Неужели правда, что влюбленного человека сразу видно?

– Вот что поделаться с любовью Николая? На зависть всем он несет ее через всю жизнь. Многие его упрекают, а о такой любви надо песни петь!

– А че не упрекать? Прямо курам на смех! У самого баба есть, ребятишки растут, а он как очумелый на эту Половинку плавает. Ясное дело, скоро до заимки доберется. Тама, все говорят, у него от кержачки девчонка растет. А кому его любовь нужна? – в сердцах спросила Нюрка. – Че ли, Ольга хуже той кержачки?

– А кто что знает о той кержачке?

Клавдия Севериановна медленно убрала руку, которой придерживалась за Нюрку, и опустив голову присела на кромку сложенных в кучу сосновых бревен.

– Передохну, – тихо сказала она, стряхивая ладонью с бревен пересохшую сосновую кору. Нюрке показалось, будто холодок пролетел между ними, она была удивлена резкой переменой ее настроения.

– А че хорошего от того, что Николай никому покоя не дает? Обо всем забыл, только одна заимка на уме. Кержачка-то померла, – не унималась Нюрка, чем окончательно расстроила Клавдию Севериановну, проповедовавшую не только человеколюбие, но и восхищение перед человеком, умеющим через годы пронести этот праздник души. Она была по-настоящему разочарована рассуждениями молодой девушки.

– Че ли, я неправду говорю? – с язвительной ноткой в голосе спросила Нюрка, поддерживая о Николае мнение деревенских баб.

– А я думала, молодые любить умеют и Николая под защиту возьмут. – Немного помолчав, Клавдия Севериановна, вздохнув, добавила: – Хотя Николай ни в чьей защите не нуждается, – и поднялась с бревен.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Деревенские мужики отплывали от берега молча, проворно работая веслами, выстраивая лодки в одну шеренгу, плыли нос к носу до самого поворота.

Осень яркими красками разрисовала берега: полностью позолотила березняк, разрумянила осинник, ошпарила первыми заморозками кустарники и травы, и только исполинские сосны с изумрудной хвоей стояли величественно, не поддавшиеся ее силе. Большинство мужиков сразу же забросили в воду блесны, надеясь выловить жирную нельму на уху.

Семен Савиныч отобрал у Захара Демидыча весло и велел ему садиться на копну сена. Тот не сопротивлялся. Лодку медленно покачивало на волнах и, крепко прижав к себе худенького Ивана, он скоро задремал, но блаженствовал недолго: попавшая на блесну нельма, оказавшись на дне лодки, хлестала хвостом, переворачивалась с брюха на спину, выкальзывала из рук, и Семен никак не мог снять ее с крючка.

– Вот это рыбинка! – восхитился Захар Демидыч.

Скоро послышалось оживление и на других лодках.

– В самый рыбий ход угодили, – с азартом забрасывая блесну, говорил Семен. Увидев, как дед Кунара почти опрокинулся через борт, вытаскивая добычу, крикнул ему:

– Не вывались вместе с нельмушкой! – В ответ, радуясь улову, дед Кунара взмахнул рукой.

Никто ни на что не обращал внимания: все были заняты ловлей рыбы, которая, как казалось, сама просилась в лодку. Не верилось, что у мужиков нашлось столько блесен. С невероятной быстротой они обшаривали "бардачки", сколоченные на каждой лодке, среди ржавых гвоздей, допотопных грузил и поплавков находили блесны с намотанными на них красными ниточками для приманки прожорливых шук. Сегодня все они пригодились: привязанные на дратвенные шнуры блесны со свистом резали воздух. Всплески и брызги

воды от извивающихся на блеснах рыбин, невнятные возгласы мужиков гулким эхом разносились по реке.

Иван, в первые минуты испугавшийся большущей рыбины, схватил за руку Захара Демидыча и сидел не отрывая глаз от Семена Савиныча.

– Скоро с папкой рыбачить будешь. Папка-то у тебя хороший рыбак, – говорил Захар Демидыч мальчишке, который часто вздрагивал: то ли смеялся, то ли всхлипывал, то ли замерз от речной прохлады.

Захар Демидыч, давно не державший на руках детишек, вдруг почувствовал душевную теплоту к этому дрожащему мальчишке. От густых кудрявых волос Иванки пахло дымом береговых костров, сосновой серой кедровых шишек и еле уловимым детским запахом. Вдруг Иван, обхваченный большими руками Захара Демидыча, завертел головой из стороны в сторону.

– Мы ведь проплыли Половинку! Вона наша береза на берегу! Мы с мамкой сюда плавали, – закричал Иван, освобождаясь из рук Захара Демидыча.

Увлеченные рыбной ловлей мужики давно не смотрели на берега, забыв в азарте обо всем, сосредоточенно глядели только на лески, бесследно режущие речные волны.

Захар Демидыч не долго думая засунул два пальца в рот и разразился таким пронзительным свистом, что Иван в страхе спрятал голову под наброшенный пиджак.

Свист Захара Демидыча услышали все.

– Ешкин корень! – оглядевшись по сторонам, сказал Семен Савиныч, решительно делая крутой поворот назад. Мужики, будто пойманные врасплох, сообразили что к чему и дружно заработали веслами.

– Это кто там на кромке обрыва? – вглядываясь в бесформенный силуэт, произнес Семен Савиныч. Иван, повернувшись к Захару Демидычу, шепнул ему на ухо:

– Это, наверное, дикий конь Влас. Мамка сказывала, что он, когда мы приплываем на Половинку, ловит папкин запах.

Когда другие бывают на Половинке, Влас не показывается. Теперь на берег выбежал, зная, папка на Половинке.

Иван попытался подняться на ноги, но Захар Демидыч крепко схватил его за штаны и снова посадил промеж своих ног. Он ничего не понял из слов мальчишки.

– Я говорил, что он папкин дух знает, – повторил Иванко.

Мужики медленно подплыли к крутояру, дед Кунара не вытерпел, разразился свистом и, привстав в лодке на колени, закричал:

– Никола-а-а-а-а! – Эхо понесло его голос по пустынным берегам, на него никто не отозвался. У Семена дрогнуло сердце, Николай уже давно должен был заметить лодки и непременно стоять на берегу. "Где это он? Неужто все еще возле костров ползает? Солнце давно на закат пошло. Где Никола?" – забеспокоился Семен, но промолчал, не хотел давать мужикам повода для беспокойства.

– Дедушка Кунара! – подал голос Илюшка. – Тута топко. Обьезжать надо. Вона за дядькой Семеном плыви, прямо через тальник.

Над рекой поднимался туман. "И че на ночь глядя поплыли, – подумал Захар Демидыч. – Ничего и не сделаем, разве все вместе ухи поедим. Вместо выходного дня. Мужики ведь круглый год без отдыха".

Возле причаливших к берегу лодок было шумно: мужики рассматривали богатый улов, только Семена Савиныча беспокоила мысль: где Николай? Не мог же он не расслышать голосов? Оглядевшись по сторонам, он зашел в березняк и торопливо пошел по косогору напрямик. Скоро запыхался, но останавливаться было некогда. Хватаясь за тонкие стволы молодых берез, выбежал на покос и долго, хватая ртом воздух, шумно дышал, вытирая вспотевший лоб.

Над покосом то в одном, то в другом месте дымились затухающие костры. "Куда он уполз?" Добежав до балагана и не заметив признаков недавнего присутствия Николая, не на шутку разволновался и побежал на берег к мужикам.

– Вот тут надо рыть землянку, – говорил он, указывая на отметины, сделанные лопатой.

– Николай-то где? – суетился дед Кунара. – Его слово заглавное.

– На покосе где-то. Он, считай, половину уже очистил, а теперь собрался землянку рыть.

– Айдайте на покос. Как без хозяина? – сказал Захар Демидыч и пошел.

– А папки на покосе нету! – кричал Илюшка, бежавший мужикам навстречу. – Я уже к балагану сбежал и к кострам. Нету папки!

– Как это нету? – удивился Захар Демидыч. Мужики половчее и помоложе побежали на покос, который был окутан дымом. В другой раз они сразу бы отметили работу Николая, но тут, оглядевшись по сторонам, принялись робко посвистывать, а скоро и закричали, не услышав никакого ответа. На лицах каждого было удивление. Все предположения могли показаться нелепыми, кроме одного: не угорел ли Николай от дыма костров?

– Мамка сказывала, что это место заколдованное, – нашелся Иван, с испугом глядя на Захара Демидыча. – И Половинка, и займка заколдованные.

– Так где же Николай? Не иголка в стогу сена!

– Я и к стогу бегал, – признался Илюшка. – Нету там папки! – Семен Савинович враз почернел, на лбу обозначились глубокие морщины. Не в силах скрыть волнения, он побежал вдоль берега, совсем в другую сторону, лишь бы не слышать мужицких разговоров, криков и свистов.

Радужное настроение у всех пропало, мужики разбрелись по покосу, заглядывали под каждый куст, под каждое поваленное дерево и корягу, но никто не увидел даже следов от костылей. Когда дед Кунара нашел возле пригорка лежавшие костыли, все оцепенели. Никто не знал что и сказать.

– Да, папкины костыли, – увидев растерянные взгляды мужиков, закричал Илюшка, который дома, крадучись от всех,

подолгу разглядывал их и даже пытался к ним примериться.

Конечно, ни у кого не было сомнения: костыли Николая.

– Лодка на месте, – сбегав на берег, хныкал дед Кунара, присаживаясь на корточки возле костылей.

Все молча пошли к кострищу. Семен Савиныч ладонью пощупал золу, чтобы понять, давно ли потух костер, и ни на кого не глядя вздохнул.

– Разве что на Заимке? – робко пробурчал Захар Демидыч. – Но как он без костылей? Он мог бы спокойно доплыть до заимки на лодке, но все было на месте: и лодка и костыли.

Гнетущее настроение мужиков не могла исправить ни вкусная уха, ни богатый улов. Только Митроха, перекрестившись, изрек: "Утро вечера мудренее", – и поднявшись с поваленного бревна, медленно зашагал в сторону стога. Из прибрежных низин на покос надвигался туман, пряча в мутных облаках кустарники и деревца. Разгулявшийся ветерок приносил запахи промокшей травы с еле уловимым горьковатым дымом от головешек догоравших костров. Разговоров никаких не было, только Иван, не до конца осознававший беспокойность и тревогу старших, жил воспоминаниями летних дней, проведенных на покосе с матерью, находил следы своих ребячьих дел: отметину на бревне оставленную ножом, старую дымокурку и грязный чобот, который перед самым отплытием домой долго не могли найти, а он оказался возле старого пня. Спать Иван улегся рядом с Захаром Демидычем и скоро уснул.

Исчезновение Николая всех повергло в полное недоумение, никто ни о чем не говорил, не высказывал своих предположений. Хотя почти все сходились на одном: искать его надо на заимке.

"Если бы не оставленные на покосе костыли", – ворочаясь с боку на бок, думал Семен, готовый прямо сейчас поплыть к Зосиме.

Перед самым рассветом, когда сон особенно властвует над человеком, Семен выполз на четвереньках из стога и пошел

на реку. Он отчалил от берега никем не замеченный.

Над рекой стоял густой туман – первый признак надвигающихся холодов. Влажная сырость быстро забралась под ватную телогрейку, через рубаху коснулась спины и поползла по всему телу. Семен задрожал: то ли от холода, то ли от волнения, услышал, как дробно застучали зубы, во всю силу стал работать веслом, пристально вглядываясь в очертания берегов. "Надо было кому-нибудь сказать, что поплыл на заимку. И меня хватятся – будет переполох! – запоздало спохватился Семен. – Митрохе-то можно было сказать". Но лодку уже вынесло на середину реки, и он стал подсчитывать, как скоро доплывет до заимки, а главное: как встретит его Зосима, о чем он станет с ним говорить?

Он не заметил, как посветлел горизонт, словно чья-то невидимая рука сдвинула густые темные тучи в сторону гор. Ветер хозяйничал на берегах, мимоходом касался глади воды, пробегал по волнам мелкой рябью, будто боялся вспугнуть разыгравшуюся на солнцевосходе рыбу.

– Господи, где же все-таки Николай? – вырвалось само собой.

В это время Николай, отказавшийся спать на широкой кровати Зосимы лежал на лавке в полудреме, не веря в случившееся с ним, скорее похожее на сон. Да и Зосима был взволнован не меньше: бродил по избе, то выходил во двор, то садился к столу и переставлял с места на место посуду. Он несколько раз подходил к кровати, куда перенес уснувшую возле Николая внучку, вроде и сам намеревался прилечь, но тут же вставал и снова ходил по избе как привидение, старался ступать на половицы бесшумно.

– А в моей жизни до сих пор все черно было, – остановившись над лавкой, где лежал Николай, сказал Зосима, чувствуя, что тот не спит. – Вот верь и не верь в Бога. Бог тебя прислал на заимку. Али, думаешь сам приехал? Не меня пожалел, а Агашеньку. У меня ведь каких только мыслей в голове не было! Че мне заимка? Думаешь, мне теперь тут жить охота? Я теперя не о себе думаю, об Агашеньке, о ее

безгрешной душе. Ее к людям выводить надо. Не хочу я для нее судьбы матери, а она растет – не все же с котятами играть. – Громко вздохнув, Зосима закашлялся, шумно высморкался и, присев возле лавки на табуретку, совсем другим голосом проронил: – А в Стрелебное жить не поеду. Тама твоя семья. Пущу по заимке красного петуха и пущай все горит синим пламенем, сам за Урал уйду. Как пришел, так и уйду.

– Ты че мелешь? – приподнимаясь на подушке, закричал Николай. – Про какого красного петуха? Куда уходит собрался? Я-то пока еще живой.

Зосима в ответ не то чтобы засмеялся, а разразился каким-то особенным хохотом. Николай подскочил и заерзал на лавке.

– А че ты сделаешь, партиец? Знаю, посватать Агашу хотел, а тебе не дали. Люди про то сказывали. А че теперя сделаешь? Слава богу, что Агашеньку своею признал. Благодарствую тебя, Николай, за это. Людей не совестно будет. А вырастить ее я выращу. Ты, поди, и сам знаешь. Помощи просить не буду.

Может, и хорошо, что разговаривали они в темноте: не видно было слезящихся глаз Зосимы и выступившей испарины на лбу и лице Николая.

– Никуда ты отсюда не поедешь. Поживем-поглядим. Может, твою заимку к колхозу припишем, – сказал Николай и, как показалось ему, Зосима не замолчал, а затаил дыхание.

– А че бы мне не отдать заимку колхозу? Одному-то теперь тяжело управляться, пока я все держу в аккурате, хотя и сам видишь – нелегко. Куда ни сунусь – везде руки нужны, а они связаны. На что мне эта заимка?

Николай, зная Зосиму как заядлого единоличника, был удивлен его рассуждениям и даже не нашелся сразу что ответить. Закрыв глаза, медленно лег на подушку, с вечера положенную Зосимой ему под голову...

Он проснулся или очнулся от оглушительного выстрела и с трудом вспоминал, где находится.

Приподняв голову, увидел, что посреди избы стоит

маленькая Агашенька, скрестив ручки на груди, и боязливо смотрит то на дверь, то на лавку, на которой лежал Николай. По-видимому, она тоже проснулась от выстрела и еще не отошла ото сна, а только с детской проворностью соскочила с постели. У Николая не оказалось сил поднять голову, не нашлось ни единого подходящего слова. Он только протянул руку, подзывая ее к себе. Рука дотянулась до вихрастой головы Агашеньки, с детской доверчивостью принимавшей его легкие прикосновения. Было трудно совместить раскаты ружейного выстрела с присутствием в избе ребенка. На удивление, крохотная девчущечка не плакала, не издавала ни единого звука.

– Залезай ко мне, – тихо сказал Николай и она, побряхтывая, вскарабкивалась на лавку.

Избяная дверь шумно распахнулась и в нее, запнувшись о порог, не вошел, а ввалился Зосима. В наступавшем рассвете нового дня, еле пробивавшемся через давно не мытые окна, трудно было разглядеть лицо кержака, но по неловким движениям и сгорбленной спине можно было догадаться о его душевном состоянии.

– Все! – с трудом проговорил он, упершись руками о стол. – Все! Для тебя выливал пулю, – сказал Зосима и неумелым, тонюсеньким голосом заплакал. Потом подошел к деревянной кадушке с водой и долго пил из ковша.

Именно в это время Семен подплывал к займке. Услышав ружейный выстрел, эхом пролетевший по берегам, понял, что Николай на займке.

– Убил мужика кержак! Убил! – готовый выпрыгнуть из лодки, кричал Семен. Напуганный выстрелом Урманко выскочил из конуры, но узнав хозяина, полез под крыльцо досматривать собачьи сны. Расслышав вскоре всплески весел, приподнял правое ухо, взлаял и побежал к берегу.

– Приплыл к нам кто-то. Поди, тебя потеряли? – сказал Зосима, зная, что понапрасну собака не залает.

Тропинка от ворот к берегу была проторена напрямик, и

Зосима бежал по ней семенящими шагами. Ему казалось, что он не бежит, а топчется на одном месте, Урманко успел уже обежать округу, собрать на свою шерсть утреннюю росу и теперь встряхивая ее, бежал ему навстречу.

"Че же делать-то?" – выскочив на берег подумал Семен. Он присел от боли на корточки, потревожив грыжу.

– Зосима-а-а! – закричал он во всю силу, с трудом припоминая, когда в последний раз видел кержака. Зосима был уже возле лодки. Они стояли друг против друга: не друзья и не враги, переглядывались испытывающими взглядами, не находя подходящих слов, хотя чувствовалось, что думают они об одном и том же. Семен боялся услышать, что Зосима Николая не видел, а на самом деле уже пристрелил его. Не зря же он слышал выстрел, тогда и его может хлопнуть: семь бед – один ответ! "А че же он прибежал без ружья?" – подумал Семен, но, заметив, что Зосима в изнеможении схватился за борт лодки, подал ему руку. Рука кержака дрожала.

– Да на займке Николай. У меня в избе, – не глядя на Семена, сказал Зосима, догадавшись, что не напрасно приплыл в такой час мужик на его всеми забытую займку. У Семена выпало из рук весло и поплыло, подхваченное течением.

Солнце уже встало из-за леса, разгулявшийся по реке ветерок подгонял волны, пошевеливал пожухлые травы и кусты, стряхивал с деревьев остатки трепещущих листьев. Давно не видевший Зосиму Семен не нашел в его облике особых перемен. Кержак показался ему по-прежнему сильным и крепким по сравнению с деревенскими мужиками, разве только взгляд всегда холодных глаз был тревожным да в кудлатой рыжей бороде пучками проросли седые волосы.

– За ним ведь приплыл? – вздохнув, спросил Зосима.

– Че спрашивать? В деревне не знают еще, что Николай потерялся, да и я не верю, что он тута. Поплыл к тебе наугад, и меня еще потеряют, – говорил Семен.

Урманко бежал по тропе будто выплясывал: то кружился волчком, то стремглав перебегал тропу, то семенял по ней

туда и обратно, подпрыгивал возле Зосимы, касался языком его рук.

Солнце залило светом изумрудное поле перед зосимовской избой. Орошенная густой росой трава блестела россыпью хрустальных капель, которые впору было собирать в пригоршни. Со стороны леса доносилось глухариное токование, и, прислушавшись, можно было расслышать голос глухарихи, отвечающей на брачное приглашение. Возле ворот поочередно мычали две коровы – просились на выпас, толклась и другая живность.

И каково же было удивление Семена, когда в распахнутое окно он увидел Николая с девчушкой на руках! Никаких других мыслей в голове не явилось, кроме одной: слава богу, жив!

После разговоров, объяснений стали думать, как добрать-ся Николаю до берега без костылей." Обе лошади на выпасе", – рассуждал Зосима, жалея, что поторопился выпустить со двора Власа. – Погодь, сердечный, где же батожок, что я тебе дал? Будешь опираться на него! – сказал Зосима.

От такого душевного обращения Зосимы у Семена комок в горле встал. А когда кержак поставил на стол сваренную картошку, квашеную капусту и глиняную кринку с топленным молоком, понял, что между ними состоялся полуболезненный разговор.

– А из ружья кто стрелял? – спросил Семен, пытливо глядя на кержак.

– Я стрелял. Выхолостил из патрона злополучную пулю, что вылил для Николая, – не глядя ни на кого ответил Зосима.

– Ну и дела.

По всему было видно, что Семен нервничает, хотя был несказанно рад встрече с Николаем, и, хлопнув его по плечу, сказал:

– Ты совсем обезумел! – Он не стал говорить при Зосиме, что на Половинку приплыли все стрелебинские мужики, чтобы до холодов вырыть ему заповозку.

Пройти до лодки надо было метров сто. Семен был готов

взять его на руки или подставить спину и дотащить на себе, но это было совершенно убийственно для Николая. Зосима догадался прихватить запасное весло, вспомнив, что Семен выронил свое из рук.

Спасительным и надежным стало плечо Семена, на которое оперся Николай. У Зосимы зашло сердце, глядя, как еще не окрепшая нога Николая подгибается в коленке. Не будь рядом Семена ползти бы ему до берега на четвереньках.

– Господи, че случилось с парнем? – стонал Зосима. – Четвертовали, сердечного, – и прятал мокрое от слез лицо за спину Агашеньки, которую нес на руках, хотя она и просилась отпустить ее бежать по тропинке.

Оказавшись в лодке, Николай, сбросив с себя верхнюю одежду, набирал полные ладони воды и бросал на лицо, шумно дыша и отфыркиваясь. Семен тоже забрел в воду, смывая пот с лица и шеи.

На берегу было тихо, если не считать щебетанья в кустах птахи, потревоженной присутствием людей. Выбежавший из кустов Урманко нарушил тишину, с радостным лаем забегал по песчаной косе в предвкушении скорого отплытия, в лодке для него всегда было место.

– Угомонись! – шикнул на него Зосима. – Не до тебя, – и поставив внучку на тропку, поторопился помочь Семену сдвинуть лодку на воду.

– Да управлюсь я, управлюсь, – говорил тот, понимая, что Зосиме тоже тягостно это молчание.

– Спасибо тебе, Зосима, за привет и ласку, – сказал Николай, – в долгу не останусь, – и протянул руки Агашеньке.

– Может, с нами поплывешь на Половинку, а потом в Стрелебное? – спросил он в шутку.

– Нет уж! – ответил за нее дедушка, – будем самого в гости ждать. Двери для тебя всегда открыты.

Агашенька, разбуженная в такую рань, куксилась, позевывала, но не капризничала, крепко обняв Зосиму за шею, она поглядывала на Николая.

У Семена зашло сердце, когда черноглазенькая девчушка с охотой протянула ему ручонки. Зосима, глядя на лодку, долго кашлял, обтирая заскорузлой ладонью дрожащие губы. "Недаром говорит Иван, будто Половинка и займка места заколдованные, – вспомнил Семен. Ни в жизнь не поверил бы, что ребенок, впервые увидевший чужого человека, так быстро доверится ему". Но рассуждать не было времени: до Половинки плыть не один час, а там еще надо держать ответ перед мужиками.

Николай, отдышавшись, умывшись холодной водой, приободрился и не то чтобы повеселел, а оживился, как оживает деревце, напившись воды после долгой засухи. В нем жила еще молодецкая стать, не поддававшаяся времени.

– До встречи в Стрелебном! – громко и утвердительно крикнул Николай. – Приходите ко мне. Всем места хватит.

Когда лодка отплыла, Николай заговорил:

– Ольга? А че Ольга? Ее не пообижу. Она мать моих сыновей. Не оставлять же маленькую сиротку на произвол судьбы. Да Ольга на все согласна, это деревенские бабы-трещотки ей все уши прожужжали: мол, куда ты смотришь? Приструнить, мол, его надо, хоть и медалей полная грудь! А мне теперь море по колено! – сказал Николай и засмеялся. – Теперь все равно все по-моему будет! Агашенька! Пока жив буду, никому ее в обиду не дам.

Семен все еще не мог прийти в себя от увиденного и услышанного. Они гребли, что было сил. Скоро Семену придется подниматься на шесте.

– Давай, Семка, передохнем.

Молча подплыли к берегу. Разговора не получилось. Молчание было тягостным.

– У тебя ведь, Семка, самый заглавный вопрос: как я попал на Займку? Видел ведь ты мою беспомощность, как добирался я к лодке. Считаю, на тебе верхом приполз. До сей поры все поджилки трясутся. А тут без костылей и на Займке очутился.

Семен молчал, хотя расспросить хотелось обо всем, но уж таким был он человеком: сам в душу не лез, но доверием дорожить умел.

– Я, Семка, и сам не поверил, когда Влас мне спину подставил. Коня-то дикого помнишь? Я как пал ему на спину, так и не помню, как на заимку он привез меня. Хочешь – верь, хочешь – не верь! – тихим, таинственным голосом говорил Николай. Семен внимательно слушал. Сидя на поваленном ветром дереве, он крепко вцепился пальцами в трухлявый ствол и молчал.

– Ты че остолбенел? Вишь, я живой. И Зосима поначалу изумился. От страха про все забыл. Как забегал, как забегал возле Власа. И меня не сразу признал. Ему не надо было отпускать Власа со двора. Так он пожалел коня, тот рвался убежать.

– Ты совсем одурел! – молвил Семен, помимо воли осеняя себя крестным знамением. Спрятав лицо в сдернутую с головы фуражку, заплакал. – А кабы Влас понесся да сбросил тебя со спины? Али... – Но Николай уже не слушал причитания Семена, понимая, что тому трудно поверить.

– Вот рассказывай теперь все мужикам! Они ведь на Половинке!

– Че им делать на Половинке?

– Да твою блажь решили исполнить. Ты ведь у нас как маленький ребенок: все уросишь. Далась тебе эта Половинка! Будто других нету делов в колхозе, как за Николаем Неволиним приглядывать!

– Ты, Семка, правду говоришь?

– Да не до шуток! Рассказывай сам мужикам про Власа, а у меня язык не повернется этакую байку говорить. Да мало кто и поверит. И некогда им торчать на этой Половинке. Поди, уже уплыли домой. Да нет, раз тебя не нашли – вряд ли кто в деревню поплывет. Че ты думаешь? На Половинку, как на грех, и Захар Демидыч приплыл. Я тоже хорош! Уплыл, никому не сказал. Меня тоже потеряют. Какой стыд! –

говорил Семен, отталкивая лодку от берега. Взяв в руки шест, с каким-то остервенением стал вскидывать его и упираться в дно, задавая быстрый ход лодке. Вода струйками стекала с шеста и мелкими каплями разлеталась по сторонам, серебрясь в лучах солнца. Николай с Семеном еще издали почуяли запах гари от дымящихся костров. Изредка доносились отдельные голоса. Мужики были на Половинке.

Дед Кунара, уставший от всевозможных разговоров и бесполезной беготни по берегу, незаметно от всех спустился к реке и сидел возле лодок, обхватив голову руками и сокрушаясь над постигшим всех несчастьем. Увидев выплывающую из протоки лодку, затряс головой, подумав, что ему померещилось, и закричал сколько было сил.

Иван с Илюшкой, сидевшие возле костра, услышав крик Кунары, побежали с визгом к лодкам. Увидев отца, Иван громко заплакал.

– Я ведь говорил, что дядька Семен привезет папку, а вы мне не верили, – всхлипывал он, хватая отца за руки.

Мужики подошли и подали Николаю костыли. У мальчишек давно прошел весь страх. Они наперебой рассказывали ему, каким был богатый улов у мужиков, как много они поймали нельмы.

Узнав о Влаसे и встрече Николая с Зосимой, у каждого сложилось свое мнение и суждение, но Захар Демидыч мудро сказал:

– Это дело житейское. Будет нужда – разберемся.

Больше всех тархтел дед Кунара, вспоминал подробности о жеребце Влаसे и, удивляясь, размахивал руками.

Наконец-то поставили варить уху, расселись возле костра, все тут же единогласно решили к будущей весне выстроить на покосе настоящую охотничью избушку для Николая и передать ее в его полное пользование.

За рытье землянки принялись сразу же после ухи, потому как к вечеру непременно решили воротиться в деревню, чтобы бабы не позвонили в Никитинск и не подняли переполох.

Николай сидел с мальчишками на берегу, слушал их сбивчивые рассказы и мысленно представлял, как на будущее лето вместе с ними на Половинке непременно будет бегать маленькая Агашенька.

Мужики работали быстро, будто наперегонки, предлагали Николаю сделать землянку попросторнее.

– Тут тебя никто не объедет, всяк лодку причалит, – то да потому говорили они. Каждый норовил примерить высоту заползая на свой рост.

– Бабы-то раскудахтаются! – предвидя, что будет на Половинке в пору весновок, похохатывал дед Кунара.

– Да че там весновки? – подмигнул ему Митроха, – главное заделье у мужиков тут будет. Какие покосы оставлены! Чистить их надо, а то колхозное стадо кормить нечем будет, а возле Половинки лучшие травы. Плавать только далековато...

Николая к рытью не подпускали, а только спрашивали что да как. Накатывали березняк на потолок, насыпали землю, закладывали ее дерном, прорубали оконце.

Много переживший в эти дни Николай крепился изо всех сил, чтобы не впасть в полное расстройство. Голова шла кругом от всего пережитого и перечувствованного. Понимая это, мужики про всякие насмешки забыли, оставив их до лучших времен.

– Двери вместе с косяками из плах и досок дома сделаем, – заметив, что работа подходит к концу, сказал Захар Демидыч.

– А новоселье когда справлять станем? – не упустив случая, спросил дед Кунара.

– Это само собой. Вначале оклематься надо, – впервые после возвращения с заимки произнес Семен. – Пойдемте чай пить да домой отправляться пора.

Доедали остатки ухи, потом пили горячий чай, заваренный листьями смородины.

– Едешь на день – бери запас на три, – вставил дед Кунара. И вдруг заорал не своим голосом, показывая рукой в сторону леса. Волей-неволей все обернулись. На опушке леса сто-

ял конь. Ветер трепал его гриву и закрывающую глаза челку. Выказывая намерение снова убежать в лес, конь нервно ударял себя по бокам длинным хвостом.

– Влас это, – оживился Николай, сделав несколько шагов на костылях навстречу коню. – Признал, разбойник, – ласково позвал его и остановился. Мужики как остолбенели, не могли вымолвить ни слова.

– Я еще вернусь! – крикнул Николай, на что Влас ответил громким ржанием и, круто повернувшись, прихрамывая, убежал в лес.

– Умная животиная, – сказал дед Кунара. Окончательно развеялись сомнения мужиков, утверждавших, что на заимку Николая увез сам Зосима.

Отплыв от берега на середину реки, они увидели стоявшего на самом краю Власа. Конь стоял с задранной вверх мордой: то ли обнюхивал воздух, то ли издавал тоскливое ржание.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

По деревне ходили всякие слухи и о таинственном исчезновении Николая с покоса, и о всеми забытом коне Влаसे, и о том, что нашли Николая на заимке, но в подробностях никто ничего не знал. Сколько бабы ни терзали своих мужей, плававших на Половинку, так никто из них ничего в подробностях не рассказал.

– Привезли рыбы вам на пироги – вот и вся наша работа, – отговаривались они. И даже словоохотливый дед Кунара на этот раз от всех отмахивался и молчал.

Встречу с Зосимой и Агашенькой Николай вспоминал как радужный сон и думал, что разговор с кержаком у них еще впереди.

Скоро ударили холода. По реке поплыла шуга, берега стали сковываться льдом. Мужики вытаскивали лодки: затаскивали в сараи или под навесы до будущей весны. Лодка Николая стояла на пустом берегу сиротой, пока Семен Савиныч и Митроха не убрали ее.

Оставалось ждать санного пути, когда будет проторена сеновозная дорога к колхозным зародам. Мало-помалу про Половинку перестали говорить. Как всем стало казаться, повеселел и Николай. Захар Демидыч постепенно вводил его в курс всех колхозных дел, твердо веря, что в скорости он заменит его. Чем бы Николай ни занимался, он ни минуты не жил без дум о заимке.

"Вот только установится санная дорога, непременно съезжу на заимку", – успокаивал он себя, вспоминая маленькую Агашеньку, на удивление сразу признавшую его своим. Он вспоминал ее крохотные пальчики, трогающие его губы и лукавый взгляд материнских глаз, выглядывающих из-за спины Зосимы. Почти каждую ночь он видел ее во сне и стоном будил Ольгу, которая думала, что это снится ему война.

Кто-то пустил по деревне слух: будто кержак был в Стре-

лебном, но обернулся тут же, даже не заглянул в лавку. Это мало походило на правду, но все-таки сердце Николая вздрогнуло: мало ли что могло взбрести в голову Зосима!

После встречи с Николаем жизнь кержака вроде как пошатнулась: отошли на задний план первостепенные дела по хозяйству, которые раньше были четко выстроены в его голове и от которых он никогда не отступал. Тут же все дела показались ему мелочными.

Однажды утром, потеплее одев Агашеньку, сам не зная зачем поплыл с ней на Половинку. Подплывал осторожно, лодку вел возле берега, прислушиваясь. У него не было желания встречаться со стрелебинскими мужиками и говорить с ними.

Увидев на покосе следы выкорчеванного молодняка, чернеющие круги потухших костров, Зосима немало удивился, а когда набрел на место выкопанной землянки, остолбенел. Такой земляной избушки он никогда не видал и даже побоялся из любопытства залезть в нее.

"Одному Николаю не поднять столько земли", – постояв, подумал кержак. Агашенька захныкала и стала проситься на руки и он недолго раздумывая заторопился к лодке.

Зима показалась Зосиме нескончаемо длинной. Заимка, на которой он прожил полтора десятка лет, вдруг стала казаться ему одинокой и всеми забытой, хотя и в прошлые года мало кто стучал в ворота и просился переночевать. Зосима стал замечать возле ворот лошадиные следы, он нисколько не сомневался, что это Влас. За воротами он стал оставлять навильник, другой сена. Иногда оно по неделе лежало нетронутым, и Зосима искренне сожалел об этом.

– Уходить нам с тобой надо, Агашенька, за Урал, к людям, – вслух говорил Зосима. – В Стрелебное бы хорошо, да на тебя все станут пальцем показывать. Мол, ты Николаев выблядок. А с такой отметиной в деревне жить будет несладко. Прожить-то прожили бы безбедно, да от людских языков не спрячешься. Вот зиму перезимуем, лето прихватим, а на следующую осень оставим заимку. Спалить хотел ее, да не

стану, пушай колхозники пользуются – не шибко богато живут. Можно бы и Николаю оставить, так ведь он нипочем не согласится.

В один из таких тоскливых вечеров к воротам подъехала подвода.

– Урманко-то совсем остарел, никакого голоса не подает, – засуетился Зосима, успев разглядеть сквозь проталину в окне лошадь, запряженную в сани-розвальни.

Он узнал колхозного жеребца и собственным глазам не поверил, признав в овчинном тулупе Николая. Тут уж Зосима захопотал: ворота распахнул, лошадь завел в сарай, набросив ей на спину войлочное покрывало.

На этот раз между ними уже не было прежнего напряжения и неловкости, хотя кроме "здравствуй" они поначалу не знали, что сказать друг другу. Увидев Николая на костылях, Агашенька, испугалась, вздрогнула и расплакалась, да так сильно, что Зосима долго успокаивал ее. Она перестала плакать, примолкла, но долго не смотрела в сторону Николая.

Теперь Николай выглядел совсем иначе, чем в тот первый раз приехав на Власе. Лицо его было румяным, в глазах светилась радость, да и каждое движение было ловким. Вылезая из саней, он взял в руки тулуп и несколько раз встряхнул, чтобы передать Зосиме. Глядя на Агашеньку, отметил про себя: "Как она быстро растет".

Николай рассказал, как он оказался на заимке, что провел его подводу через увал колхозный конюх по прозвищу Окурок, который еще осенью обещал показать просеку от колхозных покосов. Когда колхозники стали вывозить сено с дальних покосов, он не забывал напоминать Окурку о его обещании. Узнав об этом, Семен предупредил его: "Че с Николаем случится – тебе несдобровать!"

Окурок не отнекивался, на одной из колхозных лошадей ездил один торить тропу через крутой увал, только потом повез Николая. Довез до самой заимки. Заметив занесенные снегом санные следы, сказал:

– Тута доберешься сам. Я Зосиме на глаза показываться не стану. Пущай сам тебя и проводит через увал.

Услышав об этом, Зосима хмыкнул:

– Ну и варнак этот Окурок! Не выдержал. Мы через увал за Урал ходим. Он ведь тоже из кержаков, только веру опоганил и остался жить с вами. Пущай живет. От меня Окурку поклон передай. Скажи: не сержусь я на него. Будет охота, так пусть заглянет, у меня есть че ему рассказать.

– Завтра он пообещал меня возле увала встретить, – сказал Николай.

– Я и без Окурка тебя отвезу. – И помолчав, спросил: – А дома-то у тебя знают, что ты на заимке?

– Про это, Зосима, не то что дома, а вся деревня знает. Я с этим и приехал к тебе, чтобы не было печали, что Агашенька останется сиротой. Не могу я жить спокойно, – признался Николай. – Ольга моя, не скажу, чтоб с великой радостью, но сказала: "Если отдаст Зосима девчоночку, вези. Пусть у нас живет. Не побижу". И немного помолчав, добавил: – Ясное дело – Ольга не ровня Агаше! А куда я, калека, без нее? Да и парнишек надо растить. Ей одной с ними не справиться, шибко бойкие.

– Есть в кого, – проямлил Зосима. Ошарашенный услышанным, он долго не мог проронить ни слова. Он что-то все хлопотал, часто выбегал из избы в сени, в сарай, на ночь глядя стал разжигать печь, засветил лампу.

– Да присядь ты, – попросил его Николай. Он не представлял, что сказанные слова так растревожат кержака.

– Ты, Николай, хоть разумеешь че говоришь? – присаживаясь поодаль, спросил Зосима. – Ты хоть думаешь, как побидел меня? Как же я стану жить без Агашеньки? Это кому я буду нужен на старости лет? Да я сразу же помру. Ты с этим приехал ко мне? – зарыдал Зосима, пряча лицо в ладони. Агашенька, тут же оставив своих котят, подбежала к нему и стала проситься на руки.

На улице разыгралась метель, ветер шевелил оторванные над окнами доски наличника, и они монотонно скрипели, не

закрытые на ночь ставни постукивали в стену, будто спрашивали: "Не мешаем ли хозяевам спать?"

В избе повисла гнетущая тишина. Николай не знал, как дальше вести беседу. К счастью, Зосима заговорил первым:

– Для чего это колхозники вырыли на Половинке такую яму – не яму, избушку – не избушку?

– Ты видел?

– А как не видел? Сплавал на Половинку, походил по покосу, поглядел, как почистили его, а как на земляную яму набрел, долго кумекал: для чего? Так понять и не смог. Скажи, на что рыли эту яму? Под силосную яму – так далеко от Стрелебного.

Николай объяснил, что хочет приспособить ее вместо избушки. Вдруг ему очень захотелось курить. И табачок был в кисете, и бумага, но знал, кержак не переносит табачного дыма, ему по вере курить возбраняется. Пришлось утолить жажду холодной водой. Он ее уже столько выпил, что чувствовал, как она булькает в животе.

– А как ты думаешь, если я из лодки стану сразу перебираться в эту землянку? Вытаскивать все из лодки не на берег, а сразу на порог?

Зосима долго молчал.

– И на что она тебе? Земля – и есть земля. Сырь в ней и холод.

– Так ведь удобно: подплыл, уткнул нос лодки в порог и сразу в заползае. И с чего это ты взял, что я один в нем буду? Мужички наши не оставят меня одного! Если кто туда поплывет, обязательно завернет к заползаю. На хорошем месте Половинка: что от Стрелебной, что от заимки. Мимо никто не проплывет. Даст Бог, Агашенька подрастет, навещать меня будет, ежели вы с ней в Стрелебное не переберетесь.

Зосима заворочался, заскрипели под ним пересохшие доски.

– Нече нам делать в Стрелебном, да и заимку пора оставлять. – после долгого молчания сказал кержак.

В избе было сильно натоплено, Николай отбросил в сторону

стеганое одеяло, которое достал ему Зосима из сундука, на-
верное приданое дочери, встал и зажег стоявшую на столе
лампу. Начатого Зосимой разговора оставлять не хотел.

– Весной на Половинке избушку поставят, а заползай
только на самый необходимый случай, – сказал он, будто не
слышал, что сказал ему Зосима.

– Ниче не скажу – мудрено придумано, ежели еще избуш-
ка будет срублена, совсем славно. А про Агашеньку-то ты че
говорил? Или я ослышался? Ты и вправду думаешь, что она
к твоему заползаю навевываться будет?

– А как не будет? – удивился Николай. – Я вот самый на-
стоящий документ для тебя привез, чтобы ты знал, что Ага-
шенька по закону считается моей дочерью. Я признал ее по
всем правилам. Она и отчество мое носить будет: Николаев-
на. В район бумагу писал. Ты ведь хотел, чтоб я ее дочерью
признал? Или думаешь, я испугаюсь? Все права у нее будут,
как у моих мальчишек.

– Меня-то ты че не спросил?

– Че спрашивать? Сам же все пытал: твоя или не твоя.
Теперь не на словах, а по документу: моя!

– Неужто ты думаешь, что отдам тебе мою кровинку? –
закричал кержак. – Да я лучше себе пулю в лоб пушу, чем
с ней расстанусь!

Вдруг со всей силой грохнулся на колени перед образами
и начал молиться, простирая вверх руки. Он задыхался,
казалось он не может вздохнуть. Звуки вырывались редкие,
но громкие, словно кто-то сжимал ему горло.

Захныкав, проснулась Агашенька, босыми ножками про-
топала по половицам и, к великому изумлению Николая, то-
же встала на колени рядом с Зосимой.

Николай оторопел, его охватил какой-то страх: он встал
с лавки и долго смотрел, как молится старик с девочкой. Зо-
сима не унимался, еще громче начал молиться, склонившись
над Агашенькой. Смотреть Николаю на Агашеньку, которая
неумело копировала все жесты Зосимы, было невыносимо, и

Николай, присев возле нее, попытался дотронуться до ее плечика. И тут услышал ее невнятное картавое, но крепко заученное: "не тлогай миня!"

Николай больше не мог на них смотреть, он взял в руки стоявший на столе ковш, полный воды, и плеснул в разгоряченное лицо кержака.

Тот, захлебнувшись, встал и, подхватив Агашеньку, завопил:

– Бог милостив! Бог милостив! Обережет невинное дитя!

– Что же это такое! – громко крикнул Николай, в сердцах грохнул по столу попавшей под руку деревянной скалкой. – Это что за припадки!? Этому ты собрался учить ребенка? Ты что несешь? Ишь, овечкой притворился, а я уши развесил. Заберу у тебя Агашеньку! И спрашивать не стану! – закричал Николай, сбрасывая со стола все, что попадало под руки. – Ишь че он умеет устраивать!

Зосима мало-помалу приходил в себя: отирал мокрой ладонью лицо, бороду, рубаху. Воспаленных глаз не поднимал, дышал тяжело и шумно. Агашенька, глядя то на одного, то на другого испуганными глазами, расплакалась. У него сжалось сердце и он не говоря ни слова схватил ее и крепко прижал к себе, и она в бессилии уронила кудрявую головку ему на плечо.

– Запрягай лошадь! Собирай Агашеньку! Ишь, какие припадки устраивает, какие песни распевает! Увезу ребенка! Пусть среди людей живет! От такого страха и бедная Агаша померла. Представляю, как ты из нее душу вытряхивал! – закричал Николай. – Ты ее на тот свет отправил! Ты! Лошадь запрягай! Быть под твоей крышей не хочу и часа, – разнервничался Николай, торопливо одеваясь.

– Рано ишо, – простонал Зосима, еле-еле сползая с лавки.

– Поедем. Агашеньку одевай, – и он медленно сел на лавку, будто вдруг из него вылетела душа.

– Смилуйся! Прости меня, грешного! – завопил Зосима. – Погубить меня хочешь? Возьмешь Агашеньку – завтра же порешу себя. Не жить мне без нее.

Николай отлично понимал состояние Зосимы и те перемены, которые могут произойти в его жизни, но оставить все как есть он не мог.

– Вот, бери и храни, – и отдал ему бумажку об удочерении Агашеньки, которую намеревался вручить как подарок. – Если хоть один волосок упадет с ее головы, держать ответ будешь перед Богом. И не только за нее, но и за смерть Агаши.

Зосима, не скрывая слез, плакал.

– Я провожу тебя, – сказал он чуть слышно.

– Но-о-о-о! – крикнул Николай, натягивая вожжи.

Полозья скрипнули. Лошадь легко угадывала еще не занесенный снегом след и бежала рысцей, досыта накормленная овсом. Зосима стоял возле распахнутых ворот, сожалея о таком грустном расставании, но совсем не держал на Николая обиды, а корил себя, что не справился со своим нравом.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

По весне на Половинке срубили добротную охотничью избушку. Для запользя привезли выструганные из теса двери, плахи для пола, лавки и топчаны, сколотили стол. Одному Николаю, рассуждали мужики, в запользае делать нечего. Для общего сбора место – самое подходящее.

Пока мужики работали на Половинке, Семен Савиных не поленился сплавить на заимку. Как-никак прошла зима.

Подплывая, заметил, что на вешках нет мереж, да и на берегу ни одной лодки. Запустение было всюду: ни следов скотины, ни лая собаки, ни тропки. Каково же было его удивление, когда издали он заметил заколоченные окна зосимовской избы. Семен приостановился и присел на полусгнившем пне, не испытывая желания одному заходить в ограду. "Оставил кержак заимку. Не спалил, как грозился, а оставил", – подумал Семен. "А как же Николаю сказать? Девчушку-то он с собой увез".

Известие о том, что Зосима оставил заимку, колхозников удивило.

– Сколько волка ни корми – он все в лес смотрит, – сказал на это Захар Демидыч.

Нельзя сказать, что Николай впал в уныние. Он предполагал, что Зосима никогда не забудет того вечера, того разговора и гнева Николая и всеми силами будет стараться, чтобы Агашенька как можно меньше слышала о нем, а еще лучше – совсем не узнала.

Зауралье – сторона дикая, людьми мало исхоженная, привольная для беглого люда, скитальцев и отшельников. Николай, конечно, не хотел такой участи для дочери. По той бумаге, которая осталась у Зосимы, Агашеньку отыщут. Она законно носит его фамилию и отчество и стоит ему захотеть – он ее найдет. "Всему свое время!" – рассудительно решил Николай.

Ольга же, узнав от Марфы о том, что Зосима с внучкой оставил заимку, крадучись от всех зажгла лампадку и молилась всю ночь до рассвета, пока не проснулись мальчики.

Скоро к Половинке одна за другой стали причаливать лодки. Мужики заезжали не только ради праздного любопытства, но и помочь Николаю заготовить на зиму сена. Некоторые оставались с ночевкой, и редко кто спал в избушке, большинство любили заползай.

Приезжали сюда сенокосники, рыбаки, охотники не только из Стрелебного, но и других соседних деревень. Скоро заползай стал излюбленным местом на реке, здесь не обходилось без веселья. Раздольные песни все чаще стали разноситься по округе.

Ольга попервости с охотой бывала на покосе. Без нее Николаю со многими делами справляться было бы нелегко. Она только и слышала: "Принеси, подай, перетащи". После того как Зосима с Агашенькой исчезли с заимки, ревность Ольги улеглась, и она стала бывать на Половинке реже. А мальчишки приезжали сюда часто, особенно в первые годы, когда Николай приручал Власа. Вычищенный, с расчесанной гривой, постриженной челкой Влас катал их по покосу. Сам же Николай при людях никогда не садился на лошадь. Колхоз выделил ему для работы на покосе хорошего жеребца, но Николай отказался от него, ссылаясь на то, что Влас еще хоть куда.

И только в редкие дни, когда никого не было рядом, Влас подставлял Николаю спину, и тот, садясь в седло, ехал известной тропой на заимку.

Там, у сторожа Пахома, где хранились теперьколхозные сенокосилки и разный инвентарь. Николай по-прежнему предавался воспоминаниям. Сторож говорил, что на заимку иногда приходят богомольные монашки, разговаривают мало и почтенно, долго не задерживаются. Николай допытывался: не спрашивал ли кто из них о нем, но Пахом этого припомнить не мог.

...Приближался двадцатый День Победы. Стрелебинцы, привыкшие встречать его на Половинке, мало-помалу стали отказываться от поездки туда. Состарившиеся солдатские вдовы, которые в первые годы нарадоваться не могли выдумке Николая, теперь наотрез отказывались плыть, ссылаясь на холодную погоду и нездоровье.

Молодухи и вовсе кляли на все лады неволинский заповозжай, считая, что там творятся разные дела, из-за которых происходят разлады в семьях.

Не один раз они писали письма в Никитинск с просьбой распахать Неволинские покосы под зерновые, чтобы разорить гнездо, куда уплывают мужики с первыми льдинами из дому как одурелые, бросая все домашние дела. И Николай со временем стал сплавляться на Половинку позже обычного, особенно после того, как окошел Влас. Ему на покосах стало одиноко.

К этому времени он уже председательствовал. Захар Демидыч с честью ушел на пенсию. Вернулись с войны еще трое израненных мужиков с орденами и медалями во всю грудь. Семену Савинычу сделали операцию – вырезали грыжу, теперь от надсады у него стала болеть правая рука и он уже не ездил метать зароды. Дед Кунара еще "скрипел", не гнушался пропустить чарочку. Он купил патефон и, поставив его на подоконник, крутил разные пластинки с фокстротами и вальсами. Илюшка с Иваном уехали учиться. Иван уже справил свадьбу. в каком-то городе металлургов. Хлопот с этой свадьбой было располным-полно. Пришлось продать стельную телку и послать деньги.

К тому времени Николаю, как председателю колхоза, был куплен лодочный мотор "Вихрь", так что до заповозжая он добирался быстро.

Прошли уже первые заморозки. Николай собирал в заповозжае вещи, сбрасывал их в лодку. Закрыв дверь, потянулся рукой до стрехи, чтобы спрятать ключ, и тут его взгляд упал на ствол березы, на вырезанные ножом буквы: Н Н+А Б. Из рук

выпали костыли. Он сел прямо на землю, вспомнив, как вырезал на небольшой березке эти буквы, ожидая Агашу. "Николай Неволин + Агаша Бурмантова". Береза выросла, ствол поднял ввысь вырезанные буквы, теперь можно было увидеть только задрав вверх голову.

– Господи! – простонал Николай, обхватив голову руками. У него учащенно забилося сердце, как билось тогда. Не помня себя вскочил в лодку, завел мотор и, обрызганный волнами, вывел лодку на середину реки. Он несся в сторону заимки, ревом мотора вспугивая стаи птиц, гнездившихся по берегам. В эти минуты он походил на того безрассудного Николая, вернувшегося с войны.

Он и сам не соображал, для чего плывет на заимку. Но сердце не давало покоя, оно трепетало, ныло, болело! И радовалось! Холодный осенний ветер и морозящий дождик хлестали в его разгоряченное лицо, но он не замечал этого, а только смахивал с него брызги и слезы, ощущая на губах их солонуватость.

Неожиданно мотор заглох и лодка, по инерции еще хлопая днищем по воде, медленно закачалась на волнах.

Николай, оглядев берега, понял, что проскочил протоку на заимку. Теперь надо было проплыть версты две назад к счастью, мотор заглох без особой причины: поправить шланг не составило большого труда.

Сторож Пахом не помнил, когда к нему заглядывали в последний раз. Он уже собирался домой, в Стрелебное, но, представляя нелегкий подъем по реке, все откладывал его со дня на день в надежде дожидаться попутчика. Услышав рев лодочного мотора, он побежал к реке, вспомнив разговоры мужиков о приобретенном в колхозе лодочном моторе.

Вид Пахома был, мало сказать, неряшливым. Увидев его случайно, можно было испугаться: старый пиджак с чье-то плеча и порты, подпоясанные измусоленной веревкой, были во многих местах порваны, из наспех надетых бродней торчали грязные портянки. Отросшие густые волосы

топорщились в разные стороны. И только большие серые глаза, сияющие радостью, облагораживали давно не бритое лицо. Узнав Николая, Пахом всплеснул руками, забрел в воду и, не дожидаясь, пока заглохнет мотор, схватился за борт, словно боялся, что он уплывет.

– Ополоснись, – сказал Николай Пахому вместо приветствия.

Николай жадно глядел на заимку, будто впервые видел этот дом, покосившиеся прясла, почерневшие от дождей и ветров домашние постройки.

Николай остановился возле длинной почерневшей поленницы аккуратно сложенных березовых дров, у него не было никаких сомнений, что это дело рук Зосимы. Увидев громадный чурбан с многочисленными отметинами от топора, сел, поставив возле себя костыли.

Погода хмурилась, низко проплывали темные тучи. Неизвестно с какой стороны дующий ветер шевелил нескошенную траву. Появившаяся в небе стая гусей с гоготом кружила над прибрежными озерами, отыскивая место для ночлега.

– Экие красавцы! – восхитился Пахом. – Первую стаю вижу. Холод почуяли.

Николай не проронил ни единого слова, находясь в состоянии непонятной заторможенности.

– Может, уху похлебаешь? Вкусная рыбка, только утром достал из мережи, – сказал Пахом, подходя к Николаю. – А может, в дом пойдем, полежишь?

– Погоди, Пахом, не суетись, – вздохнув, сказал Николай. – Рассиживаться-то некогда. До темноты надо домой успеть – Ему хотелось побыть одному, вспомнить давно прошедшие времена.

Порывы ветра принесли первые крупные капли дождя.

– Давай живо собирайся, – немного успокоившись, сказал Николай. – Поплывем вместе. Ты тольконими с себя эти лохмотья. На тебя глядеть тошно. Самому-то не стыдно таким оборванцем людям показываться?

– Да какие тут люди? Хоть нагишом ходи. На будущий

год наплевать я хочу на эту заимку. Совсем одичать можно. И че тут охранять? От кого охранять? – И он бегом побежал в избу, где было собрано все к отплытию.

Пахом быстро передел порты, сменил рваный пиджакишко и обул бродни почище и поновее. Долго и старательно закрывал на засовы двери и ворота. Бежал к Николаю, еле тащил на плечах тяжелый куль со скопившимся скарбом.

– Че приезжал-то? – не удержался от вопроса Пахом, уложив все в лодку. – Неужто обо мне вспомнил? – не получив ответа, снова спросил сторож.

– Хоть на человека стал похож, – сказал Николай, взглянув на Пахома, будто не слыша вопроса.

Какое-то время Пахом сидел в лодке, закрыв ладонями уши, но понемногу стал привыкать к рокоту мотора, любясь кипящими под винтом волнами. Ехали молча, удивляясь быстро мелькающим берегам и покосам со сметанными стогами сена. "Сколько бы пришлось пыхтеть!" – думал Пахом, растянувшись на сенной подстилке на дне лодки.

– Вот ведь какой дурень я! – вдруг закричал Пахом, нечаянно засунув руку в карман пиджака. – Я ведь совсем забыл. Ишо в сенокосную страду мимо заимки проходили староверки и даже заночевали. – Николай не расслышал, о чем говорил Пахом, но когда тот протянул ему сверточек, похожий на сшитый кисет, сразу выключил мотор. Лодка какое-то время еще летела вперед, рассекая реку пополам, но скоро остановилась, закачалась на волнах.

– Тебе было велено передать, – громко крикнул Пахом, доставая из куля какую-то лопатину, чтобы укрыться от встречного ветра. Николай взял сверток, почуяв странное волнение. Хотел подождать до дома, но любопытство взяло верх.

– Пахом, бери весло, причалим к берегу.

"Че за надобность? – подумал тот, приподняв голову, но перечить не стал. – К берегу, так к берегу. Будто дома не будет времени поглядеть, че в этом лоскутке. Знал бы, так

в деревне и отдал. Столько времени в кармане валялось", – бурчал он про себя, проворно работая веслом.

Вышли на берег. Пахом засуетился разжечь костер, но Николай остановил его. Не сразу ему удалось высвободить из кисета содержимое: все было аккуратно упаковано. Пришлось доставать перочинный нож, чтобы разрезать край.

На листочке, разлинованном в крупную клетку, аккуратными буквами было выведено: "Будущей весной, сразу после ледохода, навещу Половинку. Аграфена Николаевна Неволлина".

Николаю понадобилось какое-то время, чтобы сообразить, кто такая Аграфена Николаевна. "Господи милостивый!" – само собой вырвалось из груди, пальцы непроизвольно сжались в кулак, и он поторопился упереться лбом о стоявший возле дерева костыль. "Агашенька! Это Агашенька!" – стучало в висках. Николай никогда не забывал Агашеньку, которую Зосима увез с собой в Зауралье. Поначалу в деревне постоянно говорили об этом, но со временем все позабылось. Ходивший много лет назад в Зауралье конюх Окуроч говорил, что Зосима умер от сердечного удара, а девчоночка вроде где-то учится. Но видеть ее не видел. Полученная записка была от нее, и на этот счет у Николая не было никакого сомнения. Николая охватило чувство невыносимой вины.

Пахом прошелся по берегу, случайно набрел на смородиновую ложбину с такими крупными спелыми гроздьями ягод, что готов был просить Николая остаться на часок-другой, но Николай сидел с таким отрешенным взглядом, что у Пахома язык не повернулся сказать об этом.

– Может, поплывем? – через какое-то время спросил Пахом. В ответ Николай только кивнул.

Поднялся на костыли с трудом, а завести мотор уже не смог – не хватило силы в руках. Пахому пришлось самому справиться. Обеспокоенный состоянием Николая, он уже не лежал на дне лодки, а примостился рядом. "Неужто порча была

в этом кисете? Может, че нюхнул и отшибло память. Скоко времени тот пакет в руках держал? Меня, слава богу, колдовство обошло стороной", – со страхом думал Пахом, искоса посматривая на Николая. Ничем другим он не мог объяснить такие перемены в его настроении.

Река и порывистый вольный ветер вдохнули в опустошенное сердце Николая силы. Услышав лай собак, отзывающихся на рев мотора, которые бежали вдоль берега, обгоняя друг друга, приободрился. На шум мотора деревенские мальчишки выбежали на берег, да и любопытные стрелебинские мужики не отказали себе в удовольствии еще раз посмотреть на моторку.

– Про пакет никому не говори! – попросил Николай, когда они причалили к берегу.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

За колхозными заботами проходила зима. Домашние заметили, что ближе к весне Николай каждый день стал зачеркивать карандашом числа.

В этот год весна не опаздывала: вовремя прилетели грачи и успели справить свой праздник, раньше времени стали образовываться на льдинах проталины. Николай, не успев проснуться, подходил к окну и стоял, думая о своем, пока Ольга не начала ругаться и кричать, что самовар давным-давно остыл.

В то утро, когда на реке грохнуло, с силой толкнуло в берега, Николай вскочил с кровати, как от разрыва бомбы. В два прыжка оказался возле окна, облокотился на подоконник и смотрел, то и дело облизывая пересохшие губы. Он видел, как двинулась с места льдина с низенькой копешкой сена, оставленной дня два назад Мишкой-Ершом, который, по случаю вывозки сена с покосов, запировал, да так и оставил копну возле самого берега. Встревоженные грохотом собаки бегали, задрав морды, ловя незнакомые запахи, принесенные движущимся льдом. Николай увидел, как на берег выбежала Капитолина, на бегу обматывая концом шали тонкую шею. Остановившись, она стала бросать в воду куски хлеба с солью. "Мало кто старые приметы хранит, – подумал он, – а река скудеет. От нашего нерадения скудеет. Ежли бы каждый вот так, как Капитолина, видел в ней кормилицу, не перевелась бы в ней рыба".

– Чуешь, ледокол-то какой ветрище с собой тянет! Все вокруг скрипом закрипело, – услышал он сонный голос Ольги.

Николай тряхнул головой, и продолжал наблюдать за темным пучком сена, подхваченным ветром, который подпрыгивал на твердом весеннем насте.

Скоро слышались Ольгины причитания и жалобы на свою несчастную жизнь и бабью долю.

Николай посмотрел на бледноватое лицо Ольги, светлые волосы, спадающие тонкими нитями до плеч, большие руки с уз-

ловатыми пальцами, не подходившие к ее девичьей фигуре. Он знал, что они огрубели от нелегкой работы: от косьбы сена, пилки дров, от работы на огороде и дома. Они всегда были готовы помочь ему, Николаю. Он жалел Ольгу, но любви к ней не было. Он не мог забыть свою любовь с кержачкой. Она не проходила с годами, жгла его сердце. А теперь вот таинственное письмо, Агашин отклик! Страдая и каясь, он все равно благодарил судьбу за счастье, которое у него было. Не будь у него этой любви, он давно бы стал стариком: иссякли бы его силы, не клокотала душа, не трепетало бы сердце, потерялся блеск в глазах. Ольга удивительным чутьем догадывалась об этом.

В последние ночи перед ледоходом Ольга часто просыпалась от его стоны, полубреда, смотрела на его разгоряченное лицо, приподнятые брови, большой полуткрытый рот с красными, будто обветренными на морозе губами. "Красивый еще, — думала она, подозревая, что у него есть какая-то зазноба, с которой он встречался в своем заповье. — Тама, поди, у него кто-нибудь бывает, кто-то греет его". Она сама испугалась своих мыслей и тем не менее перебирала в уме всех молодух и солдатских вдов, живущих недалеко от Половинки. С другой стороны, она понимала, что давно молва бы вперед всех прилетела! Раньше она ревновала к заповью да еще этой несчастной заимке. Тогда ради ребятишек все терпела, а теперь сыновья выросли, улетели из родного гнезда, а ревности только прибавилось. Неласков с ней был Николай, но тогда это ее так не ранило, не заставляло дрожать губы, как теперь. "Возьму и не пуцую его ноне на реку! Не пуцую — и все тут. Хворой притворюсь, пуцай кого хочет зовет с хозяйством справляться, али лучше заставлю коровенку продать и тогда вместе с ним к этому несчастному заповью стану плавать. Че мне без него дом-то сторожить?" — думала она, растравливая себя.

— Оденься или опять ждешь, что я соскочу да наброшу на тебя каку лопатину. Привык — всю жисть за тобой как за маленьким ребенком хожу: то принесу, то подам, то подволоку.

– Голос Ольги был тихий, монотонный. Николай не слышал ее слов, не слышал шагов и даже не шелохнулся, когда она набросила на него шерстяной жакет. Николай стоял у окна, схватившись за подоконник, словно примеривался, как легче вывернуть его из крепких пазов. Весь он был напряжен и сосредоточен.

Упершись лбом в переплет рамы, он смотрел на реку исподлобья и ничего не слышал, кроме шуршания и треска барахтавшихся в темной воде льдин.

– Нынче и поплыву, – проговорил он и, ловко крутанувшись на одной ноге, очутился лицом к лицу с Ольгой. – Погляди, середина реки уже свободная.

В ответ Ольга моргнула красноватыми веками, посмотрела в окно и увидела Капитолину. Сложив на груди руки крест накрест, вытянув длинную шею, она была вся в напряжении, как перед взлетом старая гагара. Но Ольге было не до нее. Услышав слова Николая, она зло бросила:

– На погибель, че ли, торопишься? – Она понимала, что возражать в такие минуты Николаю бесполезно. К этому Ольга привыкла, и поэтому больше уже не перечила. Ей ничего не оставалось как только ворчать. Она знала, что он ее не слушает, все ее слова пропускает мимо ушей.

– Закаркала, – недовольно проговорил Николай, в три упругих прыжка очутился около костылей. Опершись на них, он с минуту стоял в задумчивости, вроде не знал куда идти. Резиновые колпачки, надетые на концы костылей, поскрипывали под тяжестью тела.

– Че стоишь? Собирай, а я к лодке пойду, – сказал он растерявшейся Ольге.

– Одумайся! Затмение како на тебя накатило ноне? Возле Меркушевского поворота экий затор. Ты, поди-ка, получше меня знаешь.

– Знаю – потому и велю собирать, а че тама у Меркушевского поворота будет – не твоя кручина.

– Пропади он пропадом, твой заползай! Скорей бы смыло

его! Все бабы перекрестились бы! Дошли бы мои молитвы до Бога, – запричитала Ольга, повязывая платок вокруг головы.

Николай верил и не верил собственным ушам. Он никогда не слышал, чтобы Ольга так откровенно ругалась, так громко говорила о том, что ему было не по душе. Может быть, в ее терпеливом молчании, безропотности и была вся сила, которая удерживала его возле нее долгие годы.

– Поговори! – плотая ргом воздух, проронил Николай.

– А че бы и не поговорить!?! Укатишь опять на свой заповзай до самой осени и живи тут! – не сдавалась Ольга.

С улицы донесся тонкий, почти девичий голос Капитолины. Ольга птицей подскочила к окну. Еще не зная в чем дело, ойкнула, по быстрому бегу Капитолины угадала неладное, побежала на улицу.

Лицо полоснуло ветром. Слетающие с крыш изб и сараев заледеневшие снежинки секли щеки. Черные доски деревянного настила трещали и щелкали под быстрыми шагами.

– Унесет дрова-то, унесет, – кричала Капитолина, сбрасывая верхние поленья с аккуратно сложенной поленницы. – Говорила: складывайте подале, так оне ведь все на свой манер, лишь бы скорее. А вода-то прибывает, да такая жгучая – руки так и жжет, – говорила Капитолина не оборачиваясь. – Дровишек-то немного, а жалко, – Капитолина шумно дышала, изредка покашливая от быстрой работы. Нижние клетки поленницы уже плавали в воде.

– Брось их, пусть плывут. Не морозь руки, а то опять ныть начнут. – Капитолина будто и не слышала Ольгу. Она настоуженно смотрела на плавающее полешко, чтобы не промагнувшись схватить его.

– Ну спасибо, опять помогла, – сказала Капитолина, обтирая руки о подол широкой черной юбки.

От разбросанных поленьев напахнуло сосновой прелью. И вообще ледоход принес с собой новые запахи, различить которые с первого раза было невозможно. Все вокруг приобретало новизну, будто все враз вздохнуло, пошевелилось,

повернулось, хотя и было на прежнем месте. В воздухе летала звень приближающейся весны, и Капитолине казалось, что она где-то рядом и вот-вот покажется из-за угла старого мехоношинского дома.

Лицо у нее разругмянилось, морщинки на щеках разгладились, нос заострился. – Слава богу, скоро и леточко красное придет, – сказала она Ольге. – Гляди, солнышко-то какое катит! – Она сощурила глаза, повернула лицо в сторону ярких лучей и с минуту так стояла. – Мой-то Мефодий, наверно, в такой блаженный день погиб. Белку в глаз стрелял, шорох лисий за версту слышал, глухариное щелкание за пять речных поворотов. А как весну любил, млея от весенних запахов, пьянел, память терял – надышаться не мог. Сказывал мне: в эту пору у него в голове все кружмя-кружило. Я вот теперь, когда столько годов после войны прошло, вспомнила. Заставила Афанасия отцовскую похоронку посмотреть. Сама-то и по сей день боюсь ее в руки брать. Он прочитал: так и есть! Была весна. Мефодий-то на нее и загляделся. А пуля его тут и подкараулила.

Ольга смотрела на Капитолину и удивлялась: за все послевоенные годы никто никогда при ней не говорил с ней о смерти мужа, потому что с ней приключался припадок, а тут она сама: Мефодий да Мефодий.

– Че смотришь-то? – спросила она Ольгу, – Думаешь, жисть прошла, так и память отсохла? Не-е-е-т, голубушка. Память живуча. К старости в ней высвечивается каждый светлый день. В моей жизни самый главный – ледоходный! Мне Мефодий в ледоходный день сказал самые главные слова, которых мне на всю жисть хватило, держу их подле своего сердца.

Капитолина вроде споткнулась, вздрогнула всем телом, повела плечами и, спрятав лицо в ладони, пошатываясь, пошла к своей избе, потом обернулась и проговорила:

– Не гневи Бога, Ольга. Счастливей тебя среди нас нету. Никола хоть и калека, а всю жизнь подле тебя ползает али ты подле него.

Виляя хвостом, на берег выбежала коротконогая собачонка Жучка, обнюхивая дорогу, клочки сена, щепу, вытаявшие и почерневшие на солнцепеке конские комья помета.

На воротах крайнего к берегу дома щелкнула щеколда. Ольга по шаркающим шагам, хриплому дыханию узнала Нестора Ионовича Арапова. Сухопарый старичишко, будто свитый из лесных корней, обтянутых кожей, не вытерпел, пошел посмотреть на ледоход.

– С ледоходом! – услышала Ольга. – Никола-то, поди, к заползаю собирается? Пригожее облюбовал место. На самой крутизне, на самой речной развилке: никто мимо не проплывет. Дал бы мне Бог здоровья еще там побывать, воздухом соснового бору подышать, на перекат поглядеть, рыбки свежей отведать. Вместе с ледоходом щука на нерест идет – хвостом лед крошит. А ушишка из нее какая! – Нестор Ионович попытался щелкнуть языком, да только облизнул губу.

Ольга заметила, как он вдруг помолодел, оживился. Еще вчера лежал, стонал, собирался помирать, а сегодня на ногах и бодр. На нем были серые подшитые пимы, на плечах старый полушубок. Кривыми пальцами он мусолил завязки кроличьей шапки, оберегая уши от холодного ветра. Ольга помогла завязать ему тесемки.

– Никола-то к заползаю собирается? – снова спросил старик, обернувшись на шуршащие возле берега льдины.

– У него только одна забота, боле ни о чем не думает.

– Не говори на мужика напраслину, – защитил Николая Нестор Ионович.

– Прямо как заколдованный ваш заползай. Никакие разливы его не затопят, не смоют, – стояла на своем Ольга.

– Не гневись. Без заползая потухнет Николай. Пошаает, пошаает, как головешка, и потухнет. А он у тебя вон еще какой бравый! Даже кудрей не растерял. А все от того, что на воле -просторе живет и не без работы. Кому-кому, а тебе грех на судьбу пенять.

"Как сговорились, – подумала Ольга и, тряхнув головой,

искоса посмотрела на Нестора Ионовича. – Пожили бы возле него, так узнали бы, какова моя доля" – и вспыхнула, чувствуя, как румяные пятна пошли по лицу.

– Не нравятся тебе мои слова. Вроде хочешь сказать, что тебе тоже не легко. Оно и верно. Калеки – люди капризные, злые. Их и понимать надо. Они ущербность свою перед здоровыми чувствуют. Че, к примеру, твой Николай? Все ползком. Все руками землю царапает да на заднице вокруг кружит. Я как увидел его в первый день, так на всю жизнь запомнил. Так и стоит у меня перед глазами, как он с табуреткой плясать пошел. Помнишь? На костылях еще стоять не мог, а как выпил бражки, они у него совсем расплзлись. А душа-то у него певучая. Схватил табуретку и на одной ноге с ней выкомаривал. Табуретка стучит об пол, а он все над ней кланяется. Нет чтобы каку бабенку обнять али с тобой покружиться, а он с табуреткой. Помнишь?

Ольга замерла, услышав в точности описанную стариком картину двадцатилетней давности.

В этот момент раздался грохот, под ногами дрогнул берег, Жучка, твякнув, поджав хвост, полезла в подворотню.

– У Меркушевского поворота затор прорвало, – приложив сухую ладонь ко лбу, сказал Нестор Ионович. Он снял шапку, поклонился реке: – Беги, беги, матушка, торопись! С тобой всегда жить веселее.

Ольга засемила во двор. В конюшне мычала корова. Не успела она открыть дверь, коровенка вылетела из конюшни как шальная: ударилась боком о косяк, выкатив глаза, задрала морду. Уши встали торчком, ноздри пошевеливались, улавливая тревожные весенние запахи, и вся ее пестрая кожа вздрагивала.

Новый грохот разбудил всю деревню: стало шумно, в воздухе летали звонкие, непонятные голоса, брэнчали на коромыслах ведра, лаяли собаки, бухали топоры. Из труб над крышами повалил дым. Ветер разметывал густые струи дыма в клочья, размахивая по сторонам, будто кто кадиллом святил и очищал землю.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Пока Ольга была на берегу, Николай, расхаживая по избе, нервничал и вовсе не из-за того, что она на улице разговаривает с Нестором Ионычем и Капитолиной. У деревенских баб заведено: пока все новости друг другу не расскажут – не разойдутся. Его волновала предстоящая встреча с Агашенькой, которая сама назначила ему свидание, еще осенью передав записку с Пахомом. Сколько дум передумал Николай за длинные зимние ночи! Он, конечно, мог бы об этом сказать Ольге, все давно быльем поросло, но не хотел. Ему вообще было не-приятно, когда кто-нибудь хоть словом, хоть намеком пытался напомнить ему о кержачке или об оставленной им сироте Агашеньке. Даже Семену, самому близкому человеку, он не сказал об этом.

– Тебя только за смертью посылать, – увидев на пороге Ольгу, сказал Николай, сбрасывая с полки все, что надо было нести к лодке.

– Куда ты один-то? На берегах травинки еле-еле проклюнулись, со всех сторон сырью тянет, а он как угорелый к своему заползаю!

Раньше, когда парни еще не уехали, он брал их с собой, а потом перестал. Ольге он объяснил это тем, что будто для них там простудно, что толку от них нет, ленивыми растут, и ни для какого дела их не докличешься. А она их все равно отправляла. Теперь ребята разлетелись, а он все к своему заползаю. "Да и этот старый пень Нестор Ионович туда же!" – думала она, складывая в мешок вещи и нехитрую еду.

– Не забудь фарфоровую кружку положить, – крикнул Николай на кухню.

– На что она тебе? Тама кружек полным-полно. Скоко мужиков перебивало, кружек-то наоставляли. Фарфоровую ему подавай, – бурчала на кухне Ольга.

– Раз говорю, значит надо. Да там поаккуратнее – две

пластинки сверху лежат.

– Их еще зачем? Рыб, че ли, веселить? Али еще кого? – Ольга встала напротив Николая, бледная, напряженная. Стояла, тяжело дыша, не зная, какие еще подобрать слова.

– Ты че, сообразить не можешь? Скоро ведь День Победы. Сколько ден осталось? А вдруг не ворочусь? Вдруг кто из мужиков заглянет? Тама песни-то: "Ехал я из Берлина", "Три танкиста".

– А "Голубка моя" для кого?

– Ну, так твою мать! – взревел Николай. – Это хоть когда в моих мешках ревизия закончится? – Ольга струхнула, боясь разгневать Николая, которого потом не усмирить. И уже тихонечко проговорила:

– Бедненький. Тама собрался День Победы встречать. В деревне-то кто про этот день забудет? Знаешь ведь, что если тебя не будет дома, замашут веслами по реке мужики к твоему заползаю. Да откудава он твой? Тама все хозяева. И че в нем хорошего?

– Да от вас, баб, мужики отдых ищут. Слава богу, хоть Половинка-то далеко, а то бы угораздило туда явитьсяя.

– А мотор-то на что в колхоз купили? Вона Лидка-киномеханница запросто заведет мотор, и мы все зашуруем к вам, так будете знать.

Николай разразился смехом, на минуту представив, как киномеханница везет полную лодку баб к заползаю. Он так смеялся, что Ольга даже испугалась.

– Опрокинет где-нибудь на повороте лодку – намочите хвосты! Да че там юбки, как бы живыми остаться! – смеясь, говорил Николай.

Ольга на какое-то время призадумалась, но сдаваться не хотела:

– А я? Али сторожиха? Заместо дворовой собаки дом сторожить оставляешь?

– Больно много говорить зачала! Стаскивай-ка все к лодке.

Он и сам понимал, что плыть на Половинку еще рановато,

но Агашенька обещала быть там с первыми льдами на реке. Значит, надо было плыть.

Вдруг с кухни донесся плач Ольги. Николай в три больших прыжка оказался там. В руках она держала большой кашемировый платок с яркими цветами.

– Вот твой заползай! Вот. Кержачки нет, так кто тама тебя ждет? То-то у тебя сердце и щемит, то-то ты по ночам и стонешь, кобель ненасытный. Того и гляди: крылья себе приладишь и полетишь! Знаю, кержачки нету, так ты опять кого-то охомутал. Вона! – трясла она платок, стоя посреди кухни.

– Дура! – только и смог ответить ей Николай, выдернув у ней из рук платок. В мыслях он ругал себя, что не смог спрятать получше, с осени купленный Агашеньке подарок. Он его аккуратно свернул и положил в сермяжный мешок, под мережи, к которым Ольга никогда не подходила, а тут забылся: чинил мережи, вытащил его, а обратно не положил. Вот и оказался он у нее в руках.

– Знаю я, знаю! Это все от кержачки тянется. Сама не видела, а бабы сказывали: была в Стрелебном та молодусенькая кержачка, для которой у тебя рублики всю жисть отстегивали. С рыжебородым Устином приходила. Хвалили ее бабы. То ты и велел положить фарфоровую чашку. Она ведь, поди, при своей кержачьей вере осталась: ей из чужих чашек пить не велено. Экий стыд! Как ребятам-то в глаза смотреть будешь?

– А че мне совеститься, коли знаешь, что она дочь моя? Че не спрашивала, куда рублики отстегивали?

– Думала, ты на какой-то заем еще подписался.

– Ребятами меня не страшай! Они рады-радешеньки будут, когда правду узнают. – Ольга будто съежилась, сжалась. Оставил Зосима заимку, ушел за Урал, и все забылось, а она-то ведь знала про Агашеньку, только намертво закрыла рот на замок. Лишь однажды, когда Николай был в горячке, вернувшись с заимки, она проронила: жила бы с ребятами, не

пообидела ее. И больше никогда о ней не проронила ни слова.

Ольге показалось что внутри оборвалась какая-то главная жила или кровяной сосуд, враз ослабив все тело. У нее закружилась голова и перед глазами замелькали искорки.

Она слышала, как по полу стучали костыли, скрипели половицы, скоро хлопнула дверь. Ольга подбежала к окну и увидела, как, взвалив на плечи мешок, придерживая его зубами, Николай еле передвигается на костылях. Возле ворот остановился, огляделся: нет ли кого на улице? Не хотелось, чтобы кто-нибудь из деревенских видел его с мешком на плечах. Раньше ребятишки все к лодке стаскивали или Ольга. Она и сейчас бы все перетаскала к лодке, да почему-то ему не хотелось ее помощи.

Ни раньше ни позже из ворот вышел Семен, хотел посмотреть на ледоход да поглядеть: на месте ли лодка. Увидев Николая с мешком, даже не спросил: куда собрался? У Николая дорога одна.

– Не рано? Лдины-то ишо какие несет! Да ветрено.

– Знаю, – ответил Николай, – да Агашенька к началу ледохода обещалась быть на Половинке, – признался он.

– Да ну! – оживился Семен. – Так че на Половинке встречаться? Звал бы ее в Стрелебное. Теперь-то че?

– Кто знает, какая она стала? Вот без свидетелей и поговору. Мне еще осенью Пахом записку передал. Не знаю, сама ли она была на заимке или какие кержачки приходили да передали ему. Подписалась: Аграфена Николаевна Неволлина.

– Да ну! Вот молодчина – порадовался Семен.

– Ты ишо поплыви в этакую рань на свой заплотай! – закричала Марфа, выбегая из ворот. – Распахать эти покосы надо да овес посеять.

– Только вас и не спросили, – ответил Семен, сердито посмотрев на Марфу, у которой сразу отпало желание советовать, что надо сделать с покосами.

Подошла Ольга, она была непривычно молчалива.

– Захворала, че ли? – спросила ее Марфа.

Семен Савиныч поднял мешок, понес к лодке.

– Осторожно! Тама пластинки, – закричала Ольга.

– Каки ишо пластинки? – не удержалась Марфа. – Совсем под старость с ума сходят мужики: на покос пластинки везут. Патефон-то тама у них есть. Они у какого-то мужика с Палкино в складчину купили. То я и думаю: куда девались у нас пластинки? – схватила она за локоть Семена. Тот отдернул руку.

У Николая, как у растревоженного медведя, все трещало в руках. Он с силой вытолкнул с берега лодку, с размаху забросил в нее весла и, опершись руками о борт, очутился в ней. Сразу завел мотор. Вода булькнула, как вскипела, выворачивая из-под лодки пузырящиеся круги.

Большое тело Николая вначале подалось вперед, потом выпрямилось. Махнув рукой Семену, сосредоточенно глядя вдаль, он поплыл, лавируя между льдинами, не оборачиваясь назад.

Ольга не заметила, как забрела в воду в надежде увидеть, как Николай обернется, махнет рукой и этим успокоит ее растревоженную душу.

– Колдовки эти кержачки. Присушили его на всю жизнь. Накормили-напоили всякими травами, – причитала Ольга, приклонив голову на грудь Капитолины, которая, как на грех, просмотрела отплытие Николая. Она выбежала только тогда, когда взревел мотор и Семен махал рукой отплывающей лодке.

– Ты че? Про какую кержачку вспомнила? – удивилась Капитолина. – Нашла че вспоминать! А поплыл все-таки рановато. Мог бы подождать с неделку, – протянула Капитолина и, сощутив глаза, глядела на удаляющуюся лодку. Лишь бы Меркушевский перекат не помешал, а там плыви хоть до самой Тавды.

К Меркушевскому перекату Николай подплывал на веслах, заглушив мотор, энергично отталкивая льдины, ударяющиеся о борта лодки. Лодка все-таки уткнулась носом в стоящие торчком толстые глыбы. "Да, – подумал

он, закуривая, – накаркала – не проедешь. Чего доброго, – вернуться придется". Но эта мысль только промелькнула, а сам он уже вылез на льдину. Темная волна ударила о борт, приподняла днище, и через какое-то время лодку выбросило на эту же льдину. Николай дополз до нее, уцепился рукой за борт, с силой подтянулся и, перекатившись, оказался на ее дне. Лежал долго, отдышавшись, нащупал на дне весло, но подняться со дна сразу не мог: все помутнело в глазах, раскачивались берега и деревья... Вдруг, к его великой радости, лодка хлопнула днищем о воду, угодив в узкий прогал между льдинами. Николай не решался сразу открывать глаза, но чувствовал, что лодка покачивается на воде. "Неужто на воде!?" – думал, боясь пошевелить веслом, но мало-помалу стал успокаиваться, хотя в ушах стоял невообразимый шум. Он осознал, что это не шорох льда, не плеск волн, не шум ветра. Николай ладонями плотно прижал уши, явственно ощущая пульсирующие толчки в висках. Ощущая горечь во рту, Николай впервые признался себе, что пора бы и отдохнуть. Но тут он услышал кукование кукушки, и душа возликовала.

Он опустил за борт руку. Ополоснул в ледяной воде ладонь и, прикоснувшись ею к воспаленным щекам и лбу, почувствовал облегчение.

За бортом раскачивались на темных волнах льдины, но они, как казалось Николаю, были совсем безопасными, тем не менее заводить мотор не рискнул, добрый десяток верст работал веслом.

Берега были еще пустынными, березы, осины безлистные, зато кедрачи и сосны были во всей красе: могучие великаны, с темно-изумрудной хвоей, с золотистыми стволами! Эти места Николаю были так хорошо знакомы, что, закрыв глаза, он мог безошибочно сказать, где чей покос, сколько на нем зародов, какой породы лес будет за поворотом или за песчаной косой...

Приближались крутые берега Половинкинских покосов.

Сердце забилось так часто, что пришлось расстегнуть пуговицу на вороте, казалось, что стало трудно дышать. Он с трудом представлял встречу с Агашенькой.

К заползаю плыл на веслах. И вдруг мысль: а если Агашенька будет ждать на заимке? Откуда ей знать про заползай? И тут он испугался встречи с Агашенькой. И вообще, нужна ли назначенная здесь встреча, когда в любое время она могла легко появиться в Стрелебном? Но почему только сейчас об этом подумал Николай?

И вдруг на крутом яру он увидел женщину: она стояла скрестив руки на груди. Ветер трепал подол ее длинной юбки. У Николая опять все закачалось перед глазами, и какое-то время не было сил грести веслом. За прошедшие годы, казалось бы, должна была притупиться и боль, и память, свыкся же он с участью калеки, пережил немало потерь, приутихла боль от смерти Агаши, но оказалось, что с чувством вины свыкнуться невозможно. "Мой грех не прощен, а виноватого Бог найдет", — думал он, направляя лодку в протоку, отталкивая скопившиеся возле берега льдины. Обжитость места возле заползая виделась по проторенным к нему со всех сторон берега тропках и дорожках.

Все в той же позе, что и на яру, возле запертых на замок дверей заползая, стояла та же женщина, поджидая хозяина. Стоило лодке коснуться берега, как она ему протянула руку и с какой-то проворностью подставила плечо, опершись на которое он оказался на берегу.

— Агашенька, — еле слышным, потерявшим силу голосом прошептал он, чувствуя, как у него омертвели губы. Она же, прижимая его к своей груди, тоже молчала и только легкими прикосновениями гладила его по спине и плечам.

— Пойдем в избушку, я протопила, там тепло и чай вскипячен, — по-домашнему просто сказала Агашенька, помогая вытащить мешок из лодки.

— Зайдем в заползай, погляди, — не взглянув на нее сказал он, суетясь возле двери, которую никак не мог открыть.

– Наслышана я про Неволинский заползай, – ответила Агашенька с игривой ноткой в голосе.

Только тут Николай поднял взгляд и: "Боже мой, да это моя Агаша! До чего же она похожа на свою мать!" Николай чуть заметно пошатнулся, но успел схватиться за косяк двери. Заметив это, Агаша помогла распахнуть дверь.

– Не маленькая землянка, человек на десять. И света хватает, и тепла. Уже двадцать годов землянке будет.

– Я знаю, мы с дедушкой были здесь, когда на заимке жили. Дедушка мне про Власа рассказывал и показал его. – Агаша говорила неторопливо, будто обдумывала каждое слово, но делала все быстро и проворно. – А ты пока полежи, отдохни, – говорила она, и так просто, естественно, будто всегда жила с ним рядом. "Волосы рыжие, но кудри мои. Глаза зеленые, а так точно Агаша", – с замиранием сердца думал Николай, возвращаясь памятью к годам юности, несостоявшейся любви, которую, на удивление всем, не растерял, не забыл с годами.

– У нас тут патефон есть, – оживился Николай, вспомнив о привезенных пластинках, на что Агашенька с серьезностью сказала:

– Вроде пока не до песен, – и села на лавку напротив.

В глинобитной печи потрескивали сухие дрова, оставленные с осени, шумел готовый вот-вот вскипеть чайник.

Оба замолчали, и, чтобы нарушить тишину, Николай спросил:

– Ты, Агашенька, какими судьбами тут? Почему в Стрелебное не приехала?

– Спыхватилась, когда монашки уже ушли с запиской. Знаю – хлопот много доставила.

– Да какие это хлопоты? – махнул рукой Николай, – Но не скрою, душа все время дрожала. Бояться-то я никого не боюсь. Чего мне бояться? А вот томлением измаялся: не было дня, чтоб об этой встрече не думал. – Говоря это, Николай чувствовал какую-то душевную ущербность, которую сам

себе не мог объяснить. Разве он не мог сам разыскать Агашеньку? Или когда-нибудь написать письмо? Да мало ли путей если хочешь, встретиться с родным человеком? В конце концов, не Ольги же испугался или деревенских разговоров.

– Поддай-ка, Агашенька, мешок. Там я для тебя привез фарфоровую кружку. – Она, конечно, поняла, что он привез ее, зная кержачьи порядки, и, улыбнувшись, ответила:

– Какая там кержачья посуда, – но, увидев красивую белую, тонкого фарфора чашку, взяла.

– Пошарь-ка еще в мешке, на самом низу, под мережами. – Увидев кашемировый платок, она не удержалась, обняла Николая, отчего он покраснел и смутился.

На столе было много всякой еды. В деревне всегда свои разносолы.

– Добралась-то как? – спросил с явной озабоченностью. – Парни-то наши – братья твои, Илья да Иван, когда едут, так заранее письма напишут, или телеграммы дают.

– Вот и я в другой раз так же сделаю, – на что Николай, улыбнувшись, проронил: – Завсегда милости прошу, приезжай! На великую мне радость!

– Как добралась? – будто не заметив его волнения, переспросила Агашенька. – Да опять с теми же кержачками. Они на богомолье и я с ними. Просто из любопытства. Когда еще придется? У старых уже сил нет к святым местам ходить, а молодые про богомолье забыли. Я здесь уже четвертый день живу: обжила избушку. С заимки пришла.

– Одной-то не страшно?

– На заимке не ночевала. Как только ушли монашки, я ворота на палку и сюда! Даже сама не знаю почему, но мне на Половинке лучше.

День был солнечный и веселый. Чувствовалось робкое приближение весны, от земли шел, поднимался какой-то особый неопределимый животворящий запах, наполняющий радостью.

– Грешно в этакое время в заповедь сидеть, – сказал Николай, взглянув на Агашеньку.

– Пойдем к избушке? – спросила она.

– Ты первой иди по тропе, а я за тобой. – Не хотелось Николаю чтобы Агаша видела его неловкое подпрыгивание да слышала прерывистое дыхание, когда он останавливался, чтобы перевести дух. "Идти-то всего метров тридцать, а с каждым годом все чаще приходится останавливаться", – подумал он с грустью.

– Может, я тебе помогу? – очутившись на склоне покоса, крикнула Агаша. Ответить ей у Николая не было ни сил ни голоса. "Как она похожа на мать!" – стучала единственная мысль в голове.

Удивлением для Николая была вымытая охотничья избушка. Обычно прокуренная, с тенетами на потолке, с закопченной печкой, никогда не мытым окном, сейчас она была так чиста, что, открыв двери, Николай какое-то время стоял возле порога, не решаясь ступить на выскобленные сосновые плахи пола.

– А чего же мне было делать? – ответила Агашенька, заметив его растерянность.

– Ну, Агашенька, – только и смог проговорить он.

– Меня теперь только ты зовешь Агашенькой, а для других я Аграфена Николаевна, потому что закончила педагогическое училище и стала учительницей. Еще дедушка до самой смерти Агашенькой звал. Я для него все ребенком была, – сказала она тихо, опустив голову, будто была в чем-то виновата.

У Николая не было сил спрашивать о Зосиме, о его кончине, он крепился изо всех сил, чтобы не показаться чересчур взволнованным. Где-то залаяла собака.

– Кто-то из деревенских мужиков приехал, – сказал он. – Подумали, может, лодку льдиной перевернуло, – оживился Николай, хватаясь за костыли.

– Я схожу погляжу.

– Тебя ведь никто не знает.

– Не знают, так узнают. – Скоро послышался громкий разговор. Голос Семена Николай мог узнать из сотни.

– Так и знал! – обрадованно сказал Николай другу, который, приоткрыв дверь избушки, тоже не решался переступить порог. Он долго обтирал подошвы о влажные прошлогодние листья.

– Со встречей тебя! Дочь-то – краса какая! Вся в мать. Губа-то у тебя не дура была. То всю жизнь и провел на Половинке. А тебя, Агашенька, я видел один раз, совсем маленькой, когда за отцом твоим приезжал. Перепугал ты тогда всех! Зосима-то тебя пристрелить хотел, – говорил Семен, по-свойски держа Агашеньку за руку, будто боялся, что она опять потеряется на многие годы.

– А дедушка всегда говорил: твой отец герой и наказывал не забывать его и молиться за него, – ответила она Семену Савиновичу. Рядом с другом Николай всегда чувствовал себя спокойнее и увереннее. Он знал, что тот никогда не оставит его в беде и не будет зря ничего болтать. При нем Николай мог пожаловаться на нездоровье, поохать, повздыхать. В такие минуты Семен не докучал ему ненужными вопросами, не спрашивал, что да почему. Он умел и без слов облегчить его страдания.

– Она теперь не Агашенька, а Аграфена Николаевна, учительница, – сказал Николай.

Семен удивился: мало кому в послевоенное время удавалось получить хорошее образование.

Если и уезжали деревенские из дому, то на заводы, чтобы заработать копейку.

– Дедушку надоумили добрые люди отправить меня учиться. Он скопил отцовские деньги, добавил свои и отвез меня в город. Правда, говорил: денег жалко, а сам каждую неделю ко мне приезжал.

– Ну и Зосима! – всплеснул руками Семен. – Кто бы мог подумать? Кержак девчонку учиться отправил.

Редко выпадают человеку дни безмятежной радости, когда кажется, что вместе с ним радуются, ликуют леса и травы, звонче и красивее выводят свои песни птицы, и вмес-

те с ними сам человек воспаряет над землей, и жаль ему возвращаться из этого волшебного состояния на грешную землю. Именно в таком состоянии был в этот день Николай. Никакое веселье не могло сравниться с этим праздником души. В этом чудесном настроении он и уснул.

– Че, Николай, делать-то будем? В Стрелебное поплывем али как? – спросил Семен, проснувшись. В избе они были одни, Агашенька куда-то вышла.

– А ты как думаешь?

– По-моему, лучше в Стрелебное возвращаться. Тут пока делать нечего. Мужики, конечно, сюда соберутся, но не раньше майских праздников. Да и у Агаши, поди, тоже есть дела.

– У нее и спросим, да с собой забирать ее надо. Вдруг эти попутчики уже прошли через заимку или их ждать придется?

– У этих кержаков все как следует. Тут сомнений нет. Они не наш брат – шаляй-валяй! Сказано – сделано.

Агаша вошла в избушку румяная и веселая, занесла с собой запах проклевывающих первых листиков.

– К заползаю сходила. Вспомнила: мы вчера лодку не привязали. Хорошо, что в кустах была. Вода в реке прибывает.

– Так че, Николай, может, свозим Агашу в Стрелебное? И ты дома до праздника поживешь в тепле.

– Трава на солнцепеке уже в рост пошла, – сказала Агаша, будто не слышала или в самом деле не поняла, о чем шла речь.

– В Стрелебном нынче семилетку будут открывать – учителей надо. Че нам чужих приглашать, когда свои есть? – сказал Семен.

В Стрелебном рев лодочного мотора слышно было версты за три, и деревенские собаки каждый раз бежали по кромке берега сопровождая лодку. Даже старый мохнаткинский Трезор трясся за всеми, подпрыгивая на трех ногах.

– Ты-то куда? – шамкая беззубым ртом, говорил вслед псу дед Кунара, опершись обеими руками на палку. Ольга с Мар-

фой были на берегу первыми, стояли, ежась от ветра.

– Однако в лодке трое, – взглядываясь в плывущих, сказала Марфа. – Прихватили какого-нибудь палкинского мужика. Наши-то вроде все дома. – Сощутив глаза и приложив руку ко лбу, тихо добавила: – Вроде как баба сидит. – У Ольги кольнуло сердце. Она слегка простионала.

Пришедшие на берег бабы замерли в любопытном ожидании, на удивление, ни одна из них не смогла даже высказать предположения.

Лодка осторожно подплыла к берегу, первым выскочил Семен, подал руку молодой незнакомой девушке. У Марфы на какое-то время прилип к небу язык, она не могла промолвить ни слова, глядя, как бережно Семен помогает выйти ей из лодки.

– Это Аграфена Николаевна – сказал он, подходя к Ольге, которая ничего не понимала, только беспрерывно моргала. – Пойдем, Агашенька, домой.

И тут среди баб пробежал шепоток: "Кержачкина дочь!" Первой догадалась Капитолина.

– Баская-то какая! И на Николая похожа, – слышалось с разных сторон.

– Принимай гостью! – посмотрев на растерянную Ольгу, весело сказал Николай. Она знала, что Николай рано или поздно отыщет свою дочь. Но то, что он привез ее с Половинки для всех стало полной неожиданностью. Кто-то уже сбегал к Пахому узнать: не жила ли она летом там, в дедовском доме, но Пахом был пьян по случаю покупки новой телеги, так что ничего вразумительного сказать не мог.

По деревне опять понеслись слухи, догадки, предположения. Когда Семен сказал Марфе, что Аграфена Николаевна, возможно останется учительствовать в Стрелебном, Марфа схватилась за голову и заревела:

– Утер Зосима-то всем вам нос! Кержак-единоличник, да хапуга – имя ему было, а он девку выучил, в люди вывел и готовенькую отцу оставил.

– Ну ты! – поперхнулся Семен. – А скоко годов у Николая деньги отчисляли! Он ведь сам в Никитинск ездил и записал ее на свое имя и потому алименты платил.

...В Стрелебном Аграфена Николаевна задержалась недолго. Не осталась и на майские праздники, сославшись на неотложные дела. Через пару дней Николай запряг самую лучшую в колхозе лошадь и отвез Агашу в Никитинск, а там посадил на поезд.

Весна буйствовала. Солнце не сходило с небес, ощупывало землю теплыми лучами, и обласканная ими каждая травинка быстро пошла в рост. В колхозе в это время дел всем хватало с утра до позднего вечера. Мужские голоса в деревне можно было услышать только в сумерках, когда те возвращались с полей.

Все с нетерпением ждали праздника Победы. Уже давно все привыкли, что после колхозных торжеств бабы собирали мужьям торбочки и, по-прежнему проклиная заколдованное место – этот Неволинский заползай, провожали их на Половинку. Через день они обычно возвращались и снова принимались за работу. Бабы с полудня принимались топить бани, чтобы возвратившиеся мужья могли смыть с себя не только грязь и копать кострового дыма, но и жаром и паром вытряхнуть из себя запах сивухи.

Ожидая мужиков, бабы прислушивались к звуку мотора, но чуткие собаки наострив уши первыми бежали вдоль берега, услышав скрежет гальки и всплески воды от шестов поднимающихся против течения лодок.

Лодки плыли одна за другой. Увидев бежавших встречать их ребятишек и баб, голосистый Леньша Чудинов затянул: "Выходила на берег Катюша-а-а". Мужики в других лодках подхватили всем полюбившуюся песню военной поры, которую в деревне знал каждый, и ее легкий и веселый напев эхо разносило по всем берегам.

– Они, однако, все пьяные! – закричала Марфа, приподнявшись на цыпочки и отыскивая взглядом лодку Семена.

Она боялась, что он очень даже может остаться на заповоззе с Николаем, если у того заглохнет мотор или по другой причине. Но по размашистым взмахам шеста узнала Семена и успокоилась.

– За тем и плавают на заповозжи. Будто не знаешь, – ответила жена Леньши. – С нами-то не больно распоешься.

– Вот завтра придут с работы, пушай заповоют!

– Тогда че их оговаривать? Мри душа неделю – царствуй один день. А у них в году раз!

– Тоже мне заступница нашлась. Кабы один день в году, дак и разговоров бы не было. А они, сама знаешь, ни на рыбалку, ни на покос мимо заповозжи не проплывут.

– И пушай поют, пока поется.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Николай не поплыл со всеми домой, а отлеживался с похмелья в заползае, ему хотелось еще поудить рыбешки, которая, войдя в протоку, плескалась по утрам, готовая выпрыгнуть на берег.

Проводив мужиков и оставшись на берегу один, Николай вдруг затосковал, ощутив в груди мучительную боль, которая явилась к нему неожиданно-негаданно. Но это была совсем другая боль: не раны ныли, не суставы мозжило, не голова кружилась, а заболела-затосковала душа. Он заторопился в избушку, в которой еще стоял дым коромыслом от накуреного мужиками самосада, лег на топчан, не закрывая двери. Какое-то время лежал, ни о чем не думая. Но разве может человек жить без дум? А они были все о Половинке и заползае. Душа его и болела об Агашеньке.

Аграфену Николаевну деревенские жители приняли с почтением, любовались ее статью, красотой, а главное учтивостью. Да и Ольге ничего не оставалось, как смириться и называть ее по имени и отчеству, ухаживать за ней как, за своими ребятами, хотя Агашенька не привыкла к такому обращению и всегда первая бежала к печи, опережая ее. Когда Агашенька уехала, у Ольги вроде как камень с плеч свалился. Она и сама не могла себе объяснить, не могла понять, почему столько лет не проходит эта настороженность, испуг, неуютность в душе. Как-то дед Кунара ей сказал: "В утешение тебе такая дочь досталась".

На другое утро, после возвращения мужиков с заползая, послышался знакомый звук лодочного мотора. Николай Неволин возвращался домой.

"Че это он? Небывалое дело: не мог же он столько рыбы за ночь наловить? Везет, чтобы не испортилась", – подумала Ольга, выходя на берег.

– Ты че? – не увидев никакой рыбы, спросила она.

– Тоскливо стало. Уехали мужики, и такая кручина навалилась, хоть реви, – признался Николай, чем немало удивил Ольгу.

...Николай умер перед утром неожиданно и тихо, деревенские растерялись, у всех все валилось из рук. Из Никитинска приехало районное начальство, несколько офицеров из военкомата, хотели увезти тело в Никитинск и похоронить в аллее фронтовиков, но стрелебинцы воспротивились: "Оставьте Николая дома!"

Ольга от внезапного горя сразу вся съежилась, усохла, из сожженных внутренним жаром губ слышалось: "Жалеть тебя надо было, жалеть. Не умела я этого делать! Все тиранила тебя за твою любовь, бестолковая я баба!" Она никого не слушала, никто не мог успокоить ее: причитала разное. На похороны приехала Агаша. Ольга не сразу узнала ее.

– Аграфена Николаевна приехала, – сказала ей Капитолина. Обернувшись, Ольга обняла ее с причитаниями, которых никто не мог разобрать, но все услышали: тебя ждал! Всю жизнь ждал. Увидел, успокоился и помер.

ЭПИЛОГ

Без хозяина осиротел заползай. Трудно было представить крутояр без Николая Неволлина, всегда стоявшего возле самого обрыва, опершегося всем телом на костыли, по взмахам весел умевшего издали определить деревенского мужика. Обычно в ветреную погоду Николай набрасывал на плечи старую солдатскую шинель, и ее суконные полы, подхваченные ветром, разлетались по сторонам. В это время он подходил на старого черного ворона, силившегося подняться над покосами.

Деревенские мужики, которые проплывали мимо этого места выключали мотор и тихо шли на веслах. Проплывавшие днем – выходили на берег посидеть, покурить, кто плыл вечером – не забывали трижды с силой ударять веслами по воде.

Семен чаще других плавал к заплзаю, а неугомонная Марфа не упускала случая сказать: "Есть у Николая караульщик заплзаю". Но говорила она это не так, как раньше, по видимому скоростижная смерть Николая у многих сварливых баб отшибла охоту ругаться попусту. Ясно, в Стрелебном и до Николая и после умирали люди, но его смерть почему-то казалась особенной.

В отличие от других, Семен Савиных старался попасть на Половинку под вечер, чтобы заночевать. Как-то причаливая к берегу, почувствовал запах дыма. Обрадовался что встретил кого-нибудь из деревенских. Три раза хлопнул о воду веслом, но на берег никто не вышел. Причалил. У костра кто-то сидел. Семен кашлянул. Медленно, не оборачиваясь, поднималась женщина.

– Боже мой, Агашенька! Аграфена Николаевна! – не удержался Семен Савиных. – Одна, не боишься?

– Кого бояться? Раньше всего боялась, а теперь греюсь памятью о нем.

– А добралась как?

– Да я не одна: Иван с Илюхой на болото пошли.

– А че не в избушке, не в заповзае, а костер разожгли?

– Парни так захотели, а ночевать в заповзае будем, если на зорянку останутся.

– Может, помянем? – не глядя на Аграфену Николаевну, спросил Семен Савиных. – У меня в лодке есть.

– Нет, Семен Савиных, не могу. Дедушке обещала никакого зелья в рот не брать. Он видел, что я совсем отошла от кержачьей веры, а насчет зелья велел мне побожиться. Вот парни придут – не откажутся.

– Да сердце жжет, Агашенька! Как пережить такое? – И он не спеша пошел к лодке.

Весна уже всю властвовала на земле. В изумруд нарядились молодые березы, кустарники, травы. Со стороны леса послышалось уханье совы, запоздалая утиная стая летела низко над покосами к озерцу за лесом.

Со стороны займки на небо выкатился месяц и поплыл низом, цепляясь за вершины дальних сосен. Он поднимался все выше и, казалось, остановился над покосами, избушкой, замер над заповзаем, отыскивая хозяина.

СОЛДАТКИ



ПОВЕСТЬ

Ночь казалась бесконечной. Евгения Николаевна сидела, опершись головой на спинку кровати, думала о том, что одна тысяча девятьсот сорок второй год стал в ее жизни роковым.

В тот год Евгения Николаевна оказалась в селе Сосново. Туда не долетали снаряды, там не слышались раскатистые канонады. Село раскинулось в лесистой тайге между гористыми отрогами, вдоль клокочущей пенистыми водопадами речки Серебрянки. Война шла далеко от этих мест, но, как привидение тихо, без стука вползала под каждую крышу.

Первая похоронка в село пришла Степаниде Лаптевой. Вручили председателю сельсовета Маиту Родионовичу Пашину. От волнения он заикался, из левого глаза, смолоду изувеченного на охотничьем промысле, покатила слеза. Рассыльная, расторопная Тюшка Токарева, увидев перемену в его лице, ждала, когда он соберется с духом, перестанет мять зубами нижнюю губу, заговорит, но, взглянув на казенный конверт, ойкнула и побежала собирать членов правления.

Степанида, увидев на пороге сельских активистов, все поняла и заголосила:

– Чуяла, чуяла я беду. Сны меня одолели поганые. Чуяла я, что не свидеться нам больше с Лексеем.

Бабы, пришедшие с Маитом Родионовичем, ее не утешали, а бестолково толкались возле стола, не зная куда пристать. Не выдержав ее причитаний, заголосили вместе с ней.

В избе ходуном заходили двери. Оставив дела, каждый бежал к дому Лаптевых. Тащили в узелках, в подолах фартуков, в чугунках, в берестяных чуманах разную снедь, ставили на стол, чтобы справить поминки по убитому на поле брани солдату Алексею Лаптеву.

– Ну чего вы, бабы, – говорил Маит Родионович. – Героєм погиб Алексей. Кто Родину защищать будет, если не наш

солдат? Вспомните, фашист-то как пер? Остановили, натрепали его под Москвой. – Маит передохнул, хотел еще что-то сказать, но не смог, взглянув на зареванное лицо Степаниды.

На другой день когда Таюшка Токарева рано утром домывала пол в сельсовете, раздался телефонный звонок – она обтерла мокрые руки о подол юбки и подошла к висевшему на стене аппарату. Прерывистые звонки не прекращались, она сняла трубку и приложила к уху.

– Ага, Сосново, это, – закричала Тюшка, касаясь губами черного кружочка. – Сельсовет. – Потом слушала, нахмурившись, переспросила: – К нам? Ребятишек вакуированных? Ну, поняла. Это сироток, значит? Семнадцать? Ну, как не встретим. А куда же их тепереча?

Она села на табуретку, поглядывая на трубку, которую все еще держала в руках: "Надо же подводы собирать на станцию ехать".

К подводам приносили полушубки, тулупы, чтобы теплее укрыть ребятишек, не простудить их, потому что железнодорожная станция от Сосново была в тридцати километрах.

Ребятишек сопровождала молодая девушка, она до того была худа, что, увидев ее, Маит Родионович поторопился подать ей полушубок, чтобы не видеть ее тонких ног, обутых в стоптанные сапоги.

– Вожатая, Евгения Николаевна Шмакова, – представилась она, прошептав простуженным голосом. – Все семнадцать в целости и сохранности: Паек, полученный на дорогу, роздан сегодня в восемь утра. Больше у нас ничего нет. – И добавила: – Мы из Ленинграда.

– Давайте, ребятки, быстрее в тепло. Морозы у нас злющие, торопил их Маит Родионович.

Сельские старшеклассники, приехавшие с ним на станцию, расстилали в кошевах тулупы, усаживали ребят, укутывали их, набрасывая на них овчинные полушубки.

Ребята спрятались с головой под теплые полушубки, и только вожатая не решалась укрыться.

– И ты, голубка, прячься от холода, набрасывай овчину на голову и спи, – сказал ей Маит Родионович. – До села-то далеко ехать.

Женя улыбнулась, сухая кожа вокруг рта собралась в мелкие складочки.

Лошади бежали трусцой. Под полозьями скрипел снег, над тайгой плыла певучая колыбельная песня, убаюкивающая не только ребят, но и не раз бывавшего в дальних обозах Маита Родионовича.

Павел Гонин натянул вожжи, посмотрел на своих пассажиров. В обнимку с маленьким парнишкой спала старшая жога-тая. Тепло и усталость сморили их, дети спокойно спали. На лице Жени ему показалась даже улыбка. Ее щеки даже на морозе оставались бескровными, зато ярко горели припухшие губы, вырисовывались густые рыжие брови, которые обметал куржак. Павлу показалось, что девчонка приоткрыла глаза, и он, подкинув над головой вожжи, закричал на лошадей.

Интернатовская техничка тетя Поля два раза протопила печь. Маит Родионович пришел с конюхом Саввой. Они обили старой кошмой скрипучую дверь, приподняв подоконники, расщелины заткнули паклей. Председатель распорядился привезти в интернат сухие дрова.

Он уже собрался уходить, когда обратил внимание на черно-волосого мальчишку, который присев на корточки возле печи, тихо стонал.

– Ты чего куksiшься? Замерз? Все отогреться не можешь? Или захворал?

– Палец болит.

Маит Родионович взял его руку и, увидев багровый распухший палец, спросил:

– Где это тебя так угораздило? Боль-то, поди, какая.

– Стерплю, не маленький, – ответил мальчишка, отдергивая руку. – Это давно, в вагоне дверью придавило.

– Собирайся. Пойдем со мной. Моя старуха на ночь алоэ привяжет, а завтра – к фельдшерице. Ишь, терпеливый нашелся, –

бурчал Маит Родионович, помогая парнишке надеть пальто. – Так и без руки остаться недолго. Краснота-то по всей руке пошла.

– Дяденька, возьми меня с собой, – попросил сидевший здесь же парнишка. – Я тоже к тебе хочу.

– И я, и я, – закричали все в голос.

– Одевайтесь, – ответил Маит Родионович, – айдате. Кажись, тетка Груня баню топила, заодно помоев вас. Айдате, айдате.

Всем селом растили сосновцы эвакуированных ребят: в интернат носили молоко, топили для них бани, чинили одежку.

Женю Шмакову, их вожатую, в Сосново из уважения все от мала до велика величали Евгенией Николаевной.

Павел Гонин и Женя полюбили друг друга. Может, любовь пришла к ним не вовремя, но только каждой ягоде свое время.

Жене до слез хотелось быть красивой и нарядной. К своей единственной вязанной кофте с короткими рукавами, из-под которых выставлялись худые желтые руки, она крючком надвязала манжеты, а чтобы скрыть синие жилки на тонкой шее, поднимала повыше воротник.

Ее бросало в жар при мысли, что в сельском клубе, когда она прибежит в кино, на самом последнем ряду Павлушей будет оставлено ей место. Они будут сидеть рядом, молча, держась за руки. Он угостит ее горсткой кедровых орехов. Потом они пойдут по улице, опять будут молчать до самого интерната. Она долго не сможет заснуть, будет торопить время, чтобы скорее пришел новый день.

До села дошли слухи о формировании добровольческого танкового корпуса. Женя никак не думала, что это ее как-то коснется. Казалось, что война и все самое страшное осталось далеко позади. Но война снова врвалась в ее жизнь, и становилось жутко. Только любовь наполняла ее жизнь смыслом и давала силы жить.

"Нет, учеников не возьмут. Нет у нас такого закона, – думала она, узнав, что все комсомольцы-десятиклассники подали

заявления в военкомат с просьбой зачислить их добровольцами. – Нет, не возьмут их".

Но в душу вкралась тревога.

Уральский добровольческий танковый корпус формировался за счет внутренних ресурсов трех областей: Челябинской, Свердловской и Пермской. "Мы берем на себя обязательство отобрать в Уральский танковый корпус беззаветно преданных Родине, лучших людей Урала – коммунистов, комсомольцев, непартийных большевиков. Добровольческий танковый корпус уральцев мы обязуемся полностью вооружить лучшей военной техникой: танками, самолетами, орудиями, боеприпасами, произведенными сверх производственной программы", – говорилось в письме в ЦК партии.

– Думаешь, так легко было попасть добровольцем? – сказал ей Павел, когда после уроков они остались в классе вдвоем.

Женя молчала, не знала, что говорить. Она сидела на парте, наклонив голову. Густая рыжая челка прикрывала глаза, на которых навернулись слезы. Тусклый свет запыленной лампочки освещал классную доску, шкаф и учительский стол. В полумраке Павел казался взрослым. Его серьезность и сосредоточенное молчание вызывали в ней чувство страха. Закрыв глаза, она подбежала к нему, обняла за шею и неумело стала целовать его щеки, глаза, волосы.

– Ты чего? – освобождаясь из ее объятий, задыхаясь, говорил Павел. – Ты чего это, Женя?

Она так же неожиданно отскочила от него и, с силой грохнув дверью, выбежала из класса. Он сидел ошеломленный ощущая на щеках прикосновение ее влажных губ. Сердце стучало часто и трепетно. Павел не сразу вышел из класса, непонятная грусть охватила все его существо. Он вспомнил, какие горячие были у Жени руки, каким частым было ее дыхание.

Настал день прощания. В школьном оркестре не нашлось трубача и Славiku Любановичу пришлось выйти из строя и встать к оркестрантам. Музыка летела над селом, сзывала людей.

Женя бежала к сельсовету, запинаясь о комья снега, подкальзываясь на раскатанной полозьями колее. Вся душа ее была переполнена страхом.

– Смотрите-ка, Гонинские-то все один к одному, как яблоко к яблоку, – услышала она сзади женский голос. – Разве что Степан погрузнее других да посумрачнее. Во сколько солдаток одни Гонины оставят. Подумать только: все враз добровольцы.

– Может, и возвратятся домой мужики. Тепереча зачали как следует понужать германца.

– Всякий, кто идет на войну, думает: меня пуля не заденет. Мне ишо мой покойный Гриня говаривал: там, мол, всем чуется, будто летит не его пуля, будто его пуля ишо не отлита.

Женя взглядом отыскала Павла. Она помахала ему рукой, и он заметив ее, подбежал к ней и прижал к груди:

– Ты жди, Женечка. Жди. Мы скоро.

– Господи, что же это такое? – растерянно вскрикнула Дарья, мать Павла, оглянувшись по сторонам, словно ища защиту, и повисла на шее у Степана. – Павлуша-то, видишь?

– Ладно тебе. Если парню в восемнадцать лет воевать пора, то любить – сам Бог велел.

– И девчонка-то не нашенская – интернатская. Это та, которую Евгенией Николаевной зовут.

– Все тут нашенские. Все вы ненаглядные наши, – сказал Степан.

Никто не ожидал от него таких слов. Они как-то не подходили к нему, хмурому и скупому на ласку. Бабы, как сговорившись, заголосили, повиснув на своих мужиках.

После отправки добровольцев на фронт Сосново осиротело. Не стало слышно зычных окриков, ядерных слов, хриплого от самосада кашля. Даже удары топоров стали слабыми, глухими. Лошади по улицам бежали лениво, не чувствуя в натянутых вожжах руки хозяина.

Правда, главная улица села, что тянулась версты на две вдоль берега Серебрянки, с рассветом оживала: бежала в школу ребятня, торопились на работу бабы, пробегали подводы лошадей за сеном.

Дарья Гонина совсем расхворалась. Все казалось, что с того прощального часа мир потемнел и жить стало не для чего. Но никто ее не утешал, знали окрепнет Дарья, успокоится, и жизнь наладится.

По первости она боялась ночей. Вьюжные, бесконечно длинные, они томили ее воспоминаниями о житье-бытье со Степаном, прожили они без малого двадцать годов, Павлушу вырастили. До этой поры все дни в голове жили вперемешку, а теперь высвечивались только белые.

Ни свет ни зря Дарья вставала и бежала по заснеженным улицам на окраину села в коровник и в работе чуть забывалась.

Раиса, жена брата Степана заметила, что Дарью замаяла бессонница и стала посылать к ней свою Любашку. Ребенок он всегда ребенок. Хочешь не хочешь, а одаряй его вниманием, отвечай на все вопросы-запросы, а у Любашки-второклассницы их было полно. И к тому же не чужая – племяшка.

– Ты бы лучше дяде Степану письмо написала, чем про всяких зверей спрашивать, – говорила ей Дарья. – Живут они своей звериной жизнью. В стужу в дуплах и в норах прячутся, а как солнышко встанет, тропы торят.

– А медведи еще спят?

– А как же. Может, и ворочаться зачали. Бока-то, поди, за долгую зиму отлежали.

– Они там всю зиму ничего не едят? – спрашивала Любашка. – Вот хорошо медведям. Поели раз больше не надо, а я каждый день хочу.

– Вот пей молоко и давай пиши письмо дяде Степану.

– Я на таком листке писать не умею. Мне мама карандашом косые линейки делает.

Любашка знала, что чуть ли не в каждом доме по вечерам только и делают, что пишут письма на фронт. Она поерзала на табуретке, поправила листок, разлинованный Дарьей, несколько раз кряду чихнула.

– Давай сюда нос, – сказала Дарья. – Сморкайся. Вся испростыла!

Девочка весело начала:

– Я все письма на фронт начинаю так: "Добрый день, веселый час! Пишу письмо и жду от вас".

– Как, как? – переспросила Дарья, присев рядом с Любашкой.

– Или можно еще так: "Лети с приветом, вернись с ответом". Я дядьке Черепкову под самый Сталинград так писала, и пришел ответ.

– Хорошие слова ты пишешь, душевные. На такие грех не ответить, – говорила Дарья, не сводя глаз с маленького кулачка Любашки, представила, как Степановы руки будут распечатывать конверт, и заплакала.

Любашка начала писать, старательно выводя по линейкам каждую палочку и крючок.

...Бои на фронте шли грозные. Все жадно слушали новости. Даже глухой дедушка Собянин прикладывал ухо к репродуктору, пытался расслышать, где воюют наши войска, какие освобождают города. Много путал, но спорил с бабами до хрипоты, потом соглашался, что по тугоухости недослышал, шел к сельской фельдшернице Аленушке закапывать в уши капли, от которых у него шумело в голове, но прорезался ненадолго слух, а вскорости снова пропадал.

Про уральских добровольцев ничего не было слышно, но сосновцы верили: их мужики не подведут.

– Значит, пора еще не пришла в бой вступать уральским полкам, – говорил в сельсовете Маит Родионович. – Значит удар наши готовят похлеще Сталинградской битвы.

– Уж прямо, похлеще... Где столько силы взять? – возразила Тюшка, протирая оконные рамы.

– Тоже мне, стратег нашелся, – ответил Маит Родионович.

– Ты мне незнакомые слова не вворачивай. А про Сталинградскую битву я во всех газетах все перечитала. Страсть какая там была! Читаешь, так и то по коже мурашки бегают, а как пережить такое?

– Про то тебе и говорю: удар наши готовят, чтобы башку гитлеровцы приподнять не могли.

– Теперь хоть к теплу время идет, не то что тогда: стужа какая была! – вздохнула Тюшка.

– У нас у самих пора жаркая на носу. Сколько сена надо поставить, а с кем? Бабы да ребята одни.

Тюшка вздохнула и выплеснула из таза воду под окно.

...Лето нагрнуло разом. Солнце заладило стоять над Сосновым без туч, без облаков и все подчинило своему теплу. Ночи стояли знойные, душные, травы на покосах, особенно в поймах, вымахали буйные и тяжелые. Сенокос начали рано, и обернулся он для сосновцев самой настоящей страдой. Куда ни ткнутся – то сноровки нет, то сил не хватает. Что мужики одним махом делали, играючи, бабы со слезами не могли. Остожья наложили хлюпки, зароды сметали кособокые, прясла нарубили сучковатые. Такое натворили, глаза бы не глядели, но сено поставили запашистое, сухотравное и в этом находили отраду.

В эту пору по радио и упомянули об Уральском добровольческом танковом корпусе. Принял он свое боевое крещение в Курской битве, на Северном участке Орловской дуги.

Услышав это, Маит Родионович сел на коня и погнал на покосы.

– Ну, бабы, пошли мужики в бой, – сказал он, обтирая фуражкой вспотевшее лицо. – Ударил наш Уральский корпус по фрицам.

...Радио сообщало: на фронте, в районе Северной части Орловской дуги, идут ожесточенные бои.

В Сосново верили, что именно там воюют их односельчане. А писем с фронта не было. Рассортировав газеты, сельская почтальонша Ольга Шаргина отправлялась разносить почту. Она боялась проходить по улицам, видеть, как нетерпеливо ждут ее в каждой избе.

– Напишут еще. Времена тяжелые, да и почта медленно ходит, – успокаивала она сельчан, а сама слезы прятала.

– Переведи меня, Маит Родионович, на другую работу, ну хоть на скотный двор отправь, хоть в овощехранилище, не могу я в глаза бабам глядеть. Не могу! – говорила она, кидая пустую сумку на стол.

– Не выдумывай, – отвечал Маит Родионович. – На почту тоже кого попало не поставишь. Понимать надо.

Ольга соглашалась.

На другой день снова шла в "разноску", и снова, вернувшись, бросала пустую сумку в угол и падала головой на стол, охала и стонала.

Маит Родионович вставал из-за стола и уходил, чтобы не слышать ее слез.

III

Письмо от Павлуши пришло из госпиталя. Дарья плакала от счастья, прижимала к груди помятый треугольник, целовала его.

– Слава богу, – говорили сбежавшиеся соседи. – Слава Богу, Дарья. Что же ты так? Какой мужик из этакой войны выйдет не раненым?

Дарья и сама понимала, что не надо ей так плакать, но никак не могла успокоить себя.

– Тута он про интернатскую девчонку спрашивает, – перечитав письмо, сказала Раиса.

Дарья кивнула, взяла письмо, положила за пазуху.

– Раз о девчонке в голове мысли бродят, значит, ранение не тяжелое, – заключила Раиса. – Значит, дело на поправку идет.

...Вести в селе не лежат на месте, тем более такие. Женя узнала о письме от интернатских ребят. Они прибежали в школу, окружили ее и наперебой стали рассказывать, что пришло письмо от Павла. Ей хотелось опрометью побежать к Гониным, своими глазами посмотреть на конверт, узнать, что написал Павлуша, но она не могла. Она стеснялась Дарьи, все время ощущала на себе ее взгляды, помнила удивленные возгласы в прощальный час.

Женя старалась не смотреть на ребят. Она стояла, напряженно вытянувшись.

А там, за огородами, виднелась тайга, узкая извилистая тропка, которая терялась за деревьями. Лето пролетело в трудах, незаметно. Первый осенний заморозок обжег на кустах лист, припалил траву, и она, мягкая, жухлая, путалась под ногами. Женя вышла на опушку леса, откуда виднелось все Сосново с извиистой Серебрянкой. В ясный день отсюда легко было различить избу Гониных, сарай и баню, поленницу. Отыскав глазами их избу, спрятавшуюся за крышей Мурзинского дома, Женя круто свернула в гору, чтобы уви-

деть окно, в котором обязательно должен гореть свет.

В селе шли суды-пересуды, каждый строил догадки: отчето Павлуша в письме не обмолвился ни о ком из ушедших с ним на фронт? Вскоре на имя председателя сельсовета из районного военкомата пришла телефонограмма:

"В четверг к поезду пошлите подводу. Павел Гонин".

Маит Родионович, перечитав ее несколько раз, понял, что Павлушу Гонина списали домой подчистую. Правда, он не знал, кто подал телефонограмму: военкомат или сам Павел, да какая разница. Ясно одно: парень отвоевался, и председатель вдруг почувствовал усталость, ощутил боль возле изувеченного глаза.

– Давай, Савва, собирайся. Сбрую как надо избиходь. Первого фронтовика встречать поедем.

– Тут меня ребята из школы одолели, – сказал конюх. – Не возьмете, говорят, пешие пойдем. Че с ними делать? Лошадей свободных нет, все в районе.

– Пусть берут Гнедого да Быстроходку.

– Они на закладке силоса.

– Скажи парням, пусть приведут. Поедем все вместе.

– Дарью-то возьмем? – спросил Савва.

– Нечего ей трястись по бездорожью. Мимо Сосново не проедем.

А люди в селе продолжали строить разные догадки: одни говорили, что его отпустили на побывку, другие утверждали, что на поправку. Но никто не высказывал мысль, что едет он домой подчистую. Только Степанида, про которую стали говорить, что она временами заговаривается, выпалила:

– Помирать, наверное, Павлушу домой отпустили. – На нее зашикали, и она, испугавшись своих слов, замолчала.

...Дорога от станции проглядывалась с пригорка, узкой просекой проваливалась среди стройного сосняка и тянулась до берега Серебрянки, где круто сворачивала к горам. Нетерпеливые девчонки взобрались на деревья, стараясь первыми увидеть подводы. Бабы ежились на сквозном ветру, щурясь, смотрели вдаль.

Лошадь бежала ходко, разбрасывая в разные стороны грязь, весело позвякивая колокольчиком, привязанным Саввой к расписной дуге.

Степанида, размазывая по щекам слезы, первой бросилась к телеге, упала на нее, не поднимая головы. Потом приподняла лицо, пошатнулась, прикрыла ладонью рот:

– Боженька! – проронила она в ладонь, не сразу признав в сутулом солдате Павлушу Гонина. – Что же это они с тобой сделали?

Изба Гониных была полна народу. Все смотрели на Павла, не отводя глаз, чуть слышно всхлипывали.

Костыль Павел оставил у порога, обнял мать, уткнувшись ей в платок. Почувствовав, как она затряслась в его объятии, глухо кашлянул, убрал с шеи руки, ощущая боль от недавних ожогов.

– Ладно. Ладно, мама. Все хорошо. Что уж ты так? – сказал он и, увидев людей, стушевался.

Там, на улице, при всех ему было легче смотреть на них. Теперь, когда они сверлили его молчаливыми взглядами, дожидаясь услышать хоть одно слово о мужьях, у Павла не хватало духу заговорить.

– Павлуша, мужики-то наши как там? – не найдя в себе силы терпеть, спросила Ульяна. – Скажи, однако, уважь.

На лице Павла зажегся румянец и тут же потух. Бледный лоб покрылся мелкими капельками пота, побагровели на шее красноватые шрамы ожогов.

– Живые. Воют, – ответил Павел, отделяя каждое слово.

– Что же наказывали? Может, помнишь? Может, при памяти был? Писали же, что вы все в одном танке пойдете в бой.

– Жить наказывали дружно. Яша так и сказал: дерись, бранись, а за своих держись.

– Это уж точно его слова, – обрадованно крикнула Раиса.

– Это, Павлуша, он завсегда так говорил. Это уж точно его слова, – говорила она, сияя от радости.

Павел будто и не слышал ее. Он смотрел в окно, тяжело

дышал, часто облизывал пересохшие губы.

– Бабы, дайте отдохнуть парню с дороги, – шепотом сказала Дарья, заметив, как побледнело лицо сына. – Устал с дороги, – заторопилась она, догадавшись, что Павлуша сказал неправду.

В эту минуту на пороге появилась Женя Шмакова. Пальто ее было нараспашку, концы серой вязаной шали распушены, густая челка рыжих волос прикрывала глаза. Мгновение она стояла в нерешительности, вглядываясь в лицо Павла. Она не помнит, кто первым бросился навстречу, но как сейчас ощущает запах гимнастерки, пропитанной потом, пылью и лекарствами.

Всего два месяца оставалось Павлу жить. Не успел он наглядеться на Женю, не успел отойти от всего пережитого в недолгих боях.

...Скоро затянувшаяся в госпитале рана на груди начала пухнуть и багроветь. Осколок все чаще сдавливал дыхание, удушливый кашель колотил его по ночам. К утру приходило облегчение, он слабел и, стесняясь своего бессилия, лежал с закрытыми глазами. Не успокаивали боль ни травы, ни настойки Мичихи, никакие уколы.

Дарья, видя маяту сына, скорчилась вся, свернулась в клубочек.

– Может, Павлуша, в баньку сходишь? Попаришься, – сказала она после очередного приступа.

– Не надо, мама, – ответил Павел, пошарил рукой по одеялу, цепкими пальцами сжал ее руку, притянул к горячим губам.

– Ты чо это, Павлуша? – спросила Дарья, загаясь.

– На ноге рану жжет. Ломит, – пожаловался он и отвернулся лицом к стене.

Дарья погладила ему ногу, ощупала, как в детстве, круглое родимое пятнышко.

– Жить! Как охота жить, мама!

Женя застала Павла в бреду. Он метался на подушке, в лице ни единой кровинки.



– Дядя Яша! Дядя Яша! – кричал он, приподнимаясь на подушке. – Подавай снаряды! Скорее! Ты не слышишь, Яша? Дядя Петр, открывай люк. Мы горим. Тащите дядю Васю к воде. Живее, чего вы медлите? – Павел вскочил, седые волосы упали на лоб, закрыли остекленевшие в беспамятстве глаза. – Дядя Яша, ну, что ты, поторопись. Держись за меня и к воде! Скорее! – Павел, обессиленный, упал на подушку, уставил в потолок открытые глаза. – Ну, чего вы все молчите? Ну, вставайте же. Чего я дома скажу? Вам хорошо. Закрыли глаза и спите! – закричал он и стих.

Павел лежал неподвижно. Память возвращалась тяжело и нехотя. Он заскрежетал зубами, крепко сжал кулаки, и стон его, тихий, как голос изнутри, слетел с липких воспаленных губ.

Дарья, припав к спинке кресла, плакала. Глаза ее были прикрыты ладошкой, но слезы просачивались между пальцев и текли по лицу. Все, что в нескольких словах выкрикнул Павел, было страшной правдой. И Дарья не находила в себе силы поднять головы.

– Павлуша, это я, Павлуша, – сдерживая себя, шептала Женя. – Послушай-ка, что я тебе скажу. Послушай.

Павел вздрогнул, подался вперед, уставил широко открытые глаза на окно, но во всем его взгляде была пустота и отрешенность.

– Я говорил? Я что-нибудь говорил? – спросил он, прислушиваясь к голосу Жени.

Дарья вдруг подняла голову, повела глазами, умоляя Женю молчать.

– Я что-нибудь говорил во сне? – спросил Павел, и его голосу нельзя было не подчиниться.

Дарья испуганно встала над кроватью, обтирая кончиками платка мокрое от слез лицо.

– Ты спал. Ты хорошо спал, – целуя бледное лицо Павла, говорила Женя. – У нас будет сын, Павлуша. Будет.

Она говорила торопливо, стараясь подбодрить его, обра-

довать, облегчить его страдания, вселить надежду.

– Спасибо тебе, – ответил Павел и провел дрожащей рукой по ее лицу, голове, прижал слабеющей рукой к плечу.

...К вечеру его увезли в больницу. Он умер утром, когда над селом начинался день.

Третий год кряду осень в Сосново приходила раньше обычного. Враз наступили морозы: лист на деревьях еще зеленым оледенеет, трава на межах ощетинаясь, речка до самых валунов на быстрине льдом покрылась. А солнце, как нарочно, высвечивает Сосново светом, заливало каждую ложбинку, бугорок, канаву, дорогу. Любуйся, мол, человек! Приподыми глаза. Краса-то какая кругом.

В эту пору дел похозяйству и в поле хоть отбавляй.

В первую такую осень многие обманулись, не поверили в заправдашнюю силу холодов, и даже капуста, привыкшая от легкого морозца ядренеть да соками наливаться, не сдюжила. Лист у нее на морозе сварился. Кто порасторопнее, сумел ее раньше вырубить да хоть из середины хрустящие листья на посол выбрать, а кто ждал погожих дней, так и не дождался. Да и со скотиной мороки было не приведи бог.

"В сорок третьем годе этакая зима была, – думала Дарья. – Павлуша тогда с фронта раненым пришел". Она облизнула высохшие губы. В памяти опять возник сын, увидела его мальчонкой в длиннополом отцовском полушубке с шуршащими ледяными сосульками на полах, в обледенелых валенках и с большим колуном в руках на крепком березовом топорище. "Ох, Павлуша, Павлуша..." Как было мало отпущено ему жизни, не порадует он больше ее материнское сердце. А теперь она особенно нуждается в заботе и ласковых словах, когда разные хвори льнут, как репейники в осеннюю пору.

Она вышла из избы сразу, как только на воротах шелкнула щеколда, а в сених еще не успел рассеяться, расползтись едкий дым свежего самосада. Пришурившись, Дарья рассмотрела в расщелину между бревен высокой городьбы, как промелькнул краешек полушубка Степана, как, обойдя кучу сваленных соседом посреди дороги дров, он скрылся за

углом. На ступеньках крыльца, запорошенных хрусткой изморозью, отчетливо вырисовывался след подшитых валенок Степана.

"Все хорохорится, – вздыхая, думала Дарья, – сказывает, будто не болит у него нога, а сам вон как ее по утрам волочит, снег гребет..." Сметая голиком снежный налет с широких плах, она вдруг приподнялась, отодвинула за ухо край тонкой шерстяной шали, прислушалась. Набрал полные калоши снега, она увзяла с поленицы несколько тонких сосновых полешков и, еле переступая отяжелевшими ногами, вернулась в избу. Затопила печь, подвинула к огню чугуны и опустила на скамью, впад в забытье.

Она очнулась только тогда, когда часы на стене пробили девять. Дрова в печи давно прогорели. В большом чугуне сварилась картошка. Вздувшиеся от жары картофелины дымились и шипели.

Дарья провела по мокрому от слез лицу мягкими короткими пальцами, обтерла о фартук влажные руки. Вздохнула и, опершись о колени, встала. Она крепче повязала вокруг головы платок и принялась за дело.

Подумала: "Грех мне Бога гневить, я подле Степана греюсь. Всякое дело с его совета, с его слова справляю. А наши-то бабы все одни, все сами. Ведь вся их бабская жисть и приостановилась с той поры. Одни все, одни, сердечные..." Дарья проглотила комок. "День Павлушиной памяти... Скоро явятся солдатки". Слово "вдовы", раз и навсегда запрещенное Степаном, она не могла и мысленно произнести. "Солдатки они. Солдатки. Запомни это", – сказал он в первый день своего возвращения с войны.

Повиснув тогда у него на шее, она смотрела на него таким взглядом заплаканных глаз, что Степан до сих пор, когда вспоминает, ознобно вздрагивает.

"Миром да собором бабы ребят вырастили. Годы успокоили, притушили бабью тоску и маяту", – покачала Дарья в такт своим мыслям головой. Туго стучала в висках кровь.

Во дворе взлаял хромоногий глухой пес Верный. "Видать, кто-то не свой идет", – решила Дарья и заторопилась... В воротах, как напоказ, выставив ногу в высоком коричневом сапоге на толстой подошве, держась за дверную скобу, стояла Тоня. Не сразу увидев в дверях Дарью, она, притопывая о промерзшие доски, кричала:

– Уходи! Кому говорю: пошел на свое место! – Но в собаке, видать, проснулась прежняя прыть. Пес выпрыгнул из-под крыльца на трех лапах, приподнял дрожащий нос, оскалил зубы.

Тоня завизжала, с шумом захлопнула ворота.

– Чаще ходить надо, – отгоняя Верного, говорила Дарья. – Этакое бояться. Ему в обед сто лет будет. Он уж и еду-то не нюхает, а тебя напужал. Айда, проходи!

Тоня бегом проشمыгнула в избу. Тут же запахло духами, морозцем и еще каким-то еле уловимым вкусным запахом. У порога Тоня расстегнула длинные замки на сапогах, голенища развалились в разные стороны. Повесив на гвоздь драповое пальто с собольим воротником и высокую шапку, она обняла Дарью за плечи и поцеловала ее упругими, пахнущими помадой губами. Все ее тело плотно облегалo черное платье, подчеркивающее высокий бюст и широкие бедра. Глубокий узкий вырез обнажал загорелую шею.

– Каким это ветром? – снимая с плеча Тони соринку, спросила Дарья.

– Без всякого ветра. Взяла да и пришла, – ответила Тоня. – Болеешь? Бледная что-то...

– Зуб можжит, – сказала Дарья, притворно рассмеялась и махнула рукой. – Нашла в ком красу да здоровье искать. Отлиняли мы, голубушка. Время потихоньку отобрало всю красу. А быть может, и красивыми не были, но молодыми, уж точно, были, – и опять засмеялась. Дарья провела ладонью по пушистым, высоко взбитым волосам Тони. – Вот ведь какая вымахала, а? Откуда чо и взялось? – Дарья повернулась к шкафу, стараясь дотянуться до верхней полки, где стояли

тонкие фарфоровые чашечки с позолоченными ободками, из которых она всегда угощала гостей.

– Вот уж сказала: "Вымахала!" Я четвертый десяток разменяла. Петька-то мой в шестой класс пошел. С меня ростом.

...Но Дарья не слышала Тониных слов. Мыслью перекинулась в тот морозный вечер, когда Тонина мать, Ульяна, прибежала к ней, упала на порог и заголосила. Дарья тогда не сразу стала успокаивать ее и говорить утешительные слова. Потому как сама еще толком не знала, отчего у нее сердце зашлось.

– В тягости ведь я, Дарья, осталась, в тягости, – выкрикнула тогда Ульяна, ударяясь лбом о дощатую перегородку. – Что делать-то? Как растить?

И тут Дарья присела к Ульяне, положила ее голову к себе на колени, убрала со лба и щек слипшиеся от слез волосы. А та все голосила:

– Делать-то мне чего? Разве к Скорнячихе идти... – И уставив глаза в передний угол, тихо произнесла: – Так и нести мне ей нечего.

На ее бледном лице проступили веснушки до самых ушей. И была в тот вечер Ульяна полногрудая, мягкая, парная от своей молодой женственной полноты.

– Разве грех, Ульяна, детей-то рожать? – несмело проронила Дарья. – Господь ими не всех награждает. У меня, кроме Павлуши, никого нет. Ушел он на войну, и осталась я одна... На счастье людям Господь детей посылает. В нужде вот живем, а все одно вырастим. Вырастим, миром-то!

По лицу Ульяны скользнула улыбка, и Дарья добавила более уверенно:

– Если слово мое услышать хочешь – рожай. Никого не слушай.

Они долго еще сидели молча, подставив табуретки к печи.

...В тот вечер и выстроилась судьба Тони.

– Взглянул бы сейчас на тебя отец, хоть краешком глаза, – заплакала Дарья.

– Вот ты, тетя Даша, всегда такая. Ну что это такое? – сказала Тоня, обтирая ей глаза носовым платком. – Сколько лет прошло! Ну как бы люди жили, если б все время в трауре ходили? Сама же всем говоришь: живым – живое. А как увидишь меня – так в слезы. Хоть на глаза тебе не показывайся.

Дарья согласно кивала головой, бормотала:

– Прости меня, Тонюша. Не сдюжила я. Все утро какие-то воспоминания... привязались, и оборониться от них сил никаких нет. А про себя думала: "Вот какая у Ульяны есть отрада на старости лет. За все страдания судьба взяла да, как конфетку, Тонюшу подбросила..."

Раиса Гонина летом вышла на пенсию. Ей думалось: наконец-то настала пора свободы и покоя. Теперь не придется в грибную пору с завистью смотреть на баб, которые, сговорившись, спозаранку с берестяными пайвами на плечах и с плетеными корзинами весело шагают к логу.

Не станет она целую неделю уговаривать несговорчивую напарницу Дуньку подменить ее, когда Степан повезет ее в Глухариный сосняк за брусникой, где каждая кочка усыпана ягодой, а тропку к нему через Пятковую топь знает только он один. Сможет она в свободное время и шаль себе связать, и одеяло выстегать, и кружева на наволочки и простыни вывязать, и к своей Любане в гости в любое время съездить в Боровск, где та интернатом заведует. "А уж перво-наперво выплещу, как следует. Закроюсь на крючок и ни на один стук не открою дверь, пока все тело не отдохнет, не ослабится, в руках ломота не успокоится", — думала она.

А оказалось все шиворот-навыворот. Пробыла на пенсии всего три дня, и сон как рукой сняло. Надо бы спать, нежиться в теплой постели, а ее по утрам будто кто в бок толкает. И на часы глядеть не надо: и так знает — стрелка к пяти подходит. А от бессонницы стала приходиться маята. Скоро почувствовала: худеть стала. Куда чего девается? И не только сама заметила, но и люди при встрече стали говорить: "Что-то ты, Раиса, с лица сошла?". А ведь никто не подумает, что ко всякой жизни человеку привыкать надо сызнова.

Бусый рассвет чуть пробивался через окно. На стене обозначились контуры шкафа, полка тяжелой рамы со стеклом, в которой были фотографии всей родни.

По небу лениво плыли густые темные облака. Белая полоса света, прочертившая горизонт, разрежала небо, и оно, раздвигаясь в разные стороны как занавески, освещало край села. На ветру гнулась стоявшая под окном рябина, и

не замеченная никакой птицей примороженная гроздь ягод постукивала в окно.

Раиса торопилась освободиться от пришедших воспоминаний, но они будто поймали ее в капкан. "Вы, Раиса Петровна, красивая женщина, – как нарочно лезли в голову слова кладовщика Константина Бородина, эвакуированного во время войны в Сосново. – Вы даже сами не знаете, какая вы красивая. Я вот смотрю и глаз бы не отводил от вас".

Она вспомнила Константина, мужика невысокого роста, с веселыми глазами, молчаливого. Ей всегда казалось, что он больше разговаривает глазами, чем словами, а заговаривал только тогда, когда закипало сердце.

"Нет, напрасно я все это мелю, – подумала Раиса. – Теперь просто рассуждать, когда шестой десяток пошел. А в ту пору сердце как огонь было. Хоть и похоронку получила, память о Василии жила. К тому времени Степан с войны вернулся".

Это случилось на второй день после возвращения Степана с войны. То ли ему не терпелось взглянуть, как жили жены его братьев, то ли сердце чуяло что-то неладное, только явился он к Раиске как раз в тот час, когда заглянул к ней Константин Бородин. Сердце у нее зашло, задрожали губы, и она, не зная что делать, бросилась Степану на шею, закричала:

– Степан, я женщина красивая!? Красивая!?

Она кричала эти слова и глотала слезы, встав между Константином и Степаном, которые оба молчали, и только глаза Степана вдруг покраснели, а губы стали сухими и бескровными.

– Вижу, что красивая, – пробормотал Степан, убрал ее руки со своей шеи, повернулся и вышел. Раиса бросилась за ним на крыльцо, но не окликнула, а, опершись о косяк, заплакала.

– Ну, успокойся, Раиса Петровна, – переступая с ноги на ногу, говорил Константин, несмело дотрагиваясь рукой до ее плеча.

– Уходи. Ради бога, уходи, – не поднимая глаз, сказала Раиса. – Не до тебя мне. Уходи.

Бородин будто того и ждал.

– Ну, тогда спокойной ночи вам, Раиса Петровна, – сказал и ушел.

...Раиса сбросила одеяло в сторону. В исподней рубаше открыла вьюшку, подошла с вечера нащипанную лучинку, которая вмиг охватила пламенем дрова. Потянулась оторвать на календаре листок, которым был обозначен еще один прожитый день, и вздрогнула: "Как же это так? Как я запомнила? Завтра же день памяти Павлуши", – прошептала она, скомкала в ладони календарный лист и бросила в печь. Веселые блики огня плясали на полу, через решетчатую дверцу.

Она не стала дожидаться, пока протопится печь, чуть прикрыла вьюшку и, быстро собравшись, выскочила на улицу. Раиса торопилась поскорее увидеть Дарью и освободиться от мыслей, которые все утро беспокоили ее.

Над рекой стоял туман, легкой изморозью покрыл берега, припудрил лежавшие штабеля бревен. Возле покрытой льдом лужи дремали, спрятав под крылья головы, две пары соседских гусей. Услышав рокот машины, гуси враз подняли головы, заторопились к реке.

Большой красный автобус вывернул из-за угла переулка и несся навстречу Раисе. Шофер, Алешка Субботин, издали заметив ее, засигналил.

– Здорово, Алешенька, здорово! – сказала Раиса и посторонилась, сошла с бетонной дорожки.

"Ишь, до каких ден дожили – доярок на скотный двор автобусом возят. Ну, ей-богу, жисть пошла: корова только дотронется мордой до железной тарелки – вода польется – пей сколько хочешь! Нажмет скотник Поликарп кнопку, поползет по транспортеру разный комбикорм, силос, ешьте, коровушки! Бабы по скотному двору в белых халатах расхаживают. Ну и жисть пошла! – думала Раиса, провожая взглядом автобус. – Да хоть столовую возьми: разве Светка-повариха

возится теперь так, как я раньше? Разве приходится ей разжигать в печке сырые дрова или золу выгребать, или дымоходы от сажи чистить? Придет – включит электрическую плиту и ждет минуточку, пока нагреется. Нипочем бы наши мужики не узнали своего села. Разве только по речке Серебрянке да по валуну на перекате, да по старым домам..."

Раиса сощурилась, приложила ко лбу ладонь, оглядела улицу и поймала себя на мысли, что дома-то все обновились: с шиферными крышами, наличниками, палисадниками, воротами, даже скамейки у ворот. Необыкновенно красивым показалось родное село Сосново, будто только в эти минуты она по-настоящему разглядела его.

На кордоне, в пяти километрах от Сосново, стояла изба. Она давно опустела, стала заимкой, но в те далекие годы отсюда на войну ушел еще один брат Гониных – Петр. Мария, его жена, вдовой осталась двадцати двух лет от роду, а у нее уже росло трое сыновей. Старшему из них пятый год шел.

Петр Гонин был лесничим, на всю округу один. Кому-то эта работа казалась пустяковой, легче легкого, а для него каждый день был в хлопотах. Когда увалы вдоль реки Серебрянки отвели в заповедные места возле кедровников, а вверх по Пыновке высадили бобров, он дневал и ночевал в урочищах – боялся, чтобы кто не потревожил, не спугнул зверьков. При расставании наказал Марии:

– Живи тут, работу за меня справляй, ребят к ней приучай. Пусть они учатся лесное богатство хранить, зверей беречь. От этого человек добреет.

Мужская работа и есть мужская. Это сразу почувствовала Мария, как только осталась одна. Наденет старую шубейку, подпоясается ремнем, чтобы топор за него сунуть, на плечи крошни с мешком наденет, накажет ребятам, чтоб без нее не озоровали, и пойдет участок оглядывать.

Тайга вокруг Сосново дремучая, синяя. Тропки извилистые, чуть приметные, с засеками на деревьях. Знала Мария, что по каждой из них ходил Петр, что каждая зарубка на дереве его ножом сделана. С любой взгорки, куда бы ни вела тропа, Сосново проглядывалось. Остановится Мария, на густой кедровник взглянет, краешек своей крыши увидит, сердце застучит сильнее. Представит, как ребятки ее поджидают, в окна выглядывают, и ноги будто сами несут к дому. Поначалу, когда было чем кормить ребят, не так душа болела. Знала: то похлебку поедят, то молоко попьют, а как запустила корову, пришли такие дни, хоть глаза закрывай и беги. Ничем не уговоришь, не успокоишь ребенка, если его

голод сосет. Не успеет она двери приоткрыть, на порог ступить, а они одно: "Есть!"

Тогда Мария заметила, что все ребячьи сказки с едой связаны, хоть про репку, хоть про Зайку-Зазнайку, хоть про Красную Шапочку. Начнет она им всякие лесные истории рассказывать, а сама об одном думает: как бы уснули поскорее, как бы про еду до утра не вспомнили. Усыпит их еле-еле, а сама в Сосново. То у Ульяны, то у Дарьи молока возьмет, то Раиса какой-нибудь болтушки в крынку нальет. Все сытнее, чем картошка сухая.

Заметила Мария: ребятишки начали худеть. Пальчики на ручонках длиннее стали, кожа на лице желтее, глазницы обозначились. Глядела на них – глаз просушить не могла.

Может, не так больно переживала бы Мария, если бы кто-нибудь с ней по соседству жил, с кем могла бы она словом обмолвиться, беду выплакать. Вместе всегда легче. А тут куда ни ступи, ни повернись – одна.

"Хоть бы уж ты, Белолобка, над моей бедой смилостивилась, – вздохнула Мария, подходя к коровнику. – Хоть бы ты мои слова услышала". Оттуда тянуло теплом, запахом сена, навоза. Слышно было жалобное мычание коровы.

– Неужто отелилась, сердечная, – проговорила Мария, приоткрыв дверь. – Неужто мою беду учуяла? Пришла мне на подмогу, на спасение моих ребят.

Она гладила потную шею Белолобки, липкие завитки шерсти на сыром теле теленка, касалась рукой тугого вымени коровы. Белолобка в ответ мычала, фыркала ноздрями, лизала спину теленка.

– Уберу я его от тебя. Уберу. Если с тобой оставлю, моим ребятам молока не видать, а так с ними делиться будешь.

Мария подхватила теленка на слабые ноги, чтобы ловчее было приподнять его, и увидела наставленные на нее рога.

– Ты чего это, Белолобка? – спросила Мария. В испуге закричала на корову что было силы, крепче обняла теленка, изловчилась, открыла спиной дверь и вывалилась из сарая.

Дотащила-таки теленка до избы.

Мария нарезала ломтями картошку, посолила и снова пошла в коровник. Корова отдала молоко нехотя. Вымя у нее набрякло, лоснились от натуги соски, она мычала, переступая с ноги на ногу, хлестала жестким, как кнут, хвостом по бокам. Изредка влажный хвост проползал по лбу и щеке Марии, но она не кричала на Белолобку, а причитала:

– Вот пришло мое спасение. Сварю молозиво. Накормлю ребят, и опять один день вперед...

...Она вспомнила все это, когда пришла с младшим внуком Сerezенькой на заимку затопить печь, чтобы не подмерзла в подполье картошка, которую каждый год садили на широкой полосе, раскорчеванной в давнюю пору среди кедрача, где земля оказалась песчаной, плодоносной и родила клубни крупные и вкусные.

Сerezенька бегал подле нее, звенел голосом, как колокольчиком, и она, не все понимая из его слов, согласно кивала головой. Валил редкий косматый снег. Отяжелевшие снежинки лениво кружились в воздухе и, коснувшись земли, изгороди, поленицы, веток деревьев, липли к ним, украшали своей белизной. Настоянный на влажной хвое воздух был душист и дурманил Марии голову. Она прищурилась, будто впервые увидела снег таким волшебным и чарующим. Все сияло от него, отсвечивало, переливалось, и в душе помимо воли рождалась радость ко всему, что было вокруг. Тихо ступая по еле заметной тропке, Мария подошла к огороду, оперлась о почерневшее прясло и посмотрела на распаханную полосу с ровными бороздами, не успевшими побелеть от снега. "Сколько я поработала на тебе?" – подумала она, и ей на память пришли дни, когда она и копала, и полола, и убирала урожай. Подсчитывала, сколько ведер родилось картошки, какую часть оставить на семена, какую на еду, какую скотине, чтобы потчевать ее в зимние дни теплым пойлом.

"Кормилица моя", – думала Мария, глядя на огород, и была рада, что не забыла, не оставила без внимания землю,

которой обязана тем, что вырастила ребят. Взгляд ее остановился на старом кедре с обломанными нижними сучьями. Тут, как и в прежние времена, стоял невысокий стожок сена, накошенный из первостойной травы для первосенка. Мария боязливо посмотрела на стожок сена и пошла в избу, тихо пошатываясь, придерживаясь за маленькую ручонку внука, который, заметив перемены в ее лице, присмирел.

"Боже мой, чего только не натворит молодость?" – Она сморщилась, понимая, что повторяет чужие слова, которые, жалеючи ее, придумали люди. Тогда она не искала и не хотела к себе никакой жалости. Ей хотелось, чтобы люди ругали ее, травили, а они, как сговорились, молчали. "Может быть, своим молчанием и казнили меня? Да что люди? Память о Петре я сама опоганила. А эта ниточка так по жизни за мной и тянется. Грех ведь на мне лежит великий".

Она задрожала вся, заторопилась лечь на кровать, надеясь, что скоро это пройдет, стоит только потерпеть.

...Явился тогда Леньша Горцунов, и накатило затмение. Ну какое затмение? Любо было слышать его говор. Любо. Даже не оттолкнула его, когда он зачал ластиться. Прижалась, прильнула как кошка, ослабла в его объятиях, забылась на ночь, а оно вон как обернулось.

Дыхание Марии становилось частым и громким. Она лежала и чувствовала жгучую сухость во рту, будто внутри все палило, и шершавый язык еле касался обметанных жаром губ. А память высвечивала ее единственный греховный день.

Вспомнила Мария, как прибежала к ней на заимку Ольга Шатина, соседка гонинская. И расписала в подробностях, как Ипполитко, дровокол в столовой, не иначе как кем-то наученный, принародно отрапортовал Степану:

– Гонинским мужикам кручиниться нечего: сами воюют, а род продлеваается. Марии, к примеру, лесовичок мальчонку подбросил.

Степан, как сказывала Ольга Шатина, кашлянул, моргнул

несколько раз левым глазом, возле которого лежал красный шрам, прищурился и ответил:

– А это наше, гонинское дело, нам его и разбирать. – Сказал как отрубил.

Слушая соседку, Мария дрожала, не зная, как встретится со Степаном. Он пришел на заимку на второй день под вечер. Увидев его на пороге, Мария похолодела и бухнулась на колени.

– Еще чего, – сказал он, строго коснулся рукой Марииного плеча. – Чего конфузишь меня перед ребятами!? – буркнул и присел к столу.

Ребятишки, отвыкшие видеть в избе мужчину, насупились и стали прятаться под одеяло.

– Вы че, ребята? Это ведь наш дядя Степан пришел. Вы че это напугались-то? – сквозь слезы говорила Мария, поправляя ребятишкам взлохмаченные волосы. – Сколько раз я вам про него говорила? Че же вы так, а?

Мария металась по избе, как пойманная мышь в мышеловке, и, не найдя места, села на порог, заголосила, уткнув лицо в фартук. Степан не уговаривал ее, не успокаивал, но когда захныкал в висевшей посреди избы зыбке малыш, он встал, откинул ветхий полог.

– Ну как растешь, мужик?

Из зыбки послышалось радостное воркование.

– Назвала-то как? – просил Степан и, сооротив из двух пальцев "козу", пощекотал малыша.

– Никак еще, – кусая губы, ответила Мария. – Тебя ждали.

Слова Марии подкосили Степана, от них он опешил и размяк.

От ее слов все круто повернулось в его душе. Палец, который он не убрал из зыбки, царапали острые коготки малыша, тянули к себе. Скоро Степан ощутил прикосновение к ним влажных детских губ. Он попробовал убрать руку, но не смог. Малыш, вцепившись, тянулся за ней.

– Вставай, вставай, Гонин! Расти большим! – наклонившись

над зыбкой, говорил Степан, глухо кашляя в кулак. – Видать, крепким парнем будешь!

Мария не помнит, как очутилась возле Степана, бросилась ему на шею, запричитала.

– Не вздумай парня на какую чужую фамилию записать. Чтобы все как надо, чтобы все аккуратно было. Чтобы все под одной крышей жили. – Сказал и заторопился выйти из избы. Он долго стоял на крыльце, курил, потом вернулся, подержал на руках каждого из ребятишек и не говоря ни слова ушел.

...Лениво, как не свою, Мария повернула голову, обшарила каждый угол избы, будто хотела увидеть Степана в солдатской гимнастерке с блестящими на груди воинскими наградами.

– Ты, бабушка, опять про войну? – спросил внучек, подавая ей шарф.

– Про нее, окаянную. Про нее, Сереженька. Ее ведь никому забывать нельзя. – Мария взяла с приступа печи висячий замок и вышла на крыльцо.

Утро открыло дали. В стороне, за рекой, виднелись припорошенные снегом стога. У поворота обозначился санный след. "Кто-то из сельских мужиков за первосенком поехал. Пожалуй, Афанасий Горцунов. У них сено на правобережной стороне реки, а через Серебрянку сейчас еще не проехать. Лед хрусткий".

В новой избе, которую Степан срубил после войны, самую большую часть занимала кухня с печкой посередине и крашенными лавками вдоль стен. Поговаривали, что Степан, специально так сделал, не было дня, чтобы к ним не заглядывали солдаты.

Ульяна года два назад принесла с собой стеганку, пожаловавшись Дарье, что от сидения на жесткой табуретке у нее стала ныть поясница и отдавать в спину. Раисой было облюбовано место на лавке возле окна, откуда просматривалась улица до самого берега. Мария ставила табуретку поближе к двери, поскольку прибегала припоздав, да и срывалась первая. Хозяйка дома, Дарья, постоянного места не имела, садилась где придется, но последнее время чаще присаживалась к Ульяне, возле печки, погреть спину.

В теплой кухне у Дарьи было уютно, просто и все под рукой. В ней стоял, как говорила Мария, сытный воздух. От печи шел то ароматный дух морковных и брюквенных паренков, то топленого молока, то картофельных щей. Сегодня пахло тушеной капустой. Они насолили ее целую бочку, с укропом, как любил Степан, а верхние слои оставили нарезанными тонкими пластиками. Бабы сидели молча, за день они умаялись, и теперь каждая сидела со своей думой.

– Что-то Евгения Николаевна долго не идет, – сказала Ульяна. – Темнеет уже.

– Опять какое-нибудь заседание али бюро, – ответила Дарья, подвигая табуретку поближе к печи. – У них, у партийцев, делов век не переделать. Везде надо быть, везде поспеть.

Осенний день угасал. Через отпотевшее стекло вырисовывалась темная крыша соседнего дома с высокой трубой и жестяной копылухой, приделанной специально для укрытия от снежных заносов.

Совсем неожиданно Раиса затянула:
– Отец мой был природный па-а-харь!
– Ты че, одурела? – в испуге прикрикнула на нее Мария. –
Не нашла другого дня?

– А теперь и поминки справляют по-новому: пьют, гуляют, песни поют. Говорят, что при жизни человеку любо было, тем и вспоминать надо, – ответила Раиса.

– Нашим мужикам не до песен было, – воткнув веретено в серый пучок шерсти, сказала Ульяна. – Какими их помним, так и вспоминать будем.

Распахнулась дверь, и на пороге появился Степан. Он с минуту постоял, подержался за косяк и сел на лавку.

– Фу, – шумно выдохнул и обмяк.

Бабы замерли.

– Ладно ли с тобой? – закричала Дарья, подбежала, сдернула с головы шапку. Степан набычился, стараясь приподнять голову, взгляд его был блуждающим и не мог ни за что зацепиться.

– Че это с ним? – прошептала Ульяна. – Врача вызывать надо.

– Да пьянехонький он. Не слышишь, че ли, какая душища от него! Где его так угораздило?

– Так я и знал: тут оно, мое бабье царство, – задыхаясь, выкрикнул Степан, силясь подняться. – Так я и знал: тута они!

– А где бы им еще быть? Да тем более сегодня. Бога побойся, что мелешь! – кричала Дарья, туже завязывая платок вокруг головы. Но Степан не слышал ее, не видел укоряющего взгляда.

Остановив взгляд на Раисе, он сощурился, сплюнул с губ присохшую соринку табака и протяжно сапросил:

– Это-о-о-о ты, женщи-на кра-си-вая?

– Ты чего разбрызгался слюной-то? – закричала Мария, несколько раз тряхнула Степана за плечо, будто хотела разбудить его.

– Но, но! Поаккуратнее. Я вот доберусь до вас. Каждый из-за вас мне в нос тычет, мол, Степан-то снохам не дал ходу. А на кой мне ляд такие упреки слушать? – Он припал головой к косяку и забурчал что-то непонятное.

Разморившись в тепле, обессилел, пытался привстать, но не смог. Схватился узловатыми пальцами за косяк, от каждого движения косяк скрипел, из расщелин на пол сыпалась мелкая известковая пыль.

– Поаккуратнее, поаккуратнее! – бормотал он, намереваясь встать. – Вот погодите, я до вас доберусь. Я вас всех еще замуж растолкаю.

– Ты че мелешь-то? – всплеснула руками Мария.

Никто не знал причину накотившей на него блажи. Столько лет на диво всему селу он терпеливо, samozабвенно тянул изо всех сил заботы о семьях погибших на войне братьев.

Степан не замечал, как годы отнимали у гонинских вдов бабью статью и красу, не думал, что вдруг ни с того ни с сего ему поставят в вину их одиноко прожитые годы.

А началось все с ничего. Утром, как и обещал, он пришел на работу в совхозную мастерскую, куда частенько звали его, особенно в конце месяца, когда скапливалась работа. Мастер Захар, с которым они проработали много лет, как и было условлено, накануне прислал ему записку. Степан, соскучившись по работе, пришел рано. Сторож Никита Чупров нехотя встал с деревянного топчана и пробурчал:

– И охота тебе, Степан Иванович, вставать в такую рань.

– От лежания во всем теле ломота зачинается, как зубная боль, – ответил Степан и пошел в мастерскую.

Запах огненной стружки, солярки, гари пропитал стены, пол, двери, каждую мелкую деталь. Степану казалось, что, подышав им, он успокаивается.

В окно мастерской заглядывало утреннее солнце. Оно осветило дальний угол с кузнечной печью, токарным станком. Степан подошел к станку, включил, сделал несколько оборотов, облегченно вздохнул, принялся вытачивать втулку. Но

заметил, что непривычная торопливость мешает ему, и он остановил станок, огляделся по сторонам. В мастерской никого не было. "Отвык, — мелькнула мысль. — Сноровка потерялась. Так же было после войны. Сколько поту прошло, пока в руки ловкость поймал".

Скоро пришел Захар, кузнец Каллистрат, и мастерская наполнилась привычным рабочим шумом и грохотом. Настроение радости жило в нем весь день, и когда Каллистрат позвал его отведать после трудового дня ягодной бормотухи, с охотой согласился.

Выпитая настойка скоро ударила в голову, пошли разные разговоры. В хмельном угаре всяк волен болтать, за что ум зацепится, потому как в это время у человека душа не при себе, а как бы на растерзание черту отдана.

— Ты мне, Каллистрат, какую-нибудь загогулю припас? Знаю я тебя, — сказал Степан, обтирая большим серым платком вспотевший лоб. — Только честно скажу, припоздал. Теперь, считай, наша с тобой главная дорога отмерена и все вешки на ней расставлены.

Каллистрат захохотал, выставил напоказ темные зубы, почесал затылок:

— Это ты верно сказал: дорога главная у нас отмерена. А вот как бы возвернуть лет с десятков назад?

— А на что десяток? — не согласился Степан. — Уж если бы такое счастье выпало, я бы на больше размахнулся. Сказал бы: подавайте молодость мою!

В глазах у Каллистрата засверкали недобрые огоньки. У Степана от выпитого вина замельтешило в глазах. Он несколько раз хлопнул веками, уставился на Калистрата.

— Ты чего?

— Да так, — ответил Каллистрат, наливая Степану стакан до краев. — Пошли ко мне, тут не тот разговор.

Его дом стоял в узеньком переулке, на взгорье. В огороде и с уличной стороны росли березы, оголенные ветки шумно свистели на ветру. Ступеньки к калитке, выдолбленные

в земле, были выметены. Из распахнутой двери вырывался веселый наигрыш гармошки.

– У тебя там гулянка? – поскользнувшись на ступеньке, спросил Степан и остановился. – Мне, Каллистрат, сегодня некогда. Да и взбираться на твою гору несподручно. Нога нынче разболелась.

– Да ладно, – бурчал Каллистрат. – Пошли. Другого такого разу, может; и не будет.

В это время избяная дверь широко распахнулась и на пороге показался каллистратовский сосед – Гордей Курышкин с растянутой гармошкой через всю грудь.

– Это в кои веки сам Степан Гонин с мужиками разговелся? – кричал Гордей, спускаясь по промерзлым ступенькам и протягивая руку. Ремень гармошки сполз с плеча, гармошка растянулась до земли, и запавшая клавиша тянула одну визгливую ноту. Лицо Гордея было вдоль исчерчено мелкими морщинками, как угольки в загнете светились темные глаза. Он что-то бормотал.

Степан вначале не обратил внимания на его бормотание, но закатыстый смех Каллистрата насторожил его.

– Чего ты сказал? – спросил Степан.

– Чего слышал, – ответил Гордей, передернув от холода плечами, и побежал в избу.

– Не-ет! Ты мне повтори, что сказал? – кричал Степан, влетая за ним в сени. – Нет. Ты мне выкладывай, чего пролепетал?

– Широко улыбаться будешь, если услышишь, – ответил Гордей.

– Будет вам. Перестаньте, – закричал Каллистрат с порога.

Но Степан уже выдернул из его рук гармошку, схватил Гордея за грудки...

– Чего на горе мямлил, повтори? – орал Степан. – Сказывай, на что намекал, а не то придушу как клопа вонючего!

На Гордея с перепугу напал чих. На лысой голове выступил пот, от крепко натянутого воротника рубахи краснела

шея, багровели щеки.

– Про баб гонинских говорил. Ну и че? – закричал в лицо Степану Гордей. – Чего как черт взбесился? Видно, знаешь свою вину перед ними, а?

– Че про них говоришь, поганник?

– А то, что ты таких баб навечно вдовами оставил. Бабы-то кровь с молоком были, а зачали из-за тебя! Все с прижатыми подолами прожили. А кто виноват? Ты! – кричал Гордей, ощупывая покрасневшую шею. – Да! Ты!

Степан сразу отяжелел, грохнулся на стул, уставившись на Гордея немигающим взглядом.

– Ты, пустомеля, замолчи, – пригрозил Гордею Каллистрат, заметив, как Степан сошел с лица, сгорбился вдруг и склонил голову над столом.

Он плохо помнит, кто проводил его до дома, очнулся только когда перешагнул порог. Увидев в кухне Дарью, Ульяну, Раису и Марию, у него на глаза навернулись слезы. "А ты спросил их: нужна ли им твоя опека? – доносился откуда-то издали голос Гордея. – Да они тебя совестились. А ты будто не видел, все кряхтел, все выбуривал взглядом исподлобья".

– Значит, я у вас молодость украл, да? – спросил Степан, покачивая головой. – Значит, вы меня совестились? Значит, так? – Степан швыркнул носом, размазал по щеке слезы.

– Да не слушайте вы его, бабы, – рассердившись сказала Дарья.

В эту минуту на пороге появилась Евгения Николаевна. В суете не поняв, что происходит, она бросилась к Степану, прижалась к нему щекой и, услышав его бормотание, заплакала.

– Не реви, лучше помоги затащить его на постель, – еле разгибаясь, говорила Дарья.

– Во, окаянный, наканифолился. Он хоть и худой, а такой тяжелющий.

– Не слушай их, Женя. Они вот сговорились и тиранят

меня, – говорил Степан.

Степан то ли устал, то ли понял, что ему с бабами не совладать, и успокоился.

Евгения Николаевна, осторожно стаскив с него валенки, вздрогнула. Она еще не поняла отчего, но застыла на месте. У Степана на косточке слева было красноватое родимое пятнышко, точь-в-точь такое, какое было на ноге у Павлуши. Собрав в себе силы, Женя постаралась, ничем не выдав своей растерянности.

– Че же это вы, бабы? Че напугались? Лежит вон, бормочет. Раиса, че молчишь? Неужто так тяжело было? Завтра постыдим его как надо.

– Будет у нас рожей-то вертеть, – говорила Дарья, шаркая ногами по крашеным половицам.

Прожив всю жизнь возле Степана, Дарья не знала бабьей тоски. Не знала, как бывает необходимо после суматошного дня кому-то пожаловаться на усталость, на свои обиды, хоть ненадолго почувствовать себя защищенной.

А в избе стояла тишина, ни звука, ни вздоха, ни шороха. Даже часы на стене не тикали. Неожиданный храп Степана нарушил тишину.

– Че я вам говорила? Слышите? – сказала Дарья, облегченно вздохнув.

Снова в избе стихло. Бабы погрузились в свои воспомина-ния. Каждая вспомнила свою жизнь, свою любовь, искаленную проклятой войной.

– Милые вы мои, – прошептала Дарья и замолчала. "Нет, Дарья, ты счастливая. Все твои обиды – не обиды, все твои беды – не беды. Подле тебя Степан", – вспомнила она слова однажды, оброненные Ульяной. Теперь они всплыли в ее памяти, и она, осознавая их смысл, шептала: "Милые вы мои. Милые!"

В это утро Степану не хотелось открывать глаза. Припоминая вчерашний вечер, он начал охать и вздыхать. Лежа на подушке, он вытягивал шею, пытаясь увидеть на кухне Дарью.

– Не представляйся, богохульник, – услышал голос Дарьи. – Ишь, стонота на него напала. Ты хоть помнишь, какую окоlesiцу вчера нес, а? Как хоть сегодня бабам в глаза смотреть станешь? У меня от твоей вчерашней болтовни поясница отнимается, – ворчала Дарья.

Степан пробурчал:

– Охота тебе была надсажаться, волочь меня на кровать. Откуда только сила взялась?

– А слова-то какие ты поганые молол, срам.

– Но ты, поаккуратнее, поаккуратнее, – отмахивался от нее Степан.

Дарья ушла, но от этого Степану стало не легче, а наоборот, тошнее, он опять застонал. Его мучил стыд перед женами братьев. Он знал, что они простят его, махнут рукой на то, что он наговорил им по пьяному делу. Он снова позвал Дарью.

– Посиди со мной. Вот сюда, – отодвигая ногой одеяло, сказал он.

– Когда сидеть-то? Или запомнювал? На кладбище собираться надо. Они же к нам придут.

– Не забыл. Ты садись, садись.

Дарья подумала, что хватит ей изводить мужика, который и так переживает все утро, присела, положила тяжелые руки на колени.

– Ты мне скажи, только по совести, будто смотришь на меня чужими глазами, – начал Степан, облизывая сухие губы.

– Это как мне на тебя глядеть чужими глазами? – спросила Дарья.

– Ну, будто ты со стороны на меня, на всех нас, гонинских, смотришь.

– Это ты к чему такое говоришь?

– Да перестань ты. Ничего в моих словах чудного нет. Ну как тебе кажется со стороны: есть моя вина в том, что бабы наши всю жизнь вдовами проходили? Замуж не вышли?

– Ты опять за свое! – рассердилась Дарья, собираясь встать.

– Постой! – закричал Степан. – Я тебя по-доброму, на полном сурьезе спрашиваю. Есть тут моя вина?

Дарья, не готовая ответить Степану, удивленно смотрела на него.

– То-то и оно, – сказал Степан. – То-то и оно. Сказать нечего. А вот люди винят меня. Мол, это от моей строгости так у них жизнь обернулась. Засушил, мол, я баб на корню. Поди, докажи людям, что не так. На всякий роток не накинешь платок. – Дарья молчала.

– Вот какие крендел-и-и-и, – протянул Степан.

– Про то их самих спросить надо, – осторожно сказала Дарья, мало-помалу понимая суть сказанных Степаном слов.

– Как же, – сердито ответил Степан и покачал головой. – Только теперь и пришла пора их спросить: мол, не считаете ли меня виноватым? А то, может, думаете, что я вашу молодость украл?

Дарья заплакала.

– Еще ты расквася, – сказал Степан и пошел умываться.

За дверью послышались шаги. Догадавшись, что это идут невестки, он заторопился, ополоснул лицо и сказал:

– Ой, бабы, бабы! – В голосе его было такое раскаяние и сокрушение, что Ульяна не выдержала:

– Сон-то, Степанушка, ты отнял у меня этой ночью, – сказала она глуховатым голосом, поправляя выбившиеся из-под платка седые прядки волос. – Слова все выкручивал с подковырками, но все они припоздали. Если бы поране это сказал, может пообиделась, теперь жизнь прошла. Что говорить? Но

ты всякому, кто нашу долю солдатскую оплакивать начнет, в шары наплюй. Незряшную жизнь прожили, а самую пугливую. Как солдаткам судьбой положено... И мужики не зазря головы сложили, никто такое сказать не посмеет. – Ульяна подошла к Степану и погладила его по плечу: – Ладно тебе. Отбормотал вчера и будет. Айда собирайся, и так припоздали.

Дарья достала из сундука гимнастерку, в которой Степан вернулся домой с войны, потянула рукава, осмотрела ворот, локти и потрогала дырочки повыше карманов – следы от ордена Красной Звезды и медалей. Нитки возле этих мест выбелились, разрешетились. Степан, одеваясь, приложил гимнастерку к лицу, несколько раз вдохнул, обтер подолом глаза.

– Дымом что-то пахнет, – сказал он.

– Собирай больше, – обиженно ответила Дарья. – Каждый год после поминок стираю. Поди за столько-то лет отмыла дым и копоть. – Степан ничего не ответил, приподнял подбородок, долго застегивал верхнюю пуговицу и сквозь прищур глаз пристально вглядывался в лица невесток, припоминая их прежних молодых.

Теперь, как он приметил, все они походили друг на дружку. Горе уравнило их, годы подогнули одну под дружку. "Разве что Евгения стройнее, потому что моложе да и имеет статью. А тутешние бабы все с зыбкой походкой, с тяжелеющим к старости шагом".

Ему вдруг показалось, что они все как сговорились, не обращают на него внимания, а опекают, ухаживают, слушаются только для порядка.

"Нет, не горемычные они, не беззащитные, не немощные. Нет. Не согнула их жизнь, – подумал Степан. – Живут справно. Трудовую копейку беречь умеют". Степану подумалось, что ведут они себя перед ним смиренно, не перечат по давнишней привычке, как бы отдают свой долг за те горькие дни и годы, когда он не оставил их в беде, каждой успевал

подставить свое плечо, сказать слово.

– Скоро ты, что ли? – окликнула его Дарья. – Хватит тебе копошиться. Вчерась так один за четверых управлялся. – Она говорила это скорее любя.

С годами солдатская шинель Степану стала велика, рукава повисли, будто не его это шинель, а с чужого плеча. Он застегнулся, потуже перетянул ремень.

– Может, в валенках пойдешь? – спросила Дарья. – На улице склизко.

– Чего выдумала. Кто это солдатскую форму нарушает? Солдат должен быть солдатом. К тому же к солдату иду.

– Как знаешь.

На улице поднимался ветер, раскачивал ветки рябины, пробегал по деревьям, не успев набрать силы. Степан почувствовал озноб, опустил у шапки-ушанки уши.

Выйдя на середину сельской улицы, оглянулся и пошел, высоко подняв голову, широко размахивая руками, переступая с ноги на ногу, будто отыскивал строй. Холодный ветер разбрасывал полы старой солдатской шинели. Под тяжелыми сапогами глухо стучала замерзшая земля.

Степан шел, оглядывая сельскую улицу, хорошо знакомую с мальчишеских лет, на которой каждая пядь была тысячи раз искожена и каждая избенка и даже скамеечка у ворот познана до пятнышка. К своему удивлению, Степан как бы вдруг впервые увидел эту улицу. Здорово изменилась она! И новая школа, окруженная большим садом, и Дом культуры, построенный на возвышенном месте, к которому вели широкие ступеньки, и добротные дома, появившиеся вместо прежних подслеповатых в два окна приземистых хаток... "Ах ты, Сосново, Сосново!" – почему-то глубоко вздохнул Степан, и самому непонятно было – чего это вздыхает: или глухая тоска по привычному, или тайная радость от того, что родное Сосново становится иным – широким, красивым, добротным и совсем новым.

Степан окинул взором заснеженные поля за домами, по

которым дымными струями металась поземка, промерзшие ветки деревьев, на которых кое-где осталось по два-три уцелевших листа. Не так давно вот на этих полях шла битва за хлеб. В своем воображении он видел неоглядные золотые просторы, на которых лежали валки скошенной драгоценной пшеницы; клубились густо-зеленые сады, окропленные солнечным соком.... Сосново в цвету, в отсветах осеннего солнца...

"Ох ты – наваждение! – подумал Степан. И тут же горестная мысль пронзила: – Сколько людской крови пролито за тебя, родная земля!" Мысль Степана вернулась к тому, к кому он шел – к Павлу, к могиле солдата. Для него, русского крестьянина и русского солдата, отдавшего свою кровь за Родину и за свое Сосново, нет смерти и нет забвения.

Шаг за шагом Степан шел увереннее, изредка посматривая на баб, которые старались не отставать от него, шли молча, чуть пригнув головы.

Прохожие, издали узнав Гониных, останавливались, по живущей в народе традиции вставали сзади и шли на кладбище.

Степанида, перегнувшись от старости пополам, неуверенными движениями застегивала на шали булавку, торопилась за всеми.

Ворота на кладбище были заперты. Глуховатый работник выскочил на крыльцо избушки и заторопился открыть замок.

– Запомню, унес бы меня лешак. Запомню. Вот наказанье-то, – бормотал он, стаскивая с головы шапку.

От ворот дорога разделяла кладбище надвое. Прямо висел гранитный памятник с пятиконечной звездой. Его поставили сосновцы Павлуше Гонину, единственному солдату, умершему дома от ран, поставили на вечную память.

Возле памятника стоял Дмитрий Гонин. Он стоял, наклонив голову. Евгения Николаевна, прижавшись к нему, молча сунула в руки носовой платок, хотела сказать что-то, но не смогла. Слезы потекли еще обильнее по ее щекам.

– Он в ту пору в два раза был моложе тебя, – тихим, сдавленным голосом прошептала наконец Евгения Николаевна.

В ответ Дмитрий осторожно погладил ее горячую руку.

– Нам с тобой не довелось на отцов взглянуть. Другим Гониным легче, – шептала Дмитрию Тоня с другого боку.

– Ты на наших матерей смотри, Тоня. – Дмитрий несколько раз кашлянул с какой-то наугой, собрал пятерней густые, свисавшие на лоб волосы. – Вот у кого силе учиться надо и кому не забывать "спасибо" всю жизнь говорить.

– Настоящие они солдатки. Верно зовет их дядя Степан.

Вдовы Гонины присели возле памятника в полукруг. Степан смотрел на их спины, прикрытые черными платками. Душа его всколыхнулась. Он хотел отвести взгляд, но не мог. Смотрел на склоненные головы и чувствовал, что в нем просыпается желание, чтобы и его люди помнили, как эти солдатки своих мужей.

**СКАЗАНИЕ О ГЕРОЕ АЛЕШЕ И ЕГО ЗЕМЛЯКАХ
БУРУНДУЧОК
ЛЕЙТЕНАНТОВА ЖЕНА
ДЕДУШКИН РЕМЕНЬ
ЗАЯЧЬИ ГОСТИНЦЫ
ДРОВОКОЛ ГОША
МИХЕЕВЫ ЖИВУНЫ
ЗВОНОК СРЕДИ НОЧИ**



РАССКАЗЫ

СКАЗАНИЕ О ГЕРОЕ АЛЕШЕ И ЕГО ЗЕМЛЯКАХ

Места наши глухоманные, село невеликое, кучное, к горам жметя. Самая заглавная краса – скалы зубчатые. Острыми вершинами они в небо целются, тучи режут. Из глубоких расщелин круглый год светлые ключи бьют.

С высоты этих скал каждая избенка и банька видна, каждая бороздка в огородах. С какой стороны ни кружат тропки, а все равно в село выведут, потому что перед скалами речная долина тянется, по одну сторону – тайга стеной поднимается, по другую – вязкая низина, по которой раз в году дедушка Мохнаткин сельских баб за скороспелой смородиной по своим вешкам водит.

В весеннюю пору на выступах скал пушистые подснежники распускаются. Обнимут они холодный камень стебельками да листочками, разнарядят белизной замшелые валуны.

Ближе к летней поре в ложках между камнями, куда солнце чаще заглядывает, первая земляника румянится.

Водилось в этих местах и золотишко, в россыпях попадало. Работа надсадная. Копошились люди в земле от темна до темна.

Среди многих золотарей Андрюха Елизаров приметным был. Веселый, в работе ловок, и в руках сила – золотой двумя пальцами складывал. Не зря у него кликуха была – Медвежатник.

Взыграла однажды в нем буйная сила. Дал он оплеуху одному из обидчиков, и пошла с того дня вся жизнь Андрюхи наперекос. Вроде бы со всех сторон он прав, да кнутом обуха не перешибешь. Штрафы посыпались. Довели мужика до нищеты. А ему шесть ртов кормить надо.

Не зря говорят: беда не приходит одна. Вскорости в Сухом логу медведь их корову задрал. Выбрал косолапый из стада елизаровскую Красульку. Лежала коровенка на зеленой траве,

голова запрокинута, рога вразлет, на лбу белая звездочка, на плетеной веревочке ботало. Присел Андрюха, провел шершавой ладонью по Красулькиной морде, по хребту, взглянул на тугое, набрякшее вымя, подумал: "Жить-то теперь как? Не видать моим ребятам молока". Слова оказались вещими: стали маленькие дочки у Елизарова вянуть, как цветочки без воды. Ни кора черемуховая, ни отвары малиновые, ни вода клюквенная не помогли. Скоро сколотил Андрюха три маленьких гробика. Унесли девчушек на кладбище. Заледенело у него сердце, у жены Раисы падучая болезнь приключилась, а тут и старики преставились.

В один из дней проснулись соседи, а окна Андрюхиной избы плахами заколочены, ворота бревнышком приперты. Куда? В какую сторону ушли? Никто не знал. Догадки строили: мол, ушел Андрюха на рудник.

Ушел и ушел. Забыть не забыли, а вспоминать не вспоминали. У всех своих бед и забот полно.

А человек, сколько ни колесит по белому свету, а родная сторона тянет его к себе. Тоска к Андрюхе стала подкрадываться. То вдруг приснится Барановская дорога, грязная, с непроходимыми болотами, и будто бегут по ней бабы на покос, только берестяные пайвы за спинами мелькают, а он так и норовит каждую спросить: "Как там мужики поживают? Какое золотишко пошло?" – да как нарочно тут и проснется. В другой раз Андрюхе Серега Чудинов приснился. Будто Серега его спрашивает: "Ты, чего, Андрюха, домой не идешь? Хватит тебе суда разгружать, мешками да кулями спину утужить. Твоим рукам и дома дело найдется". И жена Раиса домой стала звать.

Воротился домой. И, на диво себе и людям, Раиса в три года троих сыновей родила.

Ребятишки поднимались здоровые, крепкие. Были они у отца, как топорики за поясом. Во всяком деле помощники.

Жизнь в селе шла своим порядком, как текла речка по перекатам: на мелких камушках журчала, возле валунов пенилась,

между скал билась о каменные утесы. И все бы ладно, все хорошо, но неожиданно-негаданно прилетела весть о войне.

Первым услышал о войне сельсоветовский сторож Савелий. Среди ночи зазвенел большой настенный телефон. Поднял Савелий трубку, поднес к уху. В черненьком кружочке послышался треск, и глухой, будто с того света, голос.

– Мине, мил-человек, како-то поганое слово слышится. Тугоухий я. Ишо в гражданскую контуженный, – бурчал в трубку Савелий, боясь поверить слову "война". А в трубке уже слышались протяжные гудки. "Неужто опять германец попер? – подумал дед. – Он ведь, сказывали мужики, все державы под себя подмял. Силищу каку собрал. Че теперича будет? Прощайте, ребяташки!" К ногам его будто гири привязали, а по спине словно палкой ударили. Передохнул на лавке, побрел будить сельсоветовского председателя. Шел, дороги не видел. Если бы не блудливая черемновская корова, которая разлеглась поперек тропки, прошел бы избу. В памяти поименно перебрал односельчан. Молодых парней, которые были на срочной службе. "Где-то возле самой границы Георгий Вилисов служит. Поди, ужо и в бой вступил. Теперя ведь аэропланы всякие, машины". Вспомнился деду Савелию Гоша Вилисов: "не высокий, не плечистый, а всегда впереди – хоть с горном пионерским, хоть с флагом. И вся молодежь возле него гурьбой. Нет, не поддастся такой парень никакому германцу. Нипочем не поддастся!"

Узловатым пальцем, пожелтевшим от самосада, постучал в оконную раму. Откинулась ситцевая задергушка сам председатель в исподней рубахе. Глядит на оторопевшего сторожа.

– Приехал кто? – спрашивает. Дед молчит. Как окаменел весь.

– Помер кто? Или пожар где?

– Война, – выдавил дед Савелий. – Германец напал на нас, будь он трижды проклят.

С того часа встревожилось село: день и ночь будто звенел

над ним невидимый колокол.

На широком сельсоветовском дворе с утра толпился народ. Все ждали слова от приехавшего в село молодого офицера. Мужики, которые в прошлую германскую войну пороха понюхали, вздыхали, будто вдруг распались в телах притихшие раны. Бабы, предчувствуя беду, голосили и причитали.

Через пять дней отправляли на войну односельчан. Ушли они, оставив нескошенными покосы, недостроенными избы, не убранными поля. К той поре старший сын Андрюхи Елизарова – Алексей – подростком был, хотя и росту высокого.

– Рановато тебе, сынок, – сказал офицер в зеленой гимнастерке, отложив в сторону его заявление. А у Алексея не было никакого терпения ждать, когда его возьмут на фронт. Вскороости не стало в селе Алешки.

– Наверное, на фронт убежал, – говорила мать. – Видела я в сарае котомку, но не подумала, что он, варнак, бежать собрался. Думала – на покос пошел.

Каждый день в селе раскраивался по-новому. В самую жаркую, сенокосную пору, когда в луговых низинах тяжелела трава и ждала косцов, они вместо литовок взяли вещевые мешки.

Встали в строй один к одному, как кедрчак к кедрачу: Сильвестр Шабунин, Славик Любанович, Василий Тугулуков, Ваня Панов, Павел Панов, Миша Торопов, Володя Куприн, Семен Шелуносков, Серега Чудинов, Женя Сторожев.

Шли до железнодорожной станции ровным шагом по пыльной дороге с глубокими колеями от тележных колес. Бежали стороной мальчишки, не сознавая до конца тоску расставания, и выкрикивали: "Бейте фашистов! Выгоняйте их с нашей земли!".

Мелькали за окнами перелески-балки, поля, крыши сельских изб. На каждой тропинке, на каждой обочине стояли в низком поклоне бабы и старики, провожая воинский эшелон. Три месяца подготовки в военном лагере показались

парням несказанно длинными. И вот – отправка на фронт. Застучали колеса, отсчитывая версты. Никто из этих парней не думал, что всего через одну ночь, на самой заре, когда солнце зарозовит небо и станет лучами будить землю, налетят на воинский эшелон фашистские стервятники и от разрывов бомб смешается земля с небом, загорятся деревья, разлетятся стога, запылают пламенем вагоны. Тут они примут первое боевое крещение.

Разнеслась команда: "К бою!" Через грохот и дым, через крики и стоны узнали парни голос молодого капитана, сопровождающего новобранцев.

– К бою-ю-ю! – несло вдалеке состава.

Над деревней Ольховкой столбами стоял дым, тянулся в небо, с которого летели, как черные ястребы, вражеские парашютисты.

С пригорка бежало стадо коров, а за ним старики и бабы. Согнувшись, прикрывали платками, фартуками, подолами юбок лица малолетних ребят, хотели скрыть, спрятать, не дать их глазам увидеть великий ужас и разрушение. Людскую жестокость, которая не щадит ничего живого, бьет на лету птицу, жжет и хлебы, и травы, и божий храм. Белокаменная церквушка в деревне была охвачена огнем и дымом.

– Вперед! – закричал Миша Торопов, взмахивая рукой. Оглушило округу громкое "Ура-а-а!", и бросились необстрелянные юнцы в бой за Ольховку, за деревеньку с одной улицей вдоль чистой речки с песчаными берегами, церквушкой, деревянными избами.

Градом сыпались пули. Провизжала шальная, будто окликнула Мишу Торопова, не пролетела мимо. Застыл на месте молодой боец. Обернулся. В удивленных открытых глазах опрокидывались легкие облака. Он упал на землю, распластал в стороны руки. Сквозь прищур отяжелевших век промелькнула узкая полоса света, будто откуда-то из-за облаков, по клочковатым клубам дыма бежала навстречу его невеста – Нина Перевалова. Она не бежала, а летела над зловещим

пожарищем, над сизой гарью. Он видел взмахи ее рук, развевающиеся белые косы. Он даже увидел ее голубые глаза..., а смерть тяжелой рукой прижимала его к земле, душила, обрывая на полуслове.

Не знал молодой боец Миша Торопов, не успел погордиться, что и невеста его добровольно пошла на фронт. В кирзовых сапогах, в гимнастерке, в перекроенной солдатской шинели шла она дорогой войны. Ей бы вместо винтовки, которая ей совсем не под силу, обхватить ребятенка, глядеть на его розовые щеки, влажные губы и нести напоказ всему белому свету: вот, мол, для чего рождена я – рожать и дарить вам богатырей-сыновей.

Но несся воинский эшелон. Духота в тесном вагоне. Через тяжелые приоткрытые двери летели стриженные девичьи косы: русые, рыжие, черные, пепельные, каштановые – мешали они солдатской шапке-ушанке, вороту колючей солдатской шинели. Летели косы, цеплялись за придорожные кусты, падали на железнодорожную насыпь. И казалось, окаменела душа, вымерла память о прошлой, тихой и мирной жизни. И все для того, чтобы мир снова познал тишину.

А война разбрасывала людей по свету – от Белого моря до Черного. И не было у них покоя, не было светлых минут.

В лютую стужу на подступах к Ленинграду притаился на опушке леса добровольческий лыжный полк. Лейтенант Владимир Куприн смотрел на вспаханный снарядами снег. Вдруг ракета озарила полнеба, осветила снеговую поляну. Прижались, замерли, будто свернулись в снежный комок, воины. Сверкнул прочерченный лыжами снег. Погасла ракета, рассеивая во мгле россыпи искр.

Шел лыжный полк к блокадному Ленинграду. Скользят лыжи, поскрипывают перемерзшие крепления. Небо низкое, темное, беззвездное. Прячется за густыми тяжелыми тучами луна. Куржаком окутаны шапки-ушанки, припорошены снежным инеем брови, ресницы, тонкий пушок над верхней губой. След в след идут Сильвестр Шабунин, Славик Люба-

нович, Василий Тугулуков, Павел Панов, Коля Попов, Павел Мелехин, Иннокентий Шаргин.

В снежном тумане город, и вроде рядом купола соборов, громады домов с атлантами и кариатидами, величественные памятники, мосты, площади. Все замерло, будто остановилась жизнь.

– За Родину! – разносится зовущий вперед голос Владимира Куприна. И подчиняясь ему, полк принимает бой.

В морозном воздухе слышится: "За Родину-у-у-у!" И в ответ окатывает округу грозное, многоголосное "Ура-а-а!". Пылает русская деревня, мечутся в дыму люди, пылают сани-розвальни с красной ленточкой на облучке, в которых еще недавно раскатывали жених с невестой.

Перед глазами Владимира взлетает столб снега, посыпались на лицо липкие снежинки, будто черемушник враз осыпал все лепестки. Владимир почувствовал нестерпимый огонь в руке. Рядом лежал Сильвестр. Лицо белое, бескровное. "Сильвеструшка, гармонист, плясун-заводила. Неужто тут твой последний миг!?" – сверлила-точила мозг надоедливая мысль, острая как вонзенная стрела. "Нет, дружище. Не жить мне спокойно на свете, если оставлю тебя здесь. Не будет мне прощения от своей совести". Силясь, тащил друга, а из разорванного рукава шинели капала на снег теплая кровь. И не думалось ему тогда, не верилось, что всю долгую жизнь он будет с пустым рукавом носить и рубахи, и полушубки, и плащи. А к ненастной погоде чувствовать, как мозжит плечо и локоть левой руки.

...Над Днепровским валом дожди шли тягучие, вперемешку с мокрым, липким снегом. Казалось, над могучей рекой лопнуло, разорвалось небо. Пахла прелью обожженная заморозками, уцелевшая от огня, жухлая трава в луговой низине. В камышах оставили гнезда, не вывели птенцов перелетные птицы. В страхе летели гуси за перепуганным вожаком, прятались в заозерных тальниках.

Как на диво, смотрел молодой командир Михаил Сосунов

на стаю улетающих птиц. Они летели кучно, прижимаясь к земле. Не было в их полете прежней горделивости, радости и гогота, не было рядом молодого выводка.

С ранней весны до поздней осени держали каждую пядь приднепровской земли советские солдаты. "Развести бы костер из сосновой сухары, развесить на бревнышках сырые портянки, войлочные стельки, просушить отсыревшую шинель и погреться, дать отдых уставшим ногам", – думал Михаил, напряженно вглядываясь в даль, и тут же отгонял эти мысли, потому что знал: команды ждут, приказа идти в новый бой за Днепровский вал.

Знал он, что где-то рядом притаились в окопах его односельчане Лека Тютюков, Володя Белых, Иван Данилов, Кузьма Бедских. Может, и они в этот момент тоже подумали о болотистом кочковатом Манинском озере и дороге к нему, раскисшей от постоянных дождей, или о берегах полноводной Лозьвы, над которыми стоят в эту пору прибитые дождями зароды сена да разносится заливистый лай собачонки, учувшей запах пробежавшего по первой пороше зверька.

Приходят к человеку в такие роковые минуты самые сладкие думы, томят душу, будто дубят ее, крепят, скручивают в клубок все бесценное, без чего жизнь была бы бессмысленна.

Распорола небо красная ракета, пробороздила туманной нитью угасающий след. Вскочил во весь рост молодой командир Михаил Сосунов, ринулся первым в бой.

Приступом взяли Днепровский вал. Дымились подбитые танки, валялись исковерканные орудия, пулеметы, брошенные врагом винтовки, солдатские каски. На самой кромке Днепровского вала не упал, а рухнул на землю Михаил Сосунов. Пули оставили на теле отметины. Но выжил солдат.

В родное село пришел на костылях, а грудь в орденах и медалях! Бегали возле него любопытные мальчишки.

Женька Реутов больше других рассматривал орден Красного Знамени. Ему казался он частицей больших знамен,

с которыми люди ходят на площади. Но больше всего он ему нравился, потому что отец его был награжден таким же орденом. "Вот вернется папаня с войны, надену его гимнастерку с орденами, пройду по улице, сяду на завалинку и дам всем ребятам орден потрогать", – думал он про себя.

Только и эту мальчишескую мечту неожиданно-негаданно отняла война. Никогда не думалось, что в широкий солнечный день почернеет в его глазах свет, остановит бег говорливый водопад на реке, окаменеет в страхе лицо матери. И все из-за листочка бумаги, на котором было написано, что его отец, коммунист Иван Реутов, пал в бою смертью храбрых.

Не мог поверить в это Женька. Он еще не дослушал его рассказы о бывалых охотниках, не доучился играть на гармошке плясовую и кадрили.

Днями на перекрестке Женька караулил почтальоншу, шел за ней до своротка и увидев, что она проходит их дом, стремглав забежал во двор, лез на сеновал и долго плакал, обтирая глаза и лицо подолом рубахи. Но приходил новый день, и он снова стоял на перекрестке. Ему все казалось, что где-то на самом доньшке большой черной сумки лежит другое письмо, написанное отцовской рукой.

Приметила его почтальонша, стала проходить мимо реутовской избы, низко наклонив голову, и, бросив в почтовый ящик газету, почти по-девичьи убежала.

– Не могу больше. Устала, – говорила Ольга Петровна Чашихина, бросая на стол пустую почтальонскую сумку. – Боятся меня бабы. Сегодня Мария Чудиныха издала увидела меня и перекрестилась.

– Тяжелая у тебя работа, Ольга Петровна, – отвечал Николай Субботин. – Нет у нас другого почтальона. Не посылать же с фронтовыми письмами Тоньку-свиристелку? – Ольга Петровна, облокотясь о краешек стола, долго глядела на Николая Субботина и не верила, что этот еще не окрепший парнишка, с костлявыми лопатками, выпирающими из-под отцовского пиджака, говорит ей такие слова.

– На добром слове спасибо тебе, Нико... – с языка чуть не сорвалось "Николушка", но поправилась: – Николай Леонидович.

Вестей об Уральском танковом корпусе сельчане ждали, жадно ловили каждое слово в шуме и треске репродукторов.

Было летнее утро. Солнышко играло на каждой листке большой черемухи под окном. Заливисто пел скворец. Татьяне Ивановне Лаптевой вспомнился день, когда ее сын Юрка отцовским ножом строгал дощечки для птичьего домика, и как легкие стружки, подхваченные ветром, кружили по ограде. Как воочию виделось, что Юрка лезет на черемуху, отыскивает крепкий сук поближе к солнышку. Скрип ворот прервал воспоминания. Хватая ртом воздух она чуть слышно прошептала: "Что это ты, Ольга Петровна, в этакую-то рань? Али беду принесла?"

– Не дошла вчерась до вашего дома. Ногу ботинком натерла, так сегодня спозаранку. – Схитрила почтальонша, которая со вчерашнего утра носила в сумке письмо, написанное незнакомой рукой. Несколько раз она сворачивала в переулок к лаптевскому дому, но не хватало сил дойти до ворот.

"Пусть баба ночь поспит спокойно", – думала она про себя.

Закружилась голова у Татьяны Ивановны, залетали перед глазами красные огоньки.

– Если принесла казенное письмо, сама читай.

Присели на завалинку рядышком.

"Уважаемая Татьяна Ивановна, – начала бойко Ольга Петровна, – Ваш сын Юрий Леонидович Лаптев за время службы в нашей части приложил немало сил и труда для общего дела – разгрома немецко-фашистских захватчиков. Вместе с ним мы прошли большой боевой путь. На любые, самые ответственные и рискованные дела он шел, презирая опасность".

Тут Ольга Петровна стала читать медленнее, останавливаясь на точках и запятых. Голова Татьяны Ивановны упала на плечо почтальонши.

"В последних боях, выполняя боевую задачу, он вел себя мужественно и отважно".

Как раз на этом месте, где Ольга Петровна приостановилась, чтобы перевести дыхание, Татьяна Ивановна заголосила: "И где же это был последний бой у моего скворушки? В какой стороне положил он свою головушку? Поди, сторел заживо в своем танке..."

– Ты почто так? Слушай дальше-то, – тормозила плачущую мать Ольга Петровна. – "Как верного сына нашей Родины и как истинного патриота, Родина и Правительство наградили его орденом Красной Звезды. Мы гордимся своим товарищем. Примите от нас, уважаемая Татьяна Ивановна, фронтовой привет и верное слово танкистов. В единых рядах с вашим сыном мы и впредь будем достойно громить немецко-фашистских захватчиков до полного их уничтожения".

Письмо дрожало в руках Ольги Петровны. Они сидели, онемевшие, растерянные. А на черемухе неистово свистел скворец.

– Живой Юрка-то, – переведа дух, сказала Ольга Петровна. – Живой.

Но попробуй сразу успокоить расхоловшееся от страха сердце! Тут только одна тишина помощница. Ольга Петровна неловко привстала с завалинки, пошла вдоль улицы, согнувшись под тяжестью почтовой сумки, перекинутой через плечо.

Увидев в огороде Марию Чудинову, почтальонша вспомнила про Петра.

"Не иначе, как с ним что-то случилось. Не может он так долго не писать своим ребятам письма, – думала Ольга Петровна. – Только смерть могла его остановить. Али в плен попал".

– Пойдут скоро письма, Ольга Петровна. Будет же у солдат привал после боев? Слышала, как наши поперли фашистов? До писем ли им теперь? А пока потерпеть надо, – говорил ей Николай Субботин.

Пожелтевшая кожа на его длинной шее покрылась прыщами, обтягивала подбородок, на котором топорщились жидкие щетинки проклюнувшейся бороды. "И они, Субботины, давным-давно не получают писем. А он такой худущий стал, поди, сегодня и крошки хлеба во рту у него не было, и глотка молока не досталось, а я своими словами его тиранию", – сокрушалась Ольга Петровна.

– Может, позвать в почтальонши Александру Васильевну Шишину?

– Что ты? У нее ноги к вечеру как чурбаки становятся. Пухнут. Куда ей в почтальоны? Да сама я, сынок, справлюсь, сама. Не ищи никого.

Все село ждало писем с фронта, старались не пропускать ни одной военной сводки. И дед Мохнаткин, скрутив из старой газеты "козью ножку", вслушивался в каждое слово, доносившееся из репродуктора. После он надевал овчинный полушубок, выходил за ворота и, окликнув первого прохожего, спрашивал: "Слыхал, милоч, последнюю-то известию? Погоняют ведь наши-то ребята германца, ай да ну! Седни опять из пяти населенных пунктов их вышибли. Аэропланов ихних цельных семнадцать штук сшибли, танков, пулеметов тоже немало покорежено. А сколько – не расслышал путем. В радиве какой-то треск зачался. Ты, милоч, гаркни там парнишкам на радивоузле – пусть мне линию изладят. Жить без радива теперь не могу".

К великому изумлению всего села, дед Мохнаткин научился читать. Зацепит шнурочком очки за правое ухо и давай тянуть по буквам, приставлять одну к другой, и вытянет слово. Соседка Шабуниха хохотала над ним.

– Погодь. Не те теперь времена. Надо быть во всех курсах событий, – с полной серьезностью говорил он. – В пору моей молодости война не обошла меня стороной. Я тебе рассказывал про свою военную жизнь, про окопных вшей, про тиф, про сыпь, в которой все ноги проквасил.

– Да то другая война была, – возражала соседка.

– Экая ты дура. Война она всегда война. Слов нет эта – кровавее.

Однажды, раскрыв газету, он вдруг остановился на знаковой фамилии – Елизаров.

"Елизаров, значит, – проговорил дед вслух. – Нашинская фамилия. – Потер кулаком глаза. – Елиза-ров. – Повертел газету в руках. – Значит, газета "Правда" про какого-то Елизарова напечатала". Сколько ни старался он прочитать дальше, не мог, буквы будто рассыпались по всей газете. Перекрестился, стащил с приступка печи подшитые пимы, натянул шапку, положил в карман газету и отправился к дому Елизаровых, в котором, отправив сыновей на войну, жила Раиса одна-одинешенька.

Дом, почерневший от ветров и дождей, смотрит окнами на солнечную сторону, на огород, заметенный снегом.

"Из всех сыновьев у нее Алексей самый остроглазый, хотя и двое других тоже, говорили, ухо с глазом. Про Алексея никто ничего путем и не знает, где он, в какой стороне", – рассуждал дед.

Навстречу бежала низенькая лошаденка с белой лысиной через всю морду. Дед признал в ней сельсоветовского коня – Лыско. Сзади, на полозьях саней, размахивая вожжами, стоял парнишка с оторванным у шапки ухом.

– Погодь, Митька! – крикнул дед. – На-ко вот прочитай как следует, а то у меня перед глазами буквы рассыпались. – Митька остановил лошадь. – Читай вот тут. Про каких-то Елизаровых прописано.

"Слава советским морякам, – прочитал Митька. – Форсирование Керченского пролива навсегда войдет в историю, как замечательный подвиг. Вызывает восхищение подвиг старшины 2-й статьи шкипера мотобота Елизарова".

– Не тараторь! – остановил его дед. Он ничего не понял из прочитанного, все слова оказались ему незнакомыми, но он виду не подал, а утвердительно сказал: – Пожалуй, Митька, это прописано про Алексея Елизарова.

– Не знаю, – ответил парнишка.

– Это как так – не знаю? – рассердился дед. – Али тебе все одно, про кого пишут? Али тебя гордость не берет за своего земляка, а? Варнак ты этакий! Подумать только, самая заглавная газета написала про моряка Елизарова, а ему все одно!

Вскоро в село пришла правительственная телеграмма: "В числе военных моряков Алексею Андреевичу Елизарову присвоено звание Героя Советского Союза за форсирование Керченского пролива, высадку десантных войск и переброску техники на Керченский полуостров и проявленные при этом мужество и отвагу". Не было человека в селе, кто бы не знал про эту новость.

Дед Мохнаткин по селу ходил козырем. Что и говорить, Герой их Алексей! Гордость не только человеку, но и земле, на которой возрос, вскормлен. Через Алешино геройство их село над другими возвысилось. Шутка ли – в самом Кремле узнали, откуда он родом.

Как-то дед Мохнаткин, призадумавшись, спросил соседа: "Как, по-твоему, может быть человек в двадцать годов от роду Героем Союза?"

– Ты про че?

– Да про Алексея. Молодой он. А там прописано: и старшина он второй статьи, и посудину морскую вел через пролив, и десантников высаживал.

– Да не наводи ты тень на плетень. Алексей наш герой – это доподлинно. Не по летам, а по делам геройство дают.

Тяжело переживали моряки поражения в морских боях. Не одну бескозырку на прибрежных песках, выброшенных волнами из морских пучин, видел Алеша Елизаров. Враг рвался в Крым, к городам и здравницам, где когда-то поправляли здоровье уральские сталевары, машиностроители, украинские колхозники, московские железнодорожники, донецкие шахтеры, где недавно пионеры пели задорные песни.

Алеше был доверен мотобот – небольшое морское суде-

нышко. Но в военную пору эти суда были главной надеждой. Море – не тайга с лесами и перелесками. На морской глади все на виду. Выныривает семейка дельфинов, фашистский снаряд летит им вслед. У страха-то глаза велики. Фашисты снарядов не жалели.

Мотобот под номером десять стоял у причала, командир ждал, когда вал возле берега станет круче: "Ну, Алексей, вся надежда на тебя. Нашей помощи моряки ждут не дождутся". Алексей крепко держит штурвал. Мотобот готов к отплытию. Десантники – парни один к одному. Не дай бог фашистам заметить судно. Рокот мотора слился с грохотом волн. Алеша Елизаров осторожно отчалил от берега, то и дело сбавляя ход, прижимаясь к берегу и дожидаясь прилива волн, вырывался на гребень и падал между морских волн. Не будь в Алеше бесстрашия перед врагом и перед могучими волнами, не довести бы ему мотобот до Малой земли! А Алеша довел. Высадился десант – пришла помощь.

Догадались фашисты, что получили помощь малоземельцы. Добралось какое-то судно. На хитрость пошли: вдоль берегов протянули колючую проволоку.

Да что храбрецам колючая проволока! Алеша Елизаров знал одно: ждут десантники подкрепления. Верным курсом вел судно старшина второй статьи Елизаров до Эльтигена. Тихо подплыли к берегу.

– Забросать колючую проволоку! – послышалась его команда. Замелькали, как чернью птицы, матросские шинели, бушлаты. – За мной, русские люди! – слышался его призывный клич. Град пуль и снарядов обрушился на моряков. Вплавь добирались до берега, вновь возвращались на судно за боеприпасами, которые в эти минуты были нужнее воды и хлеба. От снарядов вспыхнул мотобот под номером десять, охватило пламя "деревянную скорлупку". Огненные языки поползли по палубе, окутали огнем мачту. Преклонили головы матросы, вытирая мокрые от брызг и слез лица – прощались с потопленным судном.

Недолго Алексею Елизарову суждено было быть на берегу. Новое судно он повел среди белого дня. Крутые волны бросали суденышко с волны на волну, кидали в пучину. Алексей провел судно перед носом укрепленной базы фашистов, ко времени доставил новый десант. И моряки пошли в новый бой, а с ними и Алексей. Градом пуль осыпали берег фашисты, перепахали снарядами землю.

Не один раз жаром окатывало его тело. Теплая кровь заливала плечо, раздробило колено, и когда пуля угодила в грудь, пошатнулся Алеша, помутнело в глазах, и упал он на землю.

"Неужто конец тебе пришел, Алексей Елизаров? Не может того быть", – мелькнула мысль.

Девять ранений получил в том бою Алексей Елизаров. В госпиталь попал без сознания, тут и застала его весть о том, что ему, Алексею Андреевичу Елизарову, теперь уже старшине первой статьи, присвоено самое высокое звание – Героя Советского Союза.

Узнав об этом, Алексей не сразу поверил. Он вспомнил свою короткую жизнь, друзей, дом, своих земляков, а главное – мать, о которой на войне вспоминал не часто. А в госпитале только закроет глаза, и видится ему родной дом, огород, через который круглый год течет ручей с прозрачной водой, и мать, которая ходит вдоль грядок, морковь да репу рвет, его потчует. "Без родной стороны человек сирота", – вспомнил отцовы слова.

На молодом теле раны заживали быстро, но ран-то не две и не три, да пришел все-таки день – выписали из госпиталя и получил Алексей отпуск.

...Приехал домой в солнечный день. Встречали с почетом. Бежали навстречу и стар и мал. Ребяшня как горох на обочинах дорог. Бегут впереди героя, глаз от Золотой Звезды оторвать не могут.

Раиса Никифоровна припала к сыну, а быть может, он к ней прильнул, только шли они по улице рядом.

– Богатырь ты, Лексей! Богатырь, – кричал дедушка Мох-

наткин, вытирая повлажневшие глаза. – Герой, да и только! – а сам заметил: припадает Алексей на правую ногу, и лицо то румянцем покроеся, то побледнеет. На радостях это не все заметили.

Только одну неделю прожил Алеша в селе. Спать – отдыхать некогда было. Щеколда на воротах ходуном ходила, петли на ржавых гвоздях расхлябались.

Везде побывал Алеша: к своим учителям в первую очередь сходил, поклонился. "Этакого Героя война из сорванца сделала", – думали многие. В клубе на вечере был, в пионерском лагере выступал, а в субботний день с соседом Александром Сосуновым на покос собрался. Отыскал в сарае отцовскую литовку с гладким черенком, надел старый пиджачишко да бродежки легкие.

Утро раннее. Туман в низинах еще не поднялся, травы от росы гнулись к земле, звонким эхом перекатывалось по полю кукованье кукушки. "Жить бы да жить человеку! Такая вокруг благодать!" – подумал Алеша. А все мужики там, на главной и страшной мужской работе – на войне.

Чистые и широкие прокосы, валы от скошенных трав оставял после себя Алексей. Тишина разбередила душу. И он будто вдруг устыдился, что окунулся в такую тишь, в такой покой.

Заторопился к друзьям-товарищам, к бушующему морю. Немало боев было впереди: за Одессу, Севастополь, Сталинград и Будапешт. На широкой груди, кроме Золотой Звезды Героя, красовался орден Красной Звезды, восемь медалей за ратные подвиги.

Богатырем был Алексей Елизаров. Но оборвалась его жизнь на полдороге, как недопетая песня, на той проклятой войне.

По-прежнему буйные ветры шумят над высокими скалами, торопит воды говорливая река. Поднялись к небу высокие дома с широкими светлыми окнами. Заводские трубы пронзают облака. Мир, тишина пришли на землю.

Притупилась боль во вдовьих сердцах, высохли на глазах слезы.

В праздник День Победы разносится по округе барабанная дробь, долетает до каждой избы зов пионерского горна. Идут сельчане к высокой стелле, на которой высечены фамилии солдат, не вернувшихся с боев Великой войны.

Развеваются на ветру алые полотнища, и каждый преклоняет голову перед величием бессмертных подвигов земляков.

БУРУНДУЧОК

Тоня – худенькая, тонконогая девочка. Жиденькие светлые косички всегда заплетала сама и неровно: правая свисала на самое ухо, а левая – касалась плеча. Из-за этого казалось, что она держит голову на левый бок, будто прислушивается. С лета, как наступила страдная пора, мать стала звать ее хозяйшккой, а ей тогда исполнилось шесть годов.

К сенокосной поре загодя готовили литовки и грабли. В берестяные пайвы, туеса клали припасы, шили из мешков полог. Мать то и дело говорила:

– Вот, Тонька, на тебе весь дом остается – хозяйничай: в стадо Зорьку гоняй, из стада встречай, смотри, чтобы она на колхозное поле не убежала, кур корми, дом открытым не оставляй, а пуше всего за Юркой смотри – он хоть и маленький, а озорной. – Тоня кивала головой, а у самой слезки глаза щекотали. Ей тоже хотелось со всеми идти на покос, где цветы цветут, травы шумят, птицы щебечут.

– Ночи две одни будете. Тетка Шура придет корову подоить, а остальное все на тебе, – говорила мама.

Ранним утром, как только мать проводила Зорьку в стадо, все домашние пошли на покос к реке Лозье, на берегах которой растут сочные травы.

Тонька ловко взобралась на крышу дома, села на корточки и стала смотреть уходившим вслед. Впереди, согнувшись под тяжестью пайвы, шла мать с перекинутой через плечо литовкой. Сзади бежали братья: Колька, Митька, Ванька. С крыши они казались маленькими старичками с большими котомками.

Прохладный ветерок раздувал по темной крыше. Тоня ежилась, закрывала худенькие колени подолом платья, но не уходила, а все смотрела на дорогу, на крыши соседних изб, на сколоченные ребятами скворечники.

Плач Юрки испугал ее. Цепко хватаясь за доски, нащупывая босыми ногами щели в городьбе спустилась.

– Иду я, Юра, иду. Вот где я – посмотри-ка!

Юра перестал плакать, но через всхлипывания спрашивал:

– Куда все ушли?

– Придут скоро. Накосят сено и придут. А мы пойдем солнышко смотреть. Оно красное-красное, теплое-теплое, – бормотала Тоня. – Мы пойдем курочек кормить, петуха.

Краснобородый белый петух прыгнул с забора, нахохлился.

– Дальше зернышки бросай, Юрка, дальше, чтобы и курочкам досталось. – Петух с тяжелым гребнем подпрыгнул и стал собирать зернышки, отгоняя кур.

– Жадина! – сердилась Тоня. – Мы тебя завтра в сарае оставим, понял?

– В сарае оставим, – повторил Юрка, топнув босой ногой.

– Яичек не несешь, а зернышки клюешь.

– Яичек не несешь, а зернышки клюешь, – повторял братишка, согласный с ее словами.

Наевшись, куры разбрелись по двору, стали клевать зеленую траву. Петух взлетел на прясло, закукарекал.

– Наверное, спасибо говорит, – сказала Тоня. Юрка захохотал и побежал по двору, размахивая тонкой вицей.

Потом, взявшись за руки, они пошли к реке, берега которой были каменистые. По самой кромке берега змейкой тянулась узкая тропка. Проходить по ней вдвоем было неловко. Присев, Тоня подставила Юрке худую спину. Он сразу схватился за ее шею, подогнул колени и она, пошатнувшись несколько раз, пошла к валуну. Отсюда все ребята начинали поход за вьюнами.

Пашка Язев, закатав штанины выше колен, уже забрел в воду и стал перекидывать на речном дне камешки.

Ветер рябил воду. Юрка притих, а Тонька думала: "Когда же речка отдыхает? Не всегда ведь она так бурлит!" Ей показалось, что течение стало тише, а затонувшее бревно остановилось и закрутилось на одном месте.

– Простынете, – сказала полоскавшая в реке белье тетка Сарапульчиха. – Простудишь мальчонку. Мать-то, поди, на покос ушла?

Тоня кивнула головой. Обтерев руки о подол фартука, тетка Сарапульчиха оставила корзину с бельем на берегу, взяла Юрку на руки и пошла, еле переставляя опухшие ноги.

– За коровой-то кто смотрит? – спросила она хриплым голосом.

– Тетка Шура, – ответила Тоня, толкая ворота худеньким плечом.

– Тебе, поди, и корову надо будет встречать? Она у вас блудливая, – засмеялась Сарапульчиха. – Беги, сейчас только утро. – И пошла за корзиной с бельем.

В воздухе кружились мотыльки, в траве копошились букашки, по небу плыли белые облака, раздутые в круглые шары. Тоня смотрела, как плывут облака, обгоняя друг друга. В эту минуту ей подумалось, что летят они с далекой, незнакомой стороны, где идет война, а теперь торопятся на покос, посмотреть, как там косят сено. "Эти облака увидят и маму, и Кольку, и Митьку, и Ваньку, и меня они тоже видят", – думала девочка, глядя в небо. Она размечталась, вот бы посидеть на краешке облака, посмотреть на землю с высоты.

День прошел незаметно. Пора было встречать корову, а она и забыла. Топот стада напомнил ей о Зорьке. Она выскочила за ворота, когда стадо было уже рядом, в страхе спряталась за сосну. Пахло хвоей и лесом. Мимо Тони пробежала большая рогатая корова с боталом на шее. Тяжелое вымя молотилось из стороны в сторону, из тугих сосков выпрыгивали струйки молока.

Тучи комарья и оводов темным полчищем кружили над стадом.

Зорька стояла поодаль, вскидывая голову, отбивалась от оводов, оглядывала округу. Размахивая вицей, Тоня побежала к ней. Зорька не сдвинулась с места.

– Это ты, хозяйюшка? – крикнул Саньша-пастух, щелкнул о землю кнутом, и Зорька побежала. Она вбежала во двор по-хозяйски, фыркая широкими ноздрями, обнюхала пустое ведро и боднула его рогом.

В избе плакал Юрка.

– Я иду! Иду! – кричала Тоня и, крадучись от Зорьки залезла в окно. Юрка сидел на кровати с закрытыми глазами, тянул жалостливые слова. Давно не стриженные волосы стояли на его голове торчком, и маленькая головка походила на одуванчик. Тоня успокаивала его, обещала смастерить разные игрушки, но он будто не слышал. Она тоже расплакалась.

Тетя Шура быстро подоила Зорьку и ушла. За окном темно. В маленькое сердце Тони закрадывался страх.

Юрка попросился. "А вдруг какая-нибудь мышь пробежит по ноге?" – подумала Тоня.

– Я мышей боюсь, – призналась она.

– Не бось, не бось, – говорил братишка. – Они разбегутся по дырам, как услышат нас.

Юрка шлепал босыми ногами по широким половицам, хныкал.

– Ты захворал? – спросила Тоня, прикладывая ладонь к его лбу. – Вот горе мое, – по-взрослому вздохнула она, залезая на кровать. – Давай поспим. Ты ведь большой, а большие никогда не плачут.

– Нет, плачут, – возразил братишка. – Я видел, как мама плачет. И Колька, и Ванька, и Митька, и ты. Все плачут.

– Все плачут, – согласилась Тоня.

– Расскажи сказку про Красную Шапочку и Серого волка.

– Я лучше тебе про бурундучка расскажу. Бурундучок в нашем лесу живет. Недавно его кто-то испугал, и он из лесу в миловский сруб забежал. Хорошенький такой, ушки маленькие, как у белочки, а на спине черненькие полоски. Мишка Миков говорил, что полоски у бурундучка от медвежьих лап остались. Когда-то давно-давно медведь бурундучка в лапы схватил. Зверек стал вырываться, а медведь и цапнул его. Мишка говорил, что на спине у него пять полосок. А я сосчитать не успела. Бурундучок прыг да и убежал.

– Это сказка?

– Нет, правда.

- Мне такого бурундучка надо.
- Поймаем мы тебе такого бурундучка, только спи.
- Такого бурундучка, у которого на спине полоски?
- Ага, – проговорила Тоня.
- А когда поймаем?
- Поймаем. Он ведь маленький. Спи, – говорила она, засыпая.

Утром, не успев открыть глаза, Юрка стал требовать бурундучка.

– Он в лесу живет, – стала отговаривать его Тоня, но Юрка просил бурундучка, у которого на спине черненькие полоски.

– Скоро мама придет, ягод принесет: и брусничку, и черемушку. – Она выбегала во двор, взбиралась на крышу дома, пристально смотрела на дорогу, по которой возвращались с сенокоса.

Прошли сосуновские парни, чащихинские, переваливаясь с ноги на ногу, шел с покоса дедушка Лопатин. Тоня узнала его по веселой собачонке Дамке, которая бежала впереди, часто оглядываясь, будто боялась потерять его из виду. В руках у него была большая палка. Он вскидывал ее, упирался о землю, будто лодочник шестом о речное дно, шел быстро, шурша раструбами кожаных бродней. Через плечо у него висело ружье, на поясе – широкий патронташ. "Может, он бурундучка несет", – подумала Тоня, но в это время на дороге показались мальчишки с пайвами. Она забежала по крыше, но, услышав свист Пашки Вожакова, приподнялась на цыпочки, долго не верила, что обозналась.

Дедушка Собянин шел с покоса тихо, припадал на правую ногу, смотрел в землю, склонив голову с рыжими кудрями. Руки у него почти касались земли, он тянул тяжелую котомку, привязанную ремешками за деревянные крошны. Если бы не Юрка, она побежала бы ему навстречу. Дедушка любил, когда она встречала его. Он и теперь остановился, посмотрел в сторону их дома. "Со своего Семиозерного идет, – подумала Тоня. – У него там полно озер и травы, и бурундуков видимо-не-

видимо". Она уже не знала, как отговориться от Юрки, который, как только увидит ее, начинает донимать и просить бурундучка.

Думая о дедушке Собянине, о бурундучке, она проглядела своих сенокосчиков.

– Ну, слава богу, – войдя в ограду, сказала мать. Перешагнув порог избы, прижалась головой к косяку и стояла с минуту, ни о чем не говорила, ничего не спрашивала.

С приходом матери в избе стало светло. Тоне всегда казалось, что с появлением матери в избу прилетает какой-то вкусный запах.

– Черемуха в пайве. Убери веточки сверху, – говорила она.

– Юрка у меня бурундучка просит, – сказала Тоня.

– Какого еще бурундучка?

– Да который в лесу живет.

– Опять ему всяких небылиц насочиняла.

– Он спать не хотел, я ему сказки рассказывала, а он только про бурундучка запомнил.

– Ох ты, – вздохнула мать. – Думаешь так легко поймать бурундучка? Это только дедушка Собянин может перехитрить зверька, а больше никто.

– Я к дедушке Собянину сбегаю?

– Беги, он тебе бурундука из кармана достанет.

Тоня побежала огородами, по широкой меже, заросшей репейником. Колючие головки царапали ноги, цеплялись за подол платья.

Иван Демидович сидел на ступеньках крыльца и вынимал из котомки рыбу. Он не заметил Тоню, которая пролезла в подворотню и теперь стояла возле ворот. Одна щека у Ивана Демидовича была вдавлена, и борода на ней росла неровно, ключьями. Если приглядеться, то можно было разглядеть багровые рубцы. Это были следы медведя-шатуна, не успевшего лечь в берлогу.

Иван Демидович поднял глаза, увидел Тоню.

– Это кто ко мне пришел? Это кто меня обрадовал? – ска-

зал дедушка и, упираясь руками о плахи, встал. – Ну, проходи, хозяйюшка. Я рыбу перебираю, а про себя думаю: придет али не придет моя помощница. Чего молчишь? Али плохо домовничала? – допытывался он. Потом подтянул Тоню к себе, вытащил из волос пересохшую головку репейника, швырнул в сторону. Тоня съежилась. – Потерпи, потерпи, – уговаривал он ее. – Видать, огородами бежала.

– Мне не больно. Мне бурундучка надо, – проговорила Тоня.

– Это какого бурундучка?

– С полосками на спинке. Я Юрке сказку рассказывала про бурундучка, а он просит.

– Эка ты выдумщица. Какие загадки загадываешь. Бурундук – хитрый зверек, его так просто нипочем не поймает. А если из ружья убить, то нет радости на мертвого зверька смотреть. К избушке на Семиозерном бурундуков много прибегает. Я их часто шугаю.

– Меня на Семиозерное возьми.

– Мала ишо. До Семиозерного болотом надо идти верст пятнадцать. Устанешь. В ногах-то у тебя ишо нету силы.

– Я все равно на Семиозерное хочу, – говорила она. – У тебя ведь тоже ноги плохо ходят. – Он промолчал.

У Ивана Демидовича года два назад умерла бабка Устинья, а один единственный сын Степка, косолапый рыжий парень, ушел на войну. Из леса дедушка приходил и перво-наперво смотрел в ящик: не пришло ли с фронта письмо.

– На Семиозерном хорошо. Тишина. Простор. От озера к озеру утки с выводками летают. Рыба в озерах плещется. Славное место.

– На Семиозерное хочу, – шептала Тоня. – Юрке бурундучка надо.

Сполоснув в кадушке мешок и повесив его на забор, дедушка долго ходил по двору, будто чего-то искал.

– Тама комарья – тучи! – Он взял Тоню за руку, прихватил чуман с рыбой, и они пошли к матери. По дороге Тоня расска-



Сидя на стуле, она смотрела в окно, где стоял вазон с розами. В воздухе пахло свежими травами, которые висели сушиться на веревке. Рядом с ней стоял старый железный котелок, а на полу лежал коврик с вышивкой.

звала дедушке про петуха, который больше всех ел зерен, и про то, как они с Юркой рвали для Зорьки траву, чтобы она из стада торопилась домой, а не бегала по колхозным полям. "Защебетала пташка", – думал Иван Демидович, выбивая растоптанными подошвами бродней клубы дорожной пыли.

– И какой бурундучок вам сдался в эту пору? – рассердилась мать. – Че мал просит, то и стар. У вас ума-то с ней одинаково.

– Одинаково, одинаково, – соглашался Иван Демидович, незаметно подмигивая Тоне. – Ты к утру-то, Сергеевна, собери ее, а я тебе на покосе помогу. А мне еще к леснику зайти надо. С Пыновской стороны дымком тянет. Поглядеть надо, а то в лесу сушь стоит – до пожару недалеко.

Утром от досок на крышах и сараях, от огородных прясел, потемневших за ночь от обильной росы, тянулись бледноватые полоски пара. Петух вышагивал по двору, высоко поднимал лапки, охорашивался, поклевывал перья. Куры кудахтали, будто переговаривались. "Эту хохлатку караулить надо. Яйца прячет!" – вспомнила Тоня слова матери.

– Вернусь с Семиозерного – разыщу твое гнездо, воровка. – Тоня топнула ногой. Из сарая донесся звук ботала. Мать в повязанном вокруг головы платке выгоняла Зорьку, похлопывала ее по спине, потом почесала лоб между рогами и открыла ворота.

– И че Иван Демидович там делать с тобой будет? Вот выдумщица. В такую-то пору бурундука ей давай. Людям хоть не говори, и саму из-за вас на смех поднимут. Давай оболокайся.

Дорога на Семиозерное – сразу за селом. По ней ходят только пешком, не ездят на лошадях. Между кочками темнеют коровьи следы, залитые водой. Дедушка шел с большой палкой, Тоня бежала следом, делала по три прыжка, чтобы поставить ногу в его след. Комарье, жужжавшее в траве, в кустах, кусало Тоню жадно. Возле высокой сосны дедушка остановился, нарвал березовых веточек, сказал:

– Маши, маши ими, отгоняй от лица окаянных. Вот пройдем болотину, к реке выйдем, тама ветерок, отстанут они. Кажись,

рябчик летит, – прикладывая ладонь к уху, сказал дедушка. – Рябчик шумно летает, хотя пташка маленькая, крыльями трепещет, как большущая птица. А тута, видать, зайчик бегал. Видишь, следок на росе? – Дедушка убрал с лица паутину, опять приложил ладонь к уху. – Тут травка мягче, сочнее, чем в ровинке, вот зайка и бегаёт сюда.

– Послушай-ка, Тонька, не слышатся ли тебе какие-нибудь шаги али топот? – спросил Иван Демидович. Тоня взглянула удивленно, пожала плечиками, но потом прижалась к дедушке, шепотом проговорила:

– Лошадь какая-то скачет, фыркает. – Она схватила дедушку за рукав, потянула в сторону леса.

– Не бойся. Это, наверное, лесник. Знаешь дядю Василия Горцунова? Он тута всегда ездит. Приглядывает за лесом, чтоб кто пожар не сделал, чтоб каки озорники здря деревья не срубили.

Иван Демидович никогда бы не взял с собой девчоночку, если бы с вечера не договорился с лесником Василием Горцуновым, чтобы тот проехал тропкой и помог довести девочку до избушки. Еще издали заметив Ивана Демидовича, лесник расхохотался. Смех эхом отдавался на противоположном берегу реки. Черная лошадь с белой отметиной через весь лоб выбрасывала копытом болотные брызги и грязь.

– Не съели комары-то? – спросил, подъезжая.

– Она умница. Как зайчик, с кочки на кочку перепрыгивает, – ответил дедушка и погладил Тоню по голове.

– Садись ко мне. Лошадь у меня сытая. Вмиг на Семиозерном будем. Не бойся. Мои ребята только и ждут, как бы я их на лошади покатал.

– Садись, Тонька. Ну их, этих комаров, – ласково говорил дедушка, чувствуя, как она прижалась к его ноге. – Оне, эти комары, к вечеру совсем озвереют. А лошадушка-то, ух, как повезет тебя – токо ветер в ушах засвистит! А я тут напрямик, через топь. В избушке дымокур разведу.

Тоня спрятала лицо в полу дедушкиного пиджака.

– Садись. Я тебе узду в руки дам.

Дедушка как пушинку приподнял Тоню с земли и посадил в седло. Лесник свистнул, и лошадь понеслась.

Срубленная из строевого леса изба стояла на берегу озера окнами на солнечную сторону. Рядом рос кедр с темной корой, могучими ветвями. На нижних, обломанных сучьях, висели капканы, веревки. Возле двери в старом помелем ведре шаяла древесная кора.

Звонко лаял веселый Колобок.

Пригревшись возле лесника, надышавшись лесным воздухом, Тоня спала и не слышала, как дедушка снял ее с лошади, положил на деревянные нары, застланные сухим сеном.

Когда она проснулась, в избе никого не было. Над дверью висели крылышки с сизыми полосками, на стене накомарник, берестяной чуман, вымазанный соком спелых ягод. За окном чирикала веселая птичка. "Дедушка, наверное, ушел бурундучка ловить", – подумала Тоня, сползла с деревянных нар, и приоткрыла дверь. Пес Колобок дремал на солнышке, приоткрыл один глаз, вильнул хвостом.

Солнце ласкало теплом и светом травы. Неистово стрекотали в траве кузнечики. Со стороны покоса долетал незнакомый, глуховато шуршащий звук: шух, шух, шух! Встав на пенек, Тоня в ложбине увидела дедушку. Он был в синей рубашке навывпуск, в зимней шапке, натянутой до самых бровей. Он косил траву. Острие литовки успевало сверкнуть на солнце и снова спрятаться в стеблях трав. Позади него оставался ровный ряд скошенной травы. Зеленая полоска будто бежала за ним. Тоня крикнула. Голос покатился по покосу, ухнул за рекой. Дедушка приподнял голову, снял шапку, прищурившись, посмотрел в сторону избышки. Плечи и спина рубашки казались черными от пота, взмокшие волосы прильнули ко лбу. Тоне показалось, что он только что вышел из бани.

– Ты бурундучка видел? – спросила она.

– Видел. Зашел раненько утром в боровинку, а он на пенек сидит, будто знал, что я про него думаю. Пока я смекал, че да

как, он побежал, да так прытко.

Тоня нахмурилась.

– Ты че это? Не так просто его поймать. Он ведь живой, а дом у него большой – весь лес. Быстро-то сказка рассказывается. Я его, лупоглазого, все равно изловлю. Схитрю. Ты вот лучше посмотри на мое Семиозерное. Отсюда все озера как на ладошке лежат, видишь? Сосчитай скока тута озер. Которое по праву руку, Карасьим зовут. Карасишки в ем водятся один к одному. А в пору, когда шиповник цветет, так от их игры вода как в котле бурлит. Оно, значит, первое. Веди глаза дальше. Видишь за кустами светлую полоску? Длиннущее озеро, а узенькое. Верст на восемь тянется. Скоко живу, а оно не скудеет, не мелеет. В ем шурагайки хозяйничают. Никакого житья другим рыбам не дают. Зубастая рыбешка, а вкусная. – Дальше Иван Демидович показывал Пяташное, Кочковатое, Черемуховое озера и про каждое он все знал. – Семиозерье и есть Семиозерье! Скоко ни крути, с какой стороны ни веди счет – все одно семь озер увидишь. А краса кака! А тишь кака! – говорил он. – Во, Тонька, кабы не война, так в эту пору тут народу бы было! Со всех сторон дым бы от костров тянулся, косы звенели, лошади ржали, ребятишки ухали. Один копны бы возил, другой сено в стога метал. Вишь, травы косцов ждут, а их нету. Одни бабы, а у них работы на покосах ишо начать да кончить. А ведро стоит. Поспевать надо – самая сенокосная пора. Без мужиков пуста земля, особливо где сила нужна и проворство. Твой-то отец давно бы отмахался литовкой, давно бы зароды поставил. А ставил он их на загляденье!

Дедушка замолчал, тоскливо смотрел в сторону, где стояли некошеные травы.

– От березняка – покосы тороповские, а дале – пятковские, а ишо дале – язенские, ишо дале – лопатинские, ульяновские. Так по всей реке Лозье угоды большетравные.

Тоня слушала дедушку, а сама смотрела в сторону леса, где утром он видел бурундучка.

– Мы с тобой скоро в лесок пойдем. Вдруг да покажется нам

бурундучок. Этот лес бурундучий, в нем бурелому полно, чащоба почти непроходимая, в ней и гнездится зверек.

К полудню солнце стало освещать хвойную боровинку, где росли высокие сосны с колючими ветками.

– Пойдем поглядим, вдруг да бурундучок покажется, – сказал дедушка.

На мшистых кочках росла брусника. Тоня обрадованно присела рвать ягоды. Дедушка стоял возле.

– Она ишо кислая. Оскомину сразу набьешь. Пусть полежит, помлеет, – говорил, перешагивая через сухие ветки валежника, Иван Демидович и вдруг замер на одном месте. Тоня оглянулась, дедушка палец к губам и ткнул в сторону высокой сосны. Вцепившись когтями в желтую кору, распутив пушистый хвост, сидел бурундучок. Пять темных полосок вырисовывались на серенькой шкурке. Зверек нежился на солнышке, изредка пошевеливал головкой с маленькими ушками.

– Бурундучок! – крикнула Тоня, всплеснув руками – Такой же, как в миковском срубе.

Зверь приподнял хвост, оттолкнулся лапками от ствола и прыгнул на землю.

– Побегал, побежа-а-ал, – закричала Тоня. Она стояла на середине лесной полянки, маленькая, с тоненькими кошечками, провожая взглядом бурундучка. У нее на глазах появились слезы.

– Не плачь. Поймаю я его, окаянного. Поймаю. Истинный Бог, поймаю, – уговаривал Тоню Иван Демидович, ругая себя за то, что повел в лес ребенка и только напрасно растревожил. – Не плачь. Бурундучок-то по утрам сюда выбегает. Тут, видеть, у них гнездышки. Я его выслежу.

– Убежа-а-ал, – плакала Тоня, не слыша, о чем говорил дедушка, шла к избушке, не видя тропки, запинаясь.

Иван Демидович даже боялся посмотреть на нее. Присев на корточки, взял ее на руки. Она не сопротивлялась, положила голову ему на плечо и твердила: "Бурундучок убежал, бурундучок убежал".

"Старый дурак, – думал в эти минуты Иван Демидович, прислушиваясь к ее плачу. – Захворает ишо. Теперя хошь не хошь, а зверька ловить надо".

На другое утро в настороженный с вечера силок угодил бурундучок. Иван Демидович радовался как маленький, разглядывая зверька, который, попав в неволю, скреб лапками деревянные прутья, кусал их острыми зубами.

– И цена-то тебе грош, – говорил Иван Демидович, подходя к избушке, – а я вот радуюсь, что перехитрил тебя, окаянного, будто не тебя, крохотулю изловил, а матерого медведя повалил. А все от того, что нужда в тебе появилась.

К избушке дедушка подходил с волнением, улыбался, хмыкал, представлял, какая радость будет у Тони, радовался сам и не знал, как разбудить девочку.

Лесник Василий Горцунов подъехал к избушке со стороны луговины. Лошадь бежала резво, широкой грудью рассекала предутренний воздух. Длинная черная грива развевалась на ветру.

Бурундучок прыгал в силке.

– Увези и его. Обещал бурундучка поймать, – сконфуженно говорил Иван Демидович леснику.

Тоня сидела на высоком пороге избушки, щурилась от яркого солнца.

– Вона, Тонька, вона он, окаянный бурундук-то. Я ведь его обхитрил. – От радости Тоня вздрогнула, смотрела то на лесника, то на дедушку и боялась повернуть голову к силку, в котором сидел зверек.

– Боюсь, а вдруг он опять убежит.

– Не убежит, – сказал лесник.

Тоня сидела как взрослая, сложив руки на груди. И не было в этом ничего удивительного. В то военное время все дети рано выросли.

ЛЕЙТЕНАНТОВА ЖЕНА

Никто не знал, по чьему проекту была срублена наша школа из добротной уральской сосны. Но выстроена была на совесть: в самые лютые морозы в ней было тепло, света хоть отбавляй и классные комнаты с высокими потолками. В правом крыле школы жила истопник-сторожуха тетя Поля, рядом была комната для наглядных пособий и учительская.

– Там, в учительской, – рассказывал Толька Мальков, – есть еще дверь в крохотный кабинетик директора.

Но сама я не видела. В учительскую мы заходили с трепетом, а когда нас водили туда на прививки, нам было не до того, чтобы разглядывать учительскую, мы дрожали, подставляя костлявые спины, и до боли щурились глаза, когда место укола растирали крохотным ватным тампоном. В отчаянии я толкала голову в любую подол, обычно это был подол тети Поли, перед глазами у меня все качалось и плыло, так что описать по памяти учительскую не могу.

Толька Мальков – другое дело, он был заядлый курильщик, курил безбоязненно даже на улице, а если кто его оговаривал – он огрызался, а с ребятами лез в драку. Часто кто-нибудь из дежурных, приоткрыв дверь класса, говорил: "Малькова зовут в директорскую". Толька доставал из кармана отцовский кисет, прятал его в угол парты, поддегивал подвязанные веревкой штаны и шел через весь класс вразвалку, стараясь казаться взрослым. Чаще его вызывали на большой перемене. От директора приходил красный, молчаливый, а потом, урока через два, опять начинал насвистывать как ни в чем не бывало, давать парням подзатыльники.

Толька был старше нас: в пятом классе сидел третий год, ему, видать, все надоело, и в школу он ходил только потому, что все строго соблюдали Закон о всеобщем обучении, а на работу, хоть и военные годы были, раньше времени не принимали.

– Кто опять нафискалил? Кто вчера видел меня на улице с папироской? Ты? – схватил он за шиворот моего соседа по парте Борьку Сторожева. Тот не успел вымолвить ни слова, как получил оплеуху, то же он проделал с Пашкой Пономаревым.

– Ябедники. Мелкота.

Толька, оказавшись в нашем классе, не нашел себе друзей. Он уже подходил к Мишке Хакимулину, юркому черноглазому татарчонку, но тот, на удивление всем, подставил Тольке подножку и, не дав ему опомниться, вцепился в его густые, грязные волосы. Они покатались к учительскому столу.

Девчонки завизжали, а когда на полу показались капли крови, Ленка Соломина опрометью понеслась в учительскую за подмогой.

Немного погодя в класс торопливо зашли: наша классная руководительница Надежда Петровна, которую мы называли Курочка, а за ней новый директор, заменивший ушедшего на фронт Георгия Сергеевича Шилова.

– Мальков! – прошептала перехваченным от волнения голосом Курочка, всплескивая маленькими ручками, как неокрепшими крылышками. – Только из учительской. Только что слово дал. День ото дня не лучше, – вздыхала она, протягивая Малькову носовой платок.

Новый директор Андрей Петрович Кремлев, получивший прозвище "Рубь Пять", потому что был на протезе, неловкой походкой подошел к столу.

– Тоже мне вояки-петухи, – сказал он.

Но тут раздался звонок на урок, и он вышел из класса. Мы стали рассаживаться за парты, черные, тяжелые, трехместные. Между двумя мальчиками обязательно садили девочку, и это место было постоянным. Моими соседями были Борька Сторожев, рыжий, хромой, смешливый парень, и Ленка Субботин, от которого всегда пахло мочой. С утра мы морщились, отворачивались от него, демонстративно затыкали

носы. Но к концу занятий то ли привыкали, то ли забывали, то ли улетучивался этот запах, и брезгливость к Ленке проходила. Он вечно просил у меня перочистку, потому, что свою проигрывал на переменах "в жестку" с парнями из других классов.

Начался урок. Все притихли: ждали, что будет. В класс вошла наша историчка Агафья Семеновна. Она как ни в чем не бывало, начала урок. "Неужели так все и сошло?" – думали мы, искоса поглядывая на парней. Прошел еще один урок, а на последнем в класс вошла Курочка. Эта старая дева, добрая и суетливая, кудахтала над нами, как настоящая клушка. И вид у нее всегда был озабоченный, а маленький остренький носик походил на куриный клювик. Прищурившись, она смотрела на нас. "Ну, что теперь скажет?" – любопытствовала мы. Поди-ка, Рубь Пять уже написал приказ об исключении из школы Тольки и Мишки. Директор был не нашенский, приезжий и еще мало кого знал.

– С завтрашнего дня, – как-то робко начала Надежда Петровна, поправив на затылке бордовую шапочку, – у нас в школе организуется шумовой оркестр. Все желающие могут записаться. – Немного погодя добавила: – Руководить оркестром будет директор Андрей Петрович. – Толька не выдержал, протяжно свистнул и с вызовом произнес:

– Мне медведь на ухо наступил.

– Тебе, Мальков, и тебе, Хаккимулин, надо записаться в оркестр в обязательном порядке. Это просил передать вам Андрей Петрович. – И глядя на Тольку сказала:

– И отцовскую гармонь принеси.

– Разбежался, – ерзя на сиденье парты, ворчал Толька. Но когда Надежда Петровна рассказала, что из себя представляет шумовой оркестр, что в ход может пойти любая вещь, которая издает звук, что это могут быть ложки, гребенки, бутылки, палочки, камушки в мешочке, он умолк и, облокотившись о парту, положив подбородок на грязную ладонь, слушал. Когда-то он разучивал с отцом "Барыню" и "Кадриль" и

завидовал отцу, который владел инструментом виртуозно.

– Откуда он узнал, что у нас трехрядка есть? – спросил Толька Надежду Петровну.

– Я сказала. Играть ты умеешь, а в оркестре, кроме шумовых, нужен главный, ведущий запев. Андрей Петрович раньше дирижировал военным оркестром.

– Вот это да-а-а! – разом выдохнул класс.

Желающих записаться в шумовой оркестр оказалась больше чем достаточно и разных игрушек-погремушек натащили множество: школа была наполнена таким визгом, шумом, писком, что дежурному учителю пришлось всех выстраивать на линейку и предупредить, что вычеркнут из списков каждого, кто до конца уроков посмеет нарушить школьный порядок.

– Я бы лучше пошел кататься на Преображенскую гору, – засунув руки в карманы, небрежно сказал Толька, хотя сам, чуть не отморозив пальцы, принес в школу отцовскую трехрядку и, пожалуй, впервые вошел в учительскую не по провинности, а по делу, чтобы поставить ее на стол возле стопок ученических тетрадей.

Наш просторный школьный коридор! В нем проходили праздничные линейки, прием в пионеры, отчеты и рапорты тимуровских команд. А тут он вместил все школьное население села.

Андрей Петрович шел сквозь строй ребячьих рядов, сутулясь, прихрамывая, нес в руках деревянную стиральную доску. Стало тихо-тихо.

– Ну что же, товарищи школьники, молодцы. Заставили вы меня призадуматься. Молодцы, – повторил он, поставив стиральную доску возле ноги. – Скажу вам: я сегодня сходил в клуб имени Дзержинского, пригляделся, сцена там небольшая. Больше ста пятидесяти человек на ней не поместятся. А в школе у нас пятьсот учеников. Догадались, о чем я говорю? Мы с учителями подумали и вот на чем остановились: сформируем оркестр только из мальчиков. У них и порядка

побольше, и дисциплинированное они. Как никак, а будущие воины. – Тут, конечно, Андрей Петрович слукавил: ответственнее наших девочек было не сыскать! Но они не обиделись на директорские слова. В те военные годы безотцовщины мальчишкам редко говорили хорошие слова. Им все время ставили в пример отцов, их поучали, стыдили и дома, и в школе за всякие провинности. А тут Андрей Петрович еще добавил: – Я руководил военным оркестром, знаю.

С этого дня началась история нашего прославленного шумового оркестра, созданного из отъявленных озорников, которые своей игрой покорили все село. Тольку Малькова директор посадил в центр оркестра. Он с отцовской трехрядкой подавал первые аккорды. Потом включался весь оркестр, и волшебные звуки русских народных песен лились под высоким деревянным потолком клуба, и наши уставшие от работы матери, всхлипывая и глотая от умиления слезы, отыскивали среди рассеявшихся на сцене мальчишках каждая своего, который в эту минуту старался изо всех сил не подвести товарищей фальшивой нотой.

В один из зимних дней пришла новость: в нашей школе разместят госпиталь.

В понедельник, как всегда, мы пришли утром в школу, а на пороге нас встречали учителя, директор и высокий человек в военной форме.

Андрей Петрович вышел вперед и, волнуясь, кашлянув в кулак, сказал:

– Третьи и четвертые классы будут учиться в здании детского садика, старшие – в доме напротив аптеки.

– Где жила доктор Елизавета Михайловна, – пояснила Курочка, уталкивая под лисью шапку бордовый ободок своей неизменной плюшевой шапочки.

Что-то говорили про другие классы, но я ничего не запомнила. Нас повели по главной улице группами. Размахивая тряпичными сумками, подталкивая друг друга, мы заходили в незнакомое здание, где уже были поставлены парты. Все

садились кто куда хотел.

– Я больше с тобой сидеть не буду. – крикнула я Ленке Субботину. Он, конечно, хотел сидеть со мной, потому что всегда пользовался моей перочисткой и списывал домашние задания. – И с тобой сидеть не буду, – сказала я Борьке Сторожеву, – ты все время у меня банты развязываешь, – приди-ралась я к своим соседям по парте.

– Я тебе чернил ни капельки не дам, не проси! – ультимативно заявил Борька. Слов нет, чернила из свеклы Борька варил самые лучшие в классе, и тетрадку мою напоказ выставляли только потому, что его чернилами можно было вывести тонкую волосяную линию.

– Ну и не надо! – кричала я. С других парт девчонки тоже выговаривали обиды своим соседям.

– Не садись со мной, – возмутилась на Саньку Черемнова Нюрка Палкина. – Все уроки палец, сосешь да спишь.

– А у тебя возле ушей вошки ползают, – в отместку ей ответил Санька, пряча за спину руку.

Но тут в класс вошла историчка. Она была эвакуированная из Ленинграда. Добрая, слабохарактерная, она никогда не повышала голоса. Но мы ее любили, хотя и боялись ее строгого взгляда. А в тот день все как сдурели, перебегали от парты к парте, кричали, толкались, пока военрук Санька Саньч не просунул в дверь голову, и мы ненадолго утихомирились. Агафья Семеновна долго ждала, когда мы успокоимся, и вдруг, совсем неожиданно так хлопнула ладонью по столу, что деревянный ящик со стеклянными чернильницами-непроливашками упал, а уцелевшие чернильницы покатались по полу.

– Всем сесть на свои места, – сказала она громко. Как командовала. Мы замерли. – Еще раз повторяю: всем сесть за свои парты. – Агафью Семеновну будто подменили, здесь, в крохотной комнате, учительский стол стоял совсем рядом с партами, и мы сразу разглядели у нее на шее багровый шрам. Он выставлялся из-под надвязанного воротничка

клетчатой кофты.

Я молчком вытащила из парты сумку, обошла вокруг стола, безропотно подошла к Борьке Сторожеву. Он, присев на хроющую ногу, пропустил меня на место. То же делали другие, только Нюрка Палкина разодралась с Санькой Черемновым, нипочем не хотела садиться на свое место.

Позже мы узнали, что Агафья Семеновна была в офицерском чине, прибыла к нам из госпиталя. С того дня, когда она опрокинула со стола ящик с чернильницами, мы стали ее побаиваться, хотя она говорила по-прежнему тихим и ровным голосом.

К новому классу мы привыкали тяжело. Не было с нами ни старшекласников, ни малышей. Не стало нашего заливистого веселого звонка. Его оставили для младших классов, а у нас оказалось коровье ботало от первушинской коровы. Мальчишки обследовали его и заявили: бухает оно так глухо потому, что настоящий язычок заменен на какой-то крючок, поэтому ждать хорошего звона нечего.

Хуже было с керосиновыми лампами. В целях безопасности, так говорила сторожиха тетя Поля, приставки к лампам прибили к стенам, не то что в нашей школе. Там свет был электрический.

Но нашим учителям было тяжелее, они бегали из здания в здание. Особенно далеко было бегать в детский садик, за реку. На реке всегда свистел ветер, вылетая из горного ущелья, он кружил над мостом, ровнял русло реки с берегами. Фигуры учителей мы узнавали издали, припав к заиндевелым окнам, находя оттаявшую полоску. Передавали: Курочка семенит или Рубь Пять вышагивает, или Агафья, пряхась от ветра, идет спиной вперед. А они, потеряв в перебежках драгоценные минуты урока, начинали его, не успев приоткрыть дверь.

– Расскажи-ка, Спасенников, пока я снимаю пальто, о походе в Сибирь Ермака Тимофеевича.

Алеха Спасенников привскакивал, шмыгал носом, хлопал

крышкой парты и стоял, набычив лоб.

– Начинай, не стесняйся, ты же знаешь – подбадривала его Агафья Семеновна. – Расскажи ребятам. – Алеха хлопал белесыми ресницами, на щеках у него шелушилась кожа – Алеха был сирота, жил с теткой в какой-то бане и в школу ходил больше для того, чтобы погреться да получить серую булочку, которую нам давали, как добавку к хлебной карточке.

Жизнь наша на новом месте стала неинтересной, скучной, а главное – оркестр лишился места для репетиции. И вообще все мы тосковали по нашей школе, часто бегали к ней, играли во дворе на своих любимых местах. Мне часто во сне снился длинный школьный коридор, в котором во время перемен мы все брались за руки, образуя большущий круг, и пели разные песни. С нами были дежурные учителя, пионервожатые. Но разве можно было кому-нибудь пожаловаться? Шла война. И в школе были не кто-нибудь, а самые геройские защитники Родины.

Скоро, когда в госпитале санитарками стали работать местные, по селу разнеслось: лежат там тяжело раненные, они нуждаются в долгом лечении, покое и тишине.

Дома нам только и наказывали: смотрите, к школе не бегайте, не мешайте бойцам выздоравливать, но нас манило туда со страшной силой, мы сгорали от любопытства, крадучись подползали к завалинкам, приподнимались, пытаюсь что-нибудь увидеть через зашторенные окна. Вскоре к нам пришла Марусяка Ильина и шепотом сказала маме: в школе, в бывшей директорской, уборную сделали, в полу прорубили пять кругов, а под ними вырыли яму. Я выскочила в кухню, где сидела Марусяка, заорала на нее, заткнула уши, чтобы не слышать ничего, а она свое:

– Да не вру я, Дуня тама полы моет. А как, по-твоему, куда раненные ходят? Им че, на улицу бегать? Так у них почти у каждого ноги нету, а у кого и обеих.

Марусяка говорила правду, но сжиться с мыслью, что за

дверью, к которой всегда подходили с трепетом и благоговением, стало отхожее место, было невозможно.

– Ниче, – успокаивала меня Маруська. – Новую вам школу выстроят, да и эту изладят – не узнаете. Раненые-то говорят, понужают наши фашистов!

В селе сразу стало заметно присутствие госпиталя. Бабы-солдатки начинали день с того, что бежали в госпиталь: тащили в кринках молоко, вареную картошку, сушеные грибы, ягоды. Рассказывали про строгие порядки в госпитале, шептались о том, что офицер в погонах поздно вечером вышел из ворот Глаши Чудинихи.

Прошли крещенские морозы, день прибавился на воробьиный скок. К этому времени утихли снегопады, и раскатанные с гор катушки как магнитом тянули нас на самые вершины, откуда можно было катиться до берега реки с замиранием духа. Одна у нас осталась радость – катание с гор. Распался шумовой оркестр, негде было заниматься физкультурникам, составлять пирамиды, по счету три-четыре вскарабкиваться с помощью друг друга до самого потолка. Перестал работать драмкружок, в котором мы ставили пьесу "Павлик Морозов". Одним словом, без школы мы осиротели, да и учителя в первое время растерялись.

Наша Курочка попыталась подготовить с нами литературный монтаж, но ни у кого не было желания и охоты делать это в новой "школе", маленькой и темной.

Как-то в конце уроков, когда мальчишки с визгом и шумом побежали к двери, Толька Мальков чуть было не сшиб с ног нашу маленькую Надежду Петровну, которая пыталась его остановить.

– Мне некогда. Мамка на дежурство уходит, – крикнул он.

– Как знаешь, – посторонясь, сказала Надежда Петровна.

– Думала включить тебя в группу для подготовки концерта к двадцать третьему февраля.

– У нас девок-визгуш полно. Пусть и поют, – приостановился Толька. – Они голосистые.

– С этим концертом будем выступать в госпитале, перед ранеными бойцами.

У Тольки выпала из рук тяжелая, сшитая из голенищ старых кирзовых сапог, сумка, на которой он лихо катался с гор.

Этой новостью мы все были сражены. Еще бы! Побывать в госпитале, увидеть своими глазами раненых, да еще петь для них!

– Нашему классу нужно подготовить только один номер, – сказала Надежда Петровна. – Каждому хочется побывать в госпитале.

– Толька, придумывай. Придумывай! – тормозили его мальчишки, не давая нам, девчонкам, вымолвить ни слова.

– Петь будем? – спросил Толька. И тут наступила тишина, которой воспользовались девчонки.

– Мы украинский танец станцуем, – предложила Катька Мальцева.

– Ага. Как бы не так. Я играть его не умею. У меня лучше наигрыши получаются.

– Хорошо, – повеселела Надежда Петровна, которая, судя по всему, сама не знала, что нам предложить. – Частушки заборные подобрать надо.

– Да частушки-то почти все любовные.

– Про Гитлера есть частушки – вас ист дас! Вас ист дас – немцы драпают от нас! – кричал Мишка Хаккимулин и для чего-то подбросил над головой сумку, из которой вылетела ручка и воткнулась пером в половицу.

– Здорово-о-о! – закричали все. – Как здорово! Частушки про Гитлера!

Сидит Гитлер на заборе,

Просит кринку молока.

А доярка отвечает:

Подую скорей быка! – продекламовала с задней парты Настя Субботина.

Класс загудел. Из соседней комнаты к нам заглянул новый физик. Мы как сумасшедшие закричали:

– Вас ист дас? Вас ист дас? – и лысая голова с испуганными глазами сразу исчезла.

– А где их взять, эти частушки? Кто их знает?

– Это трудноато, – согласилась Надежда Петровна. – А мы к эвакуированным ходим.

– Откуда им знать? – как-то по-взрослому сказал Толька. – До частушек им было...

Но мы с Манькой все-таки надумали сбежать к ним в барак.

День был бусый, мела поземка, в воздухе летала снежная пыль. По Рабочему переулку не было санной дороги, и мы бежали друг за другом по узкой, еле приметной тропке, которая вела к бараку. Нам навстречу бежала чья-то собака, которая не хотела сворачивать в снег, она остановилась поодаль, оскалив зубы, зарычала. Манька сразу захныкала и признала в собаке сорвавшегося с цепи прохоровского кобеля, который недавно искусал тетку Лушу, и фельдшерица с кордона ставила ей уколы от бешенства. Я хотела припугнуть собаку, топнула ногой, но Манька закричала не своим голосом:

– Этот кобель только того и ждет, чтобы на него замахнулись, тогда он бросится, повалит и может закусать до смерти.

Спорить с Манькой было некогда, мы повернули обратно и побежали сколько было сил к избушке тети Луши. Ворота оказались заперты, и не долго раздумывая мы юркнули в подворотню.

– С этой стороны дверь, – проваливаясь в снег, кричала Манька. – Ворота она открывает, только когда сено привозят. – Пришлось избушку обходить по пояс в снегу.

– Че по сумету-то тащились? – спросила тетка Луша.

– Прохоровского кобеля испугались, – вытаскивая ноги из больших растоптанных валенок, забитых снегом, говорила Манька. Она по-свойски полезла на печку, жестом звала меня. Тетка Луша худая, костлявая, с желтым морщинистым лицом закашлялась, отпила из кружки какого-то отвара, спросила:

– Че к баракам-то побежали? Тама талицкие бабы на лесо-

повал приехали. Жаловались: холод в бараке. Ко мне по пилу приходили.

– Нам частушки про Гитлера надо. Может, они знают какие, – сказала я.

Тетка Луша уставилась на меня черными, запавшими глазами.

– Ну, про Гитлера. Нам в госпитале перед ранеными солдатами выступать надо.

– Кому теперь до частушек? Горя-то кругом сколько!

– Че, теперь всем помирать?

Тетка Луша замолчала. Стояла долго, покачивала головой, пока на плите не вскипел чайник.

– Последний нонешний денечек – Гуляю с вами я друзья, – нараспев сказала она слова.

Манька с печки закричала:

– Чур! Чур! Моя частушка. Тетка Луша моя свояченица. Чур, моя частушка. Я ей за это воды натаскаю.

– До это вовсе не про Гитлера, – закричала я Маньке. – Кто ее не знает?

Тетка Луша насупилась.

– Все одно про солдатское расставание, – возразила она несмело.

– Моя частушка! – уже ревела Манька. – Лучше бы я одна пришла, – выговаривала она мне.

– Слушай, Шурка, у тебя, говорят, рука счастливая. Седни возле проруби бабы про тебя говорили: мол, как только напишет Шурка письмо на фронт, сразу ответ приходит: хоть из окопов, хоть из госпиталя. Напиши-ка письмо моему Харитону. Пятый месяц строчки не получала.

– Ага. Ты ей частушку отдать хочешь. Я так и знала, все ей да ей, – вопила Манька. – Лучше бы не заходить к тебе. Она с этой частушкой в госпиталь пойдет.

– У тебя по пению посредственно: ни голоса, ни выноса нету, – рассердилась я на Маньку. – У меня отлично. Сама говорила, что я лучше всех пою.

– Моя частушка и только!

– Ты в чужом доме не командуй! – сказала я Маньке.

Тетка Луша не слушала нашу перебранку, из-за божницы достала бутылочку с засохшими чернилами, капнула из чайника горячей воды, положила на край стола тетрадный лист.

– Пиши, Шурка, сам Бог тебя ко мне послал. Я все одно бы к вам пришла. Ночи не сплю, все кажется, Харитон вокруг избы ходит. Много прописывать нечего, а только поклон ему от Лукерьи Поликарповны, да еще пропиши, что жду я его домой – не дожуся. Каждую ночь на его краю постели сплю, как раньше, место грею и подушку, на которой спал, нюхаю. Она, Харитон Петрович, мой сокол ясный, так и пахнет тобой. С ей твой дух в моей одинокой избе живет. – Тетка Луша тут носом швыркнула, обтерла кончиком платка сухие глаза.

– На которой подушке спал, нюхаю, – проговорила я.

– Так и пиши, Шурка, так и пиши. Это ему душу согреет. Про меня напиши, мол, бегаю, слава богу.

Мне бы никогда в голову не пришло, что тетка Луша такие слова знает. Я искоса поглядела на нее. Она погладила меня по голове и положила передо мной голубые атласные ленточки, продававшиеся в сельпо до войны. У меня захватило дух. Как я мечтала о таких ленточках, представляла, как буду вплетать в косы, завязывать банты. Но мама мне не купила – не было денег. Увидев ленточки, я даже выронила ручку, поджала под табуреткой ноги, вся сжалась в комок.

– Чур, моя частушка! – ревела Манька, не в силах побороть в себе зависти. – Все только ей да ей!

Мне уже было не до частушки. Ленточки все затмили. Я готова была написать десять, двадцать писем. Готова была писать их целую ночь.

Не знаю, кто пустил по селу слух о моей легкой руке, но не было дня, чтобы кто-нибудь не приходил к нам, не просил у мамы отпустить меня написать письмо на фронт.

– Че хоть пишешь в этих письмах? – допытывалась Манька.

Я не таясь говорила, что начинаю письмо со слов: лети на фронт с приветом – вернись, письмо, с ответом, потом вывожу: глубокоуважаемый или почтенный, вчера такое дяде Петру писала. А потом нашу жизнь описываю.

– Возьми, Шурка, ленточки-то, возьми, – нашептывала на ухо тетка Луша. – У меня они все равно без дела лежат, а тебе за "легкую" руку.

– Нет, – еле слышно ответила я. – Мама ругаться будет. Да и письмо вдруг не найдет Харитона Петровича?

– Как это не найдет? Раз ты написала – найдет! От Федора-то Тютюкова цельных восемь месяцев писем не было, а твое получил. Нет, ты, Шурка, еще мала, не знаешь, кого Господь под свою защиту берет, тому счастье в руки дает, – непонятно говорила мне тетя Луша, а я уже старательно выводила: "Вперед! За нашу великую Родину!" и, завернув треугольником, мелкими-мелкими буквами написала с краю: лети, лети, лети.

Манька, сползая с печки, твердила:

– Сидит Гитлер на заборе,

Плетет лапти языком...

– Чтобы вшивая команда

Не ходила босиком, – допела я.

Домой мы бежали по запорошенной снегом тропке гуськом, ни о чем не говорили и, выбежав на проезжую дорогу, разбежались по домам в разные стороны.

У нас сидела доярка из соседнего колхоза – розовощекая Манефа. Она приезжала на лошади каждую неделю, привозила замороженное в круги молоко для школы-интерната и госпиталя.

– Манефа! – закричала я, сразу подумав о том, что, может быть, она знает какую-нибудь частушку. – Манефа, пропой какую-нибудь частушку про Гитлера. Ну хоть какую.

Манефа насупилась:

– Че я тебе, какая дура? Ни с того ни с сего петь стану.

– Ну не пой, а так, как стихотворение, скажи. Мы же в гос-

питале выступать будем.

– А письмо напишешь?

Мама всплеснула руками, еле выговорила:

– А ты от кого узнала, что она письма на фронт пишет?

Но я уже доставала из сумки тетрадь с последним чис-
теньким листочком, а сама шептала Манефа:

– Ну, спой поскорее, спой.

– Мою милку ранили

На краю Германии.

Весь Берлин переверну –

Мою милую найду.

– Какой край Германии? Война-то еще где идет! Это, Ма-
нефа, неправильная частушка! Наши еще до Берлина не
дошли.

– При чем тут дошли, не дошли, – тоже закричала Манефа.

– Не дошли, так дойдут. Кричишь, а газетки не читаешь – как
их теперя понужают! Считай, всю Украину освободили.
А больше у нас в деревне про Гитлера ни одной не знают.
А может, такую споете:

Куплю Ленина портрет –

В золотую рамочку.

Вывел он меня на свет,

Бедную крестьяночку.

Я сидела над чистым листом бумаги, а слезы катились из
глаз, капали на него и сохли, как на промокательной бумаж-
ке. Манефа топталась возле стола.

– Ну не хотела тебя обидеть, Шурка. А где их взять, эти
частушки? Вот ежели любовные, так могу цельный вечер
петь.

– На что мне ваши любовные, пойте их сами, – куражи-
лась я над Манефой, но тут вмешалась мама.

– Не слушай ее. Она всем голову заморочит. Ей что втемя-
шится в башку, покою не даст. Теплые вещи собирали, так она
у отца шарф вырвала и унесла. Теперь ей частушки надо. Где
их брать-то? Нету сочинителей.

– Хорошая частушка про милку раненую, – уговаривала меня Манефа.

Я ее слушала и не слушала, с горечью думала, что в госпитале мне не бывать, почти машинально выводила слова нового письма на фронт, Манефиному ухажеру Юрке Голубеву – самому лучшему в колхозе конюху, который запомнился мне высоким ростом и черными усами. Он приезжал в село покупать патефон, хвастался покупкой, крутил ручку, ставил пластинку, а из-под тонкой иголки вылетали веселые слова: Лейся, песня, на просторе, не грусти, не плачь, жена...

– Где я возьму частушки про Гитлера?

Но на репетицию я все-таки побежала. Толька Мальков пришел с отцовской трехрядкой, забросил на плечо ремень.

– Сбавь ремень-то или на шею надень, а то упадет гармошка, – посоветовал ему Мишка Хаккимулин.

Курочка спросила, нашли ли мы частушки про Гитлера. Первой подняла руку Манька и затянула частушку тети Луши, правда не в ту степь и два раза прерывалась. Я стояла и переживала за нее, так хотелось ей помочь но она, на удивление, не сдавалась, начинала сначала.

– Голосистее, голосистее, Маша, – говорила Курочка, чувствуя фальшь в каждом звуке.

– Ну ты, Манька, отдай частушку кому-нибудь, – возмутился Толька. – У тебя ни голоса, ни слуха.

– Не всем быть голосистыми, – воспротивилась Манька. – Я тоже хочу идти в госпиталь.

– Да отдай ты, Манька, частушку, ладу не слышишь.

– Да ты сам играть не умеешь, – дрожащим голосом сопротивлялась она.

– Ничего, ничего, – подбадривала ее Надежда Петровна. – Бойцы – люди сознательные, понятливые, сердечные.

– Носочки, носочки ставьте по половице, соблюдайте ряд. Надо, чтобы все было эстетично, до мелочей.

Я представляла, как девчонки встанут посреди школьного коридора, как со всех сторон будут раненые слушать их, ап-

лодировать, и меня взяла такая зависть, что я не выдержала и заревела.

– Манька, отдай частушку Шурке! – не выдержал Толька, – или я играть не буду, ты меня с ладу сбиваешь. Отдай.

– Не отдам – стояла она на своем.

– Да у меня есть частушка, – робко сказала я, боясь потерять последнюю надежду, и невнятно промямлила:

– Мою милку ранили

на краю Германии,

весь Берлин переверну –

свою милую найду!

Все засмеялись, закричали, курочка захлопала в маленькие ладоши.

– Пропой еще раз, Шурка! – просили со всех сторон. Толька играл на гармошке переборы, постукивал о пол носком большого пима, и я, расхрабрившись, пропела частушку про Ленина.

Так неожиданно-негаданно я вышла главным запевалой: "Ну, Манефа! Вот так частушки в колхозе", – радовалась я. А больше частушек никто не нашел.

– Как же так? – сокрушалась Курочка. – Скоро двадцать третье февраля. – Тут зашел директор Андрей Петрович. Толька в это время сказал: "Как только скажу "три", без промедления начинайте". Даже при виде Андрея Петровича он не стусевался. Мы заголосили. Послушав, он сказал:

– Кто в лес, кто по дрова, – мы притихли; как мыши. Авторитет Андрея Петровича после создания шумового оркестра был в школе непререкаемый. Подойдя к Тольке, он взял инструмент и проиграл перебор, мы запели.

– Молодцы, – похвалил Андрей Петрович. – А где такую великолепную частушку про Германию нашли? – У меня перехватило дух.

– Манефа из колхоза привезла.

– Как у тетки Луши, которую я пропела, перебила меня Манька

Я не вытерпела, толкнула ее в бок. Она ответила, дернула меня за руку, но я стерпела. Манька редко подавала голос. Она плохо училась, меня все время прикрепляли к ней заниматься, а тут прямо – не из тучи гром! Такая неожиданная прыть. Видно, так ей хотелось в госпиталь.

Я была рада, что частушка про "милку раненую" Андрею Петровичу приглянулась.

– А больше про Гитлера нету. У всех только любовные, – осмелела я.

– И про любовь солдату петь надо, – сказал директор школы.

Настало двадцать третье февраля. После обеда все пошли в госпиталь. В свою школьную ограду заходили тихо, под ногами скрипели перемерзшие доски тротуара. Дверь показалась большой и тяжелой. Ее с обеих сторон обили кошмой. Мы, как ягнята, перепрыгнули через высокий порог, прижались к стенке, боялись пошевелиться. Пахло лекарствами, незнакомые запахи щекотали в носу. На Маньку тут же напал чих, а у Тольки как назло запал в гармошке клавиш и жалобный писк полетел по всему коридору. Он прижал гармошку к полу, лег на нее, выковыривал беленькую, затонувшую в регистре кнопку.

В узкую, чуть приоткрытую дверь как тараканы вползали ребята из других классов.

Мимо прошел офицер в погонах, до блеска начищенных сапогах. Я зажмурила глаза, увидев рядом настоящего военного, повторяла в уме частушку, меня пугала мысль: а вдруг да все слова вылетят из головы и я опозорю класс. Искоса поглядела на Маньку. Она вся тряслась, губы посинели, на лбу и курносом носу выступили капли пота. Я с перепугу забыла про свои голубые ленты, которые тетка Луша положила мне в карман. Школьный коридор заполнился ранеными. Они сидели на скамейках, табуретках, в колясках. Везде была белизна от бинтов, халатов, простыней.

Нас вызывали по очереди. Когда назвали пятый "б" класс, мы гуськом двинулись за Толькой. Манька на ровном мес-

те споткнулась, упала на четвереньки, я налетела на нее, меня толкнули в спину. Но Надежда Петровна предотвратила катастрофу. У меня один бант оказался развязанным. Я расслышала Толькин проигрыш. Мы еще топтались, представляли носочки по линейке половой доски, а Толька уже проиграл и подал команду: "Три!".

Гетка запела частушку про Ленина, потом пропелась вторая, третья... Когда дошла очередь до Маньки, она стояла окаменевшая, выпучив глаза. Я подтолкнула ее в бок, но Манька только продвинулась вперед, испортила весь ряд. Ее частушку пропел Толька. У меня глаза бегали из стороны в сторону, будто кто-то внутри дергал их за ниточки.

– Шурка! – услышала шепот.

– Мою милку ранили на краю Германии, – тянула я, зажмурив глаза, прислушиваясь к Толькиной игре, пропела ее до конца, и вдруг раздались аплодисменты, веселые возгласы, но я не открывала глаза, а только слушала Толькины проигрыши. Никто его не поддержал, и я расхрабрилась:

– Я на розову подушечку

Паду: реву, реву,

Моя розова подушечка

Не скажет никому! – вспомнила пришедшую на ум частушку, которую пели на свадьбе у Механошиных.

Кругом стоял шум, смех, аплодисменты. Толька видно, как и я, ничего не слышал, кроме своей трехрядки, наявивал, и я опять затынула:

– И на юбке кружева,

И на кофте кружева, –

тут видно, кто-то толкнул Тольку. Гармошка смолкла, но мне ничего не оставалось как допеть частушку до конца:

– Неужели я не буду

Лейтенантова жена?

Я не поднимала глаз, кусала губы, а вокруг было шумно и весело. Кто-то поднял меня на руки. Это был тот самый офицер в погонах со звездочками.

– Быть тебе лейтенантовой женой. Как же такой, да не быть? Ох ты, лейтенантова жена. Такая молодчина. Где такую частушку взяла?

– У нашей врачихи Елизаветы Михайловны. У нее муж лейтенант, вот она и поет такие частушки.

Он поставил меня на пол, погладил по голове, завязал на косичке ленточку.

Мне до сих пор снится госпиталь, наши ребята, Толька Мальков и его трехрядка. И сейчас, проходя мимо места, где стояла наша деревянная школа, я всегда замедляю шаг. Хочется постоять, прислушаться и быть может, в потревоженной памяти услышать далекое эхо тревожных школьных лет.

ДЕДУШКИН РЕМЕНЬ

В роду Белкиных все были смиренными. А род-то, слава богу! Семь братьев в одном селе Каменка жили. Под каждой крышей худо-бедно пятеро-шестеро ребятишек росли, а у Евлюши с Петром десять погодков враз за стол садились. Рожала Евлюша ребятишек незаметно. Ходила по селу в широком сарафане, поверх фартук с оборками надевала. Лицом всегда чистая: никаких на нем подтеков, пятнышек, только губы припухшие алели. Никому и в голову не приходило, что она в тягости.

В какой-нибудь летний день, чаще всего рано утром дед Никифор, охватив голову руками, бежал к соседу Семке жаловаться: вот когда сена нету – так у коровы теленок появляется, а у кого денег нету – так обязательно ребенок родится.

– Опять Евлюша разродилась? – спросит Семка.

– Вчерась девочку принесла, – ответит дед и оповестит все село.

Незаметно, без крестин и именин, растет среди большой семьи новый человек. А Евлюша, белая, сдобренная молочными материнскими соками, долго не залеживалась. На другой же день начинала ходить по дому, все возле ребят, как клушка возле цыплят. Ласковыми словами их не баловала, будто мимоходом то одного, то другого по вихрастым головкам погладит, а они от этого ровно не по дням, а по часам росли. Здоровые все, на ногу легкие, на дело ловкие. Каждое Евлюшино самое тихое слово на лету ловили. И росли все смиренные: ни шуму, ни крику, ни реву, ровно их и не десятеро.

Как зайдет между мужиков разговор про Белкиных, так дед Журавлев, через чьи глаза вся жизнь села прошла, потеревит тоненькие волосинки на редкой бородачке, пощиплет сухим желтым пальцем бородавку у правого уха и скажет:

– Это смирение у них по родовой линии тянется. Я, правда, слыхивал, будто давно после одного кулачного бою они

присмирели. У них одного из братьев при этом деле, при бою-то кулачном, изувечили, а в скорости он и погас, семь душ ребяташек сиротами оставил. А они, сами видите, какие все жалостливые к ребяташкам. Так вот, с той поры зарок все дали: пальцем никого не трогать. Так это когда еще было! Да было ли? Сумлеваюсь. Если в ком че есть, потом все одно отрыжку даст! А они все локоть к локтю живут.

Скажет так дед Журавлев, понюхает табаку, чихнет несколько раз кряду так, что пот на лбу выскочит, и протянет:

– Не-ет, это у них по родовой линии тянется!

И вдруг как гром над селом прокатился.

– Слышали? Старший-то Евлюшин парень, Митька, Алешку Мохнаткина на покосе вицей исхлестал. Не как-нибудь там легонько, а прямо со всего плеча.

– Вот те и жалостливые! Вот те и по родовой линии у них смирение тянется! – кричала на все село Мохнатчиха, показывая рубцы от виц на Алешкиных руках.

– Ну кто бы стерпел? – всхлипывал Митька. – Алешка бил белолобого совхозного бычка до такой напасти, что тот, бедняжка, обмарался весь. А за что бил? Просто пробежал бычок по его прокосу.

И хотя Митька был по всем статьям прав, никто не попытался, кто из ребят виноват. Все как, сговорившись, твердили одно: в Белкиных выиграла буйная кровь!

Дядя Петр, Митькин отец, услышав о выходке сына, побледнел. Домой шел, тяжело ступая, пыль под сапогами разлеталась по сторонам. Увидев отца, Митька набычил лоб, нахмурил брови, плечи у него приподнялись. Евлюша присмирела, сложила руки на груди, заморгала густыми ресницами, а когда увидела, что отец взялся за ремень, зажмурилась.

– Вздую я тебя, Митька, вздую! – закричал отец. – Как у тебя на своего товарища рука поднялась, а? Ты вот мне только скажи: как? – Митька молчал. – Вздую! Даю тебе честное слово, вздую! Вот этим ремнем.

Он повертел ремень в руках, несколько раз расстегнул и

застегнул пряжку. Она жалобно забренчала. Может, с непри-
вычки, может, от жалости, только не поднялась у отца рука
вздуть Митьку. Вышел он из избы, хлопнул дверью, а мать
дернула сына несколько раз за волосы и, погрозив пальцем
перед самым носом, прошептала:

– Вот погоди, доберется он до тебя!

Дядя Петя возчиком был. На лошадях в сельпо грузы возил.
Лошадей холил. Шерсть на них блестела, расчесанными гри-
вами ветер играл. Бегут они, бывало, с кладью или воз с сеном
везут, и все издали по широкому шагу, по резвой прыти его ло-
шадей узнают. Кнут в руки дядя Петя не брал. Он только для
порядка висел в конюшне на гвоздике. Случится, заурочит ка-
кая-нибудь из лошадей, взмахнет он вожжами над головой,
пронесется свист в воздухе, подождет лошадь уши и пустится
в мах – успевай вожжи натягивать!

Все было хорошо. Счастливо жил Митька со своим, ску-
пым на слова, отцом. Он и теперь помнит те далекие дни, ког-
да брал он его с собой по сено. Помнит, как пахла на возу су-
хая трава летом и солнцем, как в морозном воздухе глухо раз-
давались хлопки овчинных рукавиц, как, спрыгнув с воза, бе-
жали они наперегонки, чтобы согреться. Впереди в лунном
свете блестела начищенная полозьями дорога, а по сторонам
чернели темные полоски сенной трухи да дрожали на ветру,
будто разоренные вороньи гнезда, зацепившиеся за кусты
пучки сена.

Счастливое время долго живет в памяти, тоскуешь о нем,
когда приходит горе. А горе вошло в каждый дом со страш-
ным словом "война". Услышал Митька о том, что началась
война, у реки, от Кольки Черемнова.

Пришли они вьюнов колоть. День выдался знойный. От ре-
ки прохладой тянет. Сели они в тень, поправлять зубья иско-
верканных о камни вилок, а Колька и говорит:

– Слышал? Фашисты войну объявили. На нас напали.

– Ври-и, – протянул Митька.

– Хочешь, земли горсть проглочу! – закричал Колька. Он

всегда так говорил, когда с кем-нибудь спорил.

Митька уткнулся головой в острые колени.

– Ты че? – спросил Колька, глядя на воду. – Вона, смотри, у камня – горбуна круги ходят, там, поди, не один полосатик стоит. – Но Митька вьюнов колоть не остался.

Улица показалась Митьке пустынной, гонимый каким-то внутренним страхом, он побежал домой напрямик, через огороды, пугая в траве кузнечиков. Дом был на замке. По двору ходили куры. На завалинке, отгоняя ушами надоедливых мух, хрюкала свинья. Митька, поддернув штаны на широкой лямке через плечо, сам не зная для чего разогнал кур и понесся что было духу переулками через мост к дяде Кириллу – старшему брату отца. Дверь в избу распахнул широко и, увидев в большой горнице множество народа, испугался.

– Тише, Митька, тише – зашушукали на него, поглядывая на большую черную тарелку, откуда доносились треск и хрипы. Митька отыскал взглядом мать. Она сидела на табуретке, опершись спиной о стенку. Ее глаза были полужакрыты. Вначале ему показалось, что она задремала, но по еле заметным движениям пальцев, которые гладили голову прижавшегося к подолу меньшого брата, догадался: она тоже затаилась, вслушивается в слова диктора. На руках у нее заворочалась младшая сестренка. Мать прикрыла платком беленькое личико ребенка и свою грудь, достала ее еле заметным движением, и сестренка, сладко чмокая, притихла.

– Война, видать, ребята, страшная будет. Много держав супротив нас поставлено, – кашляя, сказал дядя Кирилл.

Большой, седовласый, он подтянул табуретку к широкому столу и, положив под себя правую ногу, сел. Первым к нему подсел отец, потом остальные братья. Митька только тут увидел, что они все похожи друг на друга: сутуловатые, больше-рукие, черноглазые.

Чадный дым от самокруток полз к окнам, раскачиваясь. В избе воцарилась тишина, было слышно, как тикают на стене часы да жужжит, стуча о стекло, черная, с синеватым брю-

хом, муха. Эта тишина тяготила Митьку, у него дрожали губы, и он готов был заплакать, но стеснялся, прятал глаза от дяди Кирилла, который нет-нет да и поглядывал на него.

А вечером во дворе сельсовета загрохотала единственная в селе грузовая машина. Шофер Степка-балалаечник, бросив под машину рогожный куль, лежал на спине, вертел там руками, задирали вверх то одну, то другую ногу, потом вскакивал, с силой крутил рукоятку. Мотор фыркал, урчал, пугал дремавшую у порога собаку и глох. Степка ругался.

– Давай не урочь, – будто машина могла понять его. – Мужиков наших завтра на станцию отвозить, а ты пыхтишь. Не на телегах же ехать, когда в совхозе собственная машина есть. Не в гости везем, на войну. Проводить надо со всеми почестями.

Митька топтался возле машины, подавал шоферу ключи, даже умудрился прилечь с края на рогожину. Степка не отгоял его, как раньше, а, взглянув, вздохнул:

– Охо-хо, Митька, охо-хо! Вон оно, оказывается, как все опрокидывается в жизни. Не живи, как хочется, а живи, как Бог пошлет.

– А Бога-то вовсе нету, – возражает Митька.

– Много ты понимаешь!

...Утром солнце, большое и яркое, заливало светом весь угол избы, широкую деревянную кровать с большим одеялом, сшитым из разноцветных лоскутков, под которым, разбросав руки, спали с одной стороны брата, с другой сестренки. Ванюшка во сне вылез из-под одеяла и спал поперек, у всех в головах. Митька не трогал его, жалел, прикрыл голые ноги чьей-то рубахой.

В открытое окно из огорода доносился звон литовок. Митька вскочил с постели, оперся руками о подоконник и увидел отца. Он шел по покосной меже, наклонившись, широко размахивая руками. После него ровными рядами ложилась скошенная трава. Солнце играло на острие литовки, и казалось, что отец вместе с росистой травой косил солнечные лучи.

Мать еле попевала за ним. Останавливаясь, обтирала лицо подолом фартука и шла следом, тяжело запинаясь о покос. Потом отец, как опомнился, воткнул литовку черенком в землю и подбежал к матери. Она уткнула лицо ему в пиджак. Митька увидел, как вздрогнули у нее плечи, и отвернулся. Не мог он в ту пору знать, что это был самый последний счастливый день в жизни его матери.

Скоро к сельсовету стал собираться народ. Митьке показалось, что в ограде стало тесно, нечем дышать от этого страшного слова "война", которое никто вслух не произносил. А пастух Костя впервые не погнал стадо на выгон. Коровы разбрелись по селу, ходили, брэнча боталами. Мать почернела лицом, под глазами обозначились темные круги. Она никого не замечала, кроме отца, ходила за ним как тень. Отец торопился: перебрал упряжь, наколол дров, даже занес их к печке, притащил холодной ключевой воды, будто чувствовал, что не придется ему больше держать в руках ничего, кроме винтовки.

На покосившееся крыльцо с темными перилами вышел председатель сельского Совета Петр Максимович. Отец обтер руки о серые брюки, вздохнул и выдавил: "Ну!" Мать в ответ тоненько, совсем бессильно ойкнула. "Ну!" – снова сказал отец, словно забыл слова, а это осталось у него в горле. Митька заметил, как вздрогнули и побелели у отца крылышки носа.

– Ну, растите большими! – набрав силы, сказал он и присел на корточки перед своими ребятишками, посмотрел в лицо каждому, потом встал, взял на руки одного, второго, третьего., поднял над своей головой, словно хотел на миг представить, каким же он станет, этот маленький человек, когда вырастет. Мать хмурилась, и эта хмурица в глазах, обозначившиеся морщинки на лбу так и остались с того дня у нее на лице.

Митьку он прижал к себе, провел рукой по нечесаным волосам, сказал:

– Помни, Митька, старшим в доме остаешься. За всех

в ответе будешь до моего возвращения. Я на всякий случай дяде Кириллу свой ремень оставляю. Чуть кто из вас озоровать станет или мать не слушать, пусть вместо меня вздует вас, как я обещал тебе. Понял? – Митька кивнул головой. Отец снял ремень, сложил вдвое и передал дяде Кириллу.

Степка посмотрел на часы, засигналил. В ответ ему заголосили бабы. Плач их был глухой, тягучий. От этого плача Митька хотел убежать на берег, к реке или в лес, но увидел мать. Она молча подошла к нему и не глядя толкнула ему в руки сестренку, а сама побежала за машиной, схватила отца за руку. Митьке показалось, что враз с места тронулось все: улица, дорога, дома, люди. И только старая, с большими ногами бабушка Клаша упала на колени возле обочины дороги и слала земные поклоны вслед уходившим с вещевыми мешками поселковым мужикам, размашисто крестила их спины и дорогу.

Митька побежал за всеми, прижимая к себе сестренку.

...Мать вернулась домой вечером. Не заходя в избу, пошла в огород, села на скошенную траву.

Она сидела на прокосе как неживая, и Митька не мог понять, о чем она думает. Потом, опершись рукой о землю, она поднялась. Митьке показалось, что по меже шла не мать, а переодетая в ее одежду старуха, сгорбленная, с повязанным платком у подбородка. Боязливо, крадучись она вошла в избу, легла на кровать и долго смотрела в потолок.

– Жить-то как будем, а? Как, Митя, жить-то будем? – шептали посиневшие губы. Митька съежился, припал лицом к ее цветастой кофте. От нее пахло потом, травой, молоком.

С того дня ушло, потерялось Митькино детство, стал он взрослым.

– Ну как там мать-то, Митя? – всякий раз спрашивал дядя Кирилл, задыхаясь от астмы, которая сжимала ему грудь после сильного волнения.

– Хворает, – отвечал он.

– Хворает?

– Она не говорит, а я все равно вижу: хворает. Лицо у нее почернело, темное стало.

– Да-да, Митя, жалеть ее надо. Много вас подле нее осталось, как-нибудь миром-собором проживем.

Первое треугольное письмо от отца принесли в обед, когда мать пришла с огорода. Не раздеваясь, она осмотрела его со всех сторон, погладила, не распечатывая, прижала к щеке. Губы у нее зашевелились, будто она хотела что-то сказать, но не могла.

"Добрый день или вечер, многоуважаемая моя жена, Евстолия Андреевна, – чуть слышно читала она, провела рукой по щеке, облизала пересохшие губы, – родные братья мои Кирилл Дмитриевич и его супруга Татьяна Сергеевна, Василий Дмитриевич и его супруга Прасковья Федоровна, Кузьма"... – В письме целых два листка было поклонов. Отец старательно называл всех братьев и их жен по имени и отчеству, даже Митьку то ли смешком, то ли признав в нем взрослого, назвал Дмитрием Петровичем. А про себя написал мало. Только и было: сегодня два раза ходили в атаку.

Каждый день Митька караулил почтальоншу у моста. Бежал к ней навстречу. Мать стала вздрагивать при виде почтальона, на щеках у нее вспыхивал румянец. Митька понимал, что она боится получить страшную бумагу, которую все называли "похоронка".

Подкосила фашистская пуля Петра Белкина, не пролетела мимо, вошла в него где-то на волжском берегу, и упал он среди мятой травы и косматых ветел. Упал и не встал, не узнал, как Митька крепко его наказ помнил. За все годы дяде Кириллу не пришлось никому из ребят отцовским ремнем пригрозить.

А когда в народе Митьку стали Дмитрием Петровичем величать, принес дядя Кирилл тот отцовский ремень на память.

Увидев его, Евстолия Андреевна вздрогнула, махнула рукой и приложив сухие пальцы к губам, умолкла.

Что и говорить, жизнь после войны пошла хорошая. Только

работай, и в доме будет достаток. А кто военную пору пережил, праздну жить на всю жизнь разучился.

Живет, хлопочет по хозяйству солдатская вдова Евстолия Андреевна, подняла она на ноги своих ребят, рассортировала их по жизни как следует, а сама осталась жить с Митей, в своей избе, где каждый гвоздик в стене, каждая половица в сенцах и бане напоминали о хозяине.

Далеко укатили годы, а как нахлынет память о Петре, затумянутся глаза, закружится голова да чаще застучит у нее сердце. Но звонкие голоса внучат помогут ей сил набраться. Смотрит она на них: ладные, смиренные растут – как все Белкины. В старшем, Сереже, все больше дедовские повадки проглядывать стали. То в повороте головы, то во взгляде заметит Евстолия Андреевна сходство, а как на руки взглянет, прямо сердце зайдется: ладони широкие, пальцы ровные, ногти плоские, как у деда. "В такую пору руки должны по работе тосковать, по делу. А Сережка-то все в играх да забавах. И как это Митя не видит? Или сам в детстве от надсады так приустал, что ему послабление дает?" – подумает и уйдет в огород, а сердце щемит.

– Послушай-ка, Сережа, – не вытерпела как-то Евстолия Андреевна, вытряхивая из глубоких калош землю. – И не надоело тебе без дела, без работы ветер гонять? Отец-то в твою пору...

Сережка будто давно ждал этих слов.

– А что? Папка в военную пору жил. – Встал перед бабушкой подбоченившись, прищурил один глаз, будто отрапортовал скороговоркой. – Тогда не один папка, все работали. А теперь не обязательно. И тебя в огород никто не посылает, ты сама идешь, все в наклон да в наклон, а потом жалуешься: голова болит.

Сказал и убежал. А в сердце Евстолии Андреевны будто заноза вонзилась. Прокколола, и все! Легла она на постель, лицом осунулась, седые волосы из-под платка выбились, глаза потускнели, нос заострился. Ну, прямо святая мученица!

Даже дыхание еле-еле слышно стало.

Собрались вечером к столу, а она встать не может. Все силы потеряла. Митя привстал возле кровати, дознаваться стал, где болит да как болит.

– Не простыла я, не простыла, – вытирая глаза кончиком платка, сказала она. – Обидел нынче внучек меня. Не думала, что его слова такие тяжелые.

Засопел Дмитрий Петрович, шея красными пятнами покрывалась, возле глаз жилка вздрогнула. Поднялся с табуретки шумно, под ногами проскрипели тесовые половицы. Тихо в избе стало, комар пролетел бы – услышали. Сходил в спальню, вынес оттуда дедушкин ремень, про который все давным-давно забыли.

Вздрогнула Евстолия Андреевна, перед глазами ясно выветился день, когда передавал его ее муж на память и хранение старшему брату. У Дмитрия Петровича тоже запершило в горле.

– Забыли? Все про дедушкин наказ забыли. Думаете, время прошло, так все быльем поросло!

Сережка вскочил со стула, растерянным взглядом смотрел то на отца, то на мать, то на бабушку. Он пытался что-то сказать, но отец шагнул к нему и, будто захлебываясь воздухом, выдавил:

– Дедушкин наказ и тебе на веки вечные помнить надо. – Последние слова отец произнес шепотом, положил ремень на стул и, ссутулившись, вышел из дома.

Из сарая доносились гулкие удары топора. Отопревшая в теплые дни березовая кора целиком отваливалась от сучковатых чурок и походила на коричневую подкладку. Терпкий березовый запах щекотал ноздри. Дмитрий Петрович колот дрова, с силой отшвыривал в сторону тонкие ровные поленья.

ЗАЯЧЬИ ГОСТИНЦЫ

В избе полумрак. На полу от белизны снега вырисовываются переплеты оконной рамы. На приступке печи лежит кот Буська, в темноте похожий на отцовскую варежку. Настя легонько гладит его по мягкой спине, и, выгнув спину, Буська мурлыкает. "Холод почуял, в тепло лезешь?" - подумала Настя и припала щекой к теплому кирпичу, стараясь разглядеть отца, который лежал в углу на деревянной кровати, дышал редко, но шумно. В темноте под низким потолком летали хриплые звуки.

В другое время Настя давно бы спрыгнула с печи, залезла к нему под одеяло, и, прижав ее к своему теплому боку, он, стал бы рассказывать ей про ледокол "Челюскин", а может, про дрейфующую станцию на Северном полюсе или Эрнста Тельмана. Да мало ли про что? Отец знал много всего. Настя жмурила глаза, старалась не выпустить из глаз слезу, которая шекотала веки.

Сейчас она не могла забраться к отцу. Вчера он опять захворал. Вечером у него горлом хлынула кровь. Теперь ему нужен покой, и Настя, затаившись на печи, ловила каждый его вздох и стон.

Кто-то постучал в нижние венцы избы. "Чужие. Свои так не сбивают с пимов снег". В сенях зашуршали сухие ветки голика, со скрипом открывалась дверь.

– Темнота-то кака! Че лампу не зажигаете? Али дома никого нет, али керосин бережете? - наполнил избу громкий голос дяди Яши, младшего брата отца.

Настя слышала, как у порога он сморкался, снимал полушубок, тер озябшие ладони.

– Ух и снежище, - говорил, осторожно ступая на половицы, словно боялся проломить их. В темноте чиркнула спичка, осветила круглое лицо, заросшие щетиной щеки. Тень большой руки протянулась к стене на которой висела лампа.

– Не поднимайся, не поднимайся, – говорил он в темноту, услышав скрип деревянной кровати. – Ехал мимо, дай, думаю, загляну.

Настя догадалась, что дядя Яша соврал, он вовсе не ехал мимо, а пришел пешком попроведать отца, но не признался. Он почему-то всегда говорил так, когда видел отца в постели. Наверно, и отец догадывался, что дядя Яша не приехал, а пришел пешком, но не подал вида. Так лучше было всем. "Но почему все-таки дядя Яша говорит неправду?" Дядя Яша, веселый, смешливый, при Настином отце всегда робел. И теперь, пройдя в комнату, топтался возле табуретки, тербил на лбу слежавшиеся под шапкой густые пряди волос.

– Февраль месяц буранный, от него только и жди метелей да снегопадов, – сказал отец, как будто помогая дяде Яше начать разговор.

– Сено надо вывезти, а то переметет дорогу – не добраться будет.

– Надо. Все дела в сторону, а сено вывезти, – согласился отец.

Дядя Яша работал сельсоветским конюхом, и все работы от заготовки сена до его вывозки были его заботой, если не считать кучерских дел, ухода за двумя сельсоветскими быками и вывозки дров...

– Ночью на станцию ездил, – заговорил он, но тут же поперхнулся, чихнул, да так громко, что смирно лежавший на приступке Буська вздрогнул, прыгнул с печи и юркнул через квадратный лаз в подполье. Дядя Яша обернулся, обтер ладонью рот, продолжил: – Прибежала сторожиха Таська и разбудила среди ночи: мол, по телефону передали, что к нам командировочный прибывает. Запряг Буяна на станцию. Ненашенского человека узнать легко. Определил приезжего с первого взгляда. Оказался землемер. Грузный, смурной. Я и так и этак, а он все молчок. Одним словом – привез. Только Буяна распряг, Таська опять бежит: мол, в Талую кого-то из членов правления требуют приехать. Тама в магазине кака-то

неурядица. Съездил – не ближний свет – двенадцать верст, дело пустяшное: кто-то гвоздем в замке ковырял, открыть хотел, да не смог, а Тамарка продавщица начала требовать комиссию, – вдруг, говорит, тама все обкрадено.

– Правильно, – сказал отец, облизнув сухие губы.

– Так она же, Тамарка-то, блажная, здря шум подымала. Пока мы топтались возле магазину, Петруха Мальцев своего варнака за ухо притащил. Он, видите ли, леденцов из коробки попробовать захотел.

Дядя Яша хлопал себя по карманам пиджака, отыскивая кисет.

– Только я приехал, меня опять в сельсовет: поезжай, Яков Дмитриевич, на Красный Октябрь. В поссовет бланки увези. Я, не долго думая, подошел к аппарату, вызвал председательшу и говорю: "Ты че это, Настасья Петровна, на наших лошадей зарисься? Требуешь, чтоб мы тебе бланки возили, а своего жеребца токо на выезд бережешь? Вчера была у нас, почто бланки не захватила? Че ты, барыня какая?" На другом конце аппарата замолчали, потом в трубке кашель послышался и такой ласковый голос говорит: "Дай, Яков Дмитриевич, отбой, завтра сама заеду". Вот ведь какая баба! Вези ей бланки, гони Буяна, а у самой в поссовете лошадь.

Кисет у дяди Яши был красный, завязывался на тоненькие шнурочки. Он перекладывал его из ладошки в ладошку, машинально подносил к носу, улавливая запах самсада, закатывал под лоб глаза, но самокрутку делать не стал, знал: отец не переносит табачного дыма.

– Святослав, – так звали одного из быков, – второй день жвачку потерял. Надо за ветеринаром ехать.

– Надо, – согласился отец. – Хлопотливая такая у тебя работа.

Когда дядя Яша сказал о Святославе, Настя вспомнила двух сельсоветских быков, которых держали в просторных сараях поодаль от главных построек. Управлялся с ними сам дядя Яша, а если его не было дома, то тетя Уля. Она боялась быков.

Набросав в ясли сена, крадучись подходила к дверям, распахивала настежь и бежала без оглядки к городьбе.

Быки были большие, сытые, рога на косматых лбах широко расставлены. Выйдя из конюшни, они поднимали вверх квадратные головы, широко раздували ноздри и громко хоркали.

Святослав был черной масти с белой звездочкой на лбу и белым пятном на левом боку. Второй бык по кличке Бармалей - пегий, с клинистой бородой, всклокоченной челкой, свисающей на черные влажные глаза. Когда он выходил из конюшни, у Насти по спине пробегал холодок. Ей казалось, что через косматые патлы бык высматривает только ее. Зажмурив глаза, не оборачиваясь, она во весь дух бежала во двор и пряталась куда попало. Когда быки подходили к пряслам и начинали хрипло и грозно мычать, не только Настя, но и все девчонки пугались.

– Может, остарел Святослав? – спросил отец, подняв голову с подушки. – Каким сеном их кормишь?

– С Пятковской присады.

– Лучшим сеном кормить надо. Они все лето в неволе, и зимой кормишь наравне со всеми.

– Кто виноват, что они такие буйные? В стадо отпустить нельзя - каждый день беды жди. Вона летом Бармалей как сдурел. Может, по свободе соскучился. Перемахнул через прясло и стал копытом землю бить - пыль поднял до самой крыши. От его реву в сельсовете все на крючки закрылись. Пришлось из ружья выстрелить, чтоб он от ярости охладел.

– А кормить их надо получше.

– Завтра поеду на Манью. Там сено сочное, ставили его в ведро, – согласился дядя Яша. – Вывезу – и делу конец.

Они еще о чем-то говорили, но Настя уже не слышала. Она уткнула лицо в подушку. Маленькое личико стало мокрым от слез, волосы прильнули ко лбу, а тоненькие пальцы зажимали рот, сдерживая плач. Но ее писклявый, похожий на мышинное попискивание голос вырвался и поплыл по избе.

– Настя там, что ли? – поднимая ситцевую занавеску на печи, спрашивал дядя Яша. – Заболела, что ли?

– Не-е-е-т, – всхлипывала она. – По сено с тобой хочу. Все обещаешь, обещаешь, а не берешь.

– Так зима-то ишо долгая, возьму.

– Не обманывай. Сам говорил: сено последнее.

Дядя Яша сразу смолк, наклонил голову, и Настя не видела, а догадывалась, что он глядит на отца.

– Не девичье это дело, – нашелся дядя Яша. – Парни ездят, так делу учатся: как надо к зароду подъезжать, как стога разбирать, возы класть, бастрыги затягивать, а тебе это на что? Тебе же придется только коров доить, а не по сено ездить.

Настя не слушала его дельных разговоров, она плакала громко, не желая расставаться со своей мечтой побывать на покосе зимой, увидеть, как там зимуют стога, какие у речки берега, не устроил ли кто из зверей жилье в их балагане, сложенном из прутьев и веток тальника.

– Обещал? – услышала она голос отца.

– Так Манья-то далеко. Холодно ей будет, и поеду я раным-ранешенько, когда ребятам во сне сказки разные снятся.

– Я во сне ничего не вижу, всегда сплю крепко. Я по сено хочу! – не сдавалась Настя.

– Обещал? – снова спросил отец, и по его голосу можно было догадаться, что он велит дяде Яше взять ее с собой.

– Ну чтоб у меня не пищать. На трех лошадях поедем, работы будет до заката. А че ты тама делать будешь – не знаю, – озабоченно, тихим голосом говорил дядя Яша.

Настя вскочила среди ночи. Полусонная стала натягивать большие братовы штаны, обматывать вокруг себя длинный шнурок, чтобы они покрепче держались, но шнурок все время выскальзывал из рук, сопя, она поднимала его и снова накручивала вокруг тонюсенькой, еще не обозначившейся талии. "Вот наказание господнее, а не ребенок", – бормотала мать сквозь сон, помогая Насте завязать вокруг шеи мягкую,

связанную из собачьего пуха шаль...

Над селом по высокому звездному небу плыла круглая луна, будто торопилась догнать темную тучу. Настя остановилась. Заснеженные крыши изб походили на сметанные зароды, и если бы не тонкая струйка дыма из трубы крайней избушки шорника Данилы, Настя, быть может, испугалась бы пустынности улицы. Но в это самое время, когда она приглядывалась к горбатуму мосту через реку, услышала глухие удары пещни. Ее будто кто-то толкнул в спину, и она побежала во весь мах, радуясь, что скоро увидит огороженную от снежных заносов маленьким елями прорубь, увидит горбатого Зосиму, веселого песика по кличке Тузик, который никогда и нигде не отставал от своего хозяина. Тузик услышал Настины шаги, твякнул, побежал ей навстречу, но на полдороги будто вдруг передумал, остановился и побежал обратно, словно покатился черненький мячик по узенькой, почти неприметной тропке.

Впереди Насти бежала ее тень. "Остановлюсь, сделаю большущий шаг и наступлю на нее", – думала Настя. Она собралась с духом, подскочила, перебежала на другую сторону улицы и снова прыгнула. Но тень, как привязанная невидимой нитью, все время отпрыгивала.

Сельсовет был на взгорке, в старом купеческом доме. Наличники, окрашенные в белый цвет, вырисовывались на потемневших стенах и в предутреннем полумраке походили на большие глазницы. Во дворе стояла маленькая избушка, в которой жил дядя Яша со своей большой семьей. Тяжелые тесовые ворота на ночь закрывались на палку, и Настя представила, как придется лезть ей в подворотню, и обрадованно усмехнулась: там она обязательно поймает тень. Но ворота были настежь распахнуты. Испугавшись, она не заплакала, а закричала.

На снег босиком выскочила тетя Уля, сгребая с плеч распушенные черные волосы. Крохотный крестик на полной груди блеснул при лунном свете и спрятался в узкий прорез

широкой холщовой рубахи.

– С ума сошла? – закричала она, хватая Настю за руку. – Все село всполошишь, дурочка. По воду он уехал. Чем я без него быков поить стану? Господи меня прости. Вот полуночица. Он же мимо вас поедет.

Настя, ослабевшая от крика и плача, уселась на полу у порога.

– Ложись на Ванькино место да досыпай.

– Он без меня уедет.

– Сама разбужу, ежели уснешь.

...Три лошади вихрем вылетели из распахнутых ворот, стряхивая со спин и грив терпкий запах конюшни, пота, сена, навоза. Скоро шея кусачей кобылицы по кличке Сартынья покрылась белым инеем.

В саях Настя стояла на коленях, уцепившись руками за облучок, смотрела на улицы села, будто видела их впервые. Избы, ворота, палисадники с замороженными ветками деревьев. Вглядываясь еще издали в окна избы заядлого лошадника Пашки Микова, с замиранием сердца думала, как бы он позавидовал ей, увидев на сельсоветских подводах. "Может быть, прокатился бы с нами до Чудиновской своротки, а быть может, закидал бы снежками", – подумала, обернулась и высунула язык, будто подразнила Пашку.

Дядя Яша велел ей сесть на разостланный овчинный тулуп. Она послушалась, легла и стала смотреть на небо, которое стало розоветь, а легкие облака, как клубы из избных труб, ворочались, качались, расползались, освобождая место светлой полосе. Острые вершины елей мелькали и тоже бороздили небо. В глазах у Насти зарябило, и ей стало казаться, что резвая Сартынья везет их в обратную сторону. Она засыпала.

Потом, когда рассвело и мороз стал жгучее, дядя Яша разбудил ее. И чтобы согреться, размять ноги, они побежали по непримятому снегу, запинаясь, падая и смеясь.

На покос приехали, когда солнце заливало светом широкую

даль пойменной протоки. Большой зарод походил на одинокий дом с заснеженной крышей. Сартынья, бренча удилами, буровила снег, дядя Яша вел ее под уздцы вокруг зарода.

– Вот и приехали, – сказал дядя Яша. – Ты пока тут звериные следы посмотри, а потом я тебе расскажу, кто их них в какую сторону убежал.

Из-под снега выглядывали жиденские ветки кустарника, Насте стало жаль их, безлистных, сиротливых, как будто раздетых. Ей даже показалось, что она слышит их протяжное жалобное посвистывание на ветру, думала. В летнюю пору ей никогда не приходили такие мысли, летом кусты были пушистые, зеленые, под каждым росли ягоды, и было множество всяких жучков, а теперь пусто и сиротливо. Она попыталась взглядом отыскать крышу балагана, но увидела только ворох темных прутьев.

Дядя Яша скидывал с зарода снег. Скрипел деревянный черенок вил, снежный вихрь запорошил стога. Скоро сбросил на сани вилки снега, запахло летом. Настя приподнялась на цыпочки, помахала дяде Яше рукой, крикнула: "Брось мне". С зарода летел косматый клочок. Ссохшиеся лепестки трав походили один на другой, но если присмотреться внимательно, можно найти и мышинный горошек бледно-голубоватого цвета, и розовенький глазок костянички, и желтоватую пастушью сумку.

Рассупоненные лошади уткнули морды в душистое сено. Настя увидела, как Сартынья от наслаждения прикрыла глаза и почти не шевелила заиндевелыми ресницами. А в воздухе мелькали косматые вороха сена, будто дядя Яша разметывал ими по небу низкие тучи. Настя бегала по снегу, нарочно падала в него, чтобы отпечатать на нем свой след, но скоро ей это надоело.

– Залезай, будешь помогать воз утапывать! – закричал ей дядя Яша, воткнув вилы в зарод. Настя не догадывалась, что на самом деле он позвал её погреться.

– Лиса, лиса! – вдруг закричал дядя Яша, показывая рукой в сторону протоки. – Смотри, Настя, смотри, лиса. – Рыжеватый клубок катился по снегу, торопился к кустарнику.

– У-ух-х-х-х! – сложив ладони, ухал дядя Яша. – Проглядел огневушку, проглядел. Они ведь теперь подле зародов мышкуют. Вот бы воротник тебе, а! – сокрушался он и долго стоял, вглядываясь, а потом, махнув рукой, сказал: – Пусть себе бежит. У нас с тобой дела поважнее.

Когда воз стал выше лошадиных спин, дядя Яша стал стягивать его длинным бастрыгом, упираясь, с силой тянул веревку. Настя схватилась за конец веревки. Он, глядя на нее, захохотал.

– Без тебя бы мне не спроворить, – говорил он, обтирая рукавом лоб. – Не думал, что ты така сноровистая. Насте трудно было понять, правду он говорит или смеется, но ей все равно было приятно слышать похвалу.

– А ты заячьи следы видела? – выводил Сартынью на дорогу, спросил дядя Яша. – Ну, значит, ты плохо смотрела. Я на зароде был и то видел, как зайчиха с мешочком под кусты забежала. Наверно, гостинцев тебе принесла. Дай-ка я схожу, погляжу. – Настя опешила, когда он дошел до кустов, наклонился и возвращался с холщовым мешочком в руке. Настя не знала что говорить.

– Я знаю этих зайчих. Они завсегда приносят что-нибудь вкусное. И увидев тебя, наверное, подумала: угостим Настеньку, а то перемерзла девчонка.

В мешочке лежала горбушка хлеба, круглая лепешка с подожженным краем, кусок свиного сала и несколько комочков сахара.

– Во, какая зайчиха догадливая, а! – не унимался дядя Яша. – Правда, хлебушек-то перемерз, но ничего, замороженный вкуснее. Теперь от заячьих гостинцев у нас работа веселей пойдет. Вилы в руках сами запляшут.

От радости у Насти все дрожало внутри, она хотела улыбнуться, но замерзшие губы только скривились.

– А мы домой заячьи гостинцы возьмем. Я ребятам по одному разу откусить дам, а то они нипочем не поверят, что нам зайчиha гостинцы принесла.

– Обязательно возьмем, – соглашался дядя Яша. Он взял в свои руки заочневшие ладошки Насти, поднес ко рту и долго дул на них, согревая. Ее тут же стал сманивать сон, искристые огоньки проплывали перед глазами.

– Погоди, Настя, погоди. Не с пустыми же возами возвращаться. – Последний воз дядя Яша затягивал, когда стало темнеть, по покосу мела поземка, а застоявшиеся лошади от нетерпения мяли ногами снег.

– Но-о-о-о, – зычно крикнул дядя Яша, и сани враз сдвинулись с места, поплыли по снегу, потянули возы.

Настя вцепилась в длинную полу овчинного полушубка, запинаясь, еле-еле поспевала вступить в след дяди Яши.

– Больше не поедешь? – спросил он, когда лошади остановились на широкой, наезженной дороге, и, не дожидаясь ответа, пробурчал: – Не девичье это дело. Вот летом на покосе благодать: речка, цветы, костры. Вся земля будто разговаривает. А зимой она спит, ей ведь, сердечной, тоже отдыхать надо.

– Поеду, – неожиданно для самой себя сказала Настя, еле шевеля замерзшими губами.

– Теперь разве на будущий год. А пока полезай на воз, кутайся в тулуп и спи до самого дома. – Он подставил плечо, чтобы было ловчее ей взобраться на воз.

Она лежала на тулупе, смотрела на небо, но не могла разглядеть звезд. Все вертелось и крутилось перед глазами. Во сне видела дядю Яшу, лошадей, белую зайчиху с гостинцами...

На покос, по сено, она больше никогда не ездила. Летом началась война, дядя Яша добровольцем ушел на фронт и не вернулся.

ДРОВОКОЛ ГОША

Два дня шел затяжной дождь. Вековечный тополь на взгорье за одну ночь уронил с ветвей все листья, и, не успевшие подсохнуть на ветру и разлететься в разные стороны, они скоро смешались с грязью под подошвами бродней, сапог и калош.

Почернели во дворе поленницы, изгороди, бревна, конюшни и сарай. Отошло наше счастье бегать босиком. Грязь стала холодная, липкая, а обутки никакой, если не считать стоптанных бродней да маминых развалившихся калош.

Мама с утра сказала, что будет нам выводить цыпки. Колька сразу залез на печку, прижался в самый угол, сидел, не подавая голоса. Но скоро ему надоело прятаться, и они с Юркой стали играть в шалобаны, пока не разодрались. Я тоже пригорюнилась, думала, что за это время можно было обежать Набережную улицу со всеми закоулками, и на Пузыриху сбежать, и у Шишинских побывать. Готова была сбежать на самое дальнее поле, за блудливой Мотькой. Да Мотька стояла в конюшне. Ей хорошо: сено жует да теплое пойло пьет. И к окну подойти нельзя. Мама говорит: во всем селе стекла днем с огнем не сыскать. А во дворе Генка свистит. Окна запотели, будто кто-то их мелом вымазал. Сидим в избе, как в неволе.

Гляжу на шесток, там в большом черном чугушке вода закипает: веселые пузырьки по поверхности бегают, лопаются, новые появляются. Гляну на чугунок, сразу ноги под лавку прячу, ежусь, представляю, что эта вода для мытья наших ног готовится.

Цыпки на ногах у нас появлялись с самой весны, когда мы сбрасывали стоптанные обутки и начинали бегать босиком. От воды, ветра, пыли и грязи кожа на ногах трескалась, появлялось множество крохотных ранок. Вначале они кровоточили, потом подсыхали, потом снова кровоточили, снова

подсыхали. Иногда после бани мама снимала с кринки отстоявшегося молока сметану, смазывала их, но этого лечения хватало только до утра. На цыпки мы не обращали внимания, и наши резвые ребячьи ноги вовсю топтали сельские тропки-дорожки.

Но вот загремело большое стиральное корыто, паром окутался угол. Мама тряхнула какого-то порошка – вода порозовела.

– Толкайте ноги в марганцовку, – скомандовала она. Колька, у которого цыпки покрыли ноги сплошной серой коростой, завопил:

– Я лучше в бане отпарю. – Но в эти минуты с мамой много не наговоришь. Она его дернула, и он, зажмурив глаза, стал медленно погружать ноги в корыто. Вначале он кричал, стонал, но скоро стал всем корчить рожи.

– Не дури! – строго говорила мама, подливала из чугуна кипятка и начинала намывать мочальную вехотку.

– Не с меня, с Шурки начинай! – завизжал он, жмурясь.

– Шур-ка са-ма вы-мо-ет. Не маленькая, – говорила мама нараспев.

– Я тоже не маленький! – Но напрасно он сопротивлялся. Мама уже крепко держала его ногу, качала головой, оцупывая багровый шрам возле мизинца.

– Это я давным-давно на стекло наступил. Уже все проходит, а вот эта царапина от гвоздя, – пояснял он маме все ссадины на ногах. – Ты только не шибко три.

Мы сидели на лавке рядом, смотрели на цыпки, смазанные сметаной. Колька потихоньку охал и махал ногами.

– Кто-то чужой стучится, слышите, – сказал он, повернув голову.

– И Белка урчит.

– Сидите, – набрасывая на плечи телогрейку, сказала мама и вышла.

Колька выдернул старую варежку, которой заткнули отверстие в стекле, и мы услышали мамин голос.

– Кто там? – спрашивала она.

– Мы беженцы. Пусти, дочка, ради бога.

Голос был незнакомый. Мы вскочили, припали к окну.

– Каки еще беженцы? В такую погоду все в избах сидят, – говорила мама. – Теперь по белу свету люд всякий двинулся.

За воротами стоял высокий, как сухая лесина, старик с белой, как у Деда Мороза бородой, и держал за руку маленькую девочку. Стащив с головы помятую шляпу, стоял перед мамой в поклоне.

– Не бойтесь нас, – сипло говорил старик. – Мы с внучкой от войны бежим. Из-под Тулы мы.

– Поздно как-то, – тихо говорила мама, поднимая на руки девочку. Та была как неживая, не подала звука. – Ну-ка, Щурка! На мои калоши да беги на почту. Позови Василия Степановича.

Наш небольшой домик стоял рядом с почтой. Раньше он служил, жильем купеческой прислуге. Во время революции хозяин-купец, скупавший пушнину у инородцев, сбежал со своей семьей, оставив на произвол громадный дом со всем имуществом. В купеческом доме разместилась сельская почта, а в домике с двумя аккуратными окошками на солнечную сторону и одним на восточную стала жить наша семья.

Я глянула на двухэтажный купеческий дом. В кабинете дежурного горел свет.

– Беги, – торопила меня мама. – Как-никак Василий Степанович лучше меня во всем разбирается.

Василий Степанович давно вернулся из армии. Говорили будто при отправке на фронт он стал заговариваться, а как услышал взрывы снарядов, норовил выпрыгнуть из вагона. Толком об этом никто ничего не знал, но досужие языки разносили о нем такое.

Появившись на пороге нашей избы, он крикнул:

– Ваши документы! Предъявите ваши документы. – У девушки дрогнули губы.

– Какие документы, сынок? Как есть у нас все сгорело.

Только и успел Полинку схватить. В овраге с ней неделю прятались. А где остальные – не знаю. У нас ведь под Тулой бои шли страшные.

– Тогда в милицию, – будто не слыша дедушкиных слов, резко говорил Василий Степанович.

– Какая милиция? – возмутилась мама. – Места на полу всем хватит. Пусть побудут до утра, а тама видно будет. Ладно ли ты говоришь? Этакую малютку в милицию.

Я была рада, что она не побоялась возразить Василию Степановичу и даже, махнув в его сторону рукой, сказала:

– Пододвинь старику табуретку, не видишь – рухнет сейчас. – Василию Степановичу не понравились мамины слова, он посмотрел ей прямо в глаза и изрек:

– Не рискуй, Татьяна. У самой четверо, – и круто повернувшись, в сердцах хлопнув дверью, ушел.

Утром дедушка не мог подняться. Мама позвала фельдшеру. Она осмотрела его и шепотом сказала:

– В больницу бы надо. Дистрофия.

Приехала больничная повозка, дедушку увезли.

Первые дни Полинка жила у нас, как птичка в неволе: от каждого скрипа и стука вздрагивала, жалась в угол, жмурила глаза и плакала беззвучно. По ночам громко кричала, вскакивала. Мама, на зависть нам, брала ее к себе, прижимала, и та снова засыпала.

Однажды утром наш Юрка нечаянно сел в ведро с коровьим пойлом. Все над ним смеялись, а Полинка завизжала так беззаботно и весело, что все обернулись. Глазки у Полинки были черненькие, реснички густые, бровки широкенькие.

Юрка стоял в мокрых штанах и плакал от обиды.

– Зуб-то у тебе скоро выпадет. На ниточке болтается. Беглянка, – сказал он Полинке.

– Про какой-то еще зуб разговаривает. Я тебе покажу "беглянка". Я тебе покажу! – рассердилась мама, стащила с Юрки штаны и шлепала ими по голой заднице. – Сиди на печке бесштаный или Шуркины надевай...

– Не буду надевать девичьи! – орал он во все горло. Это показалось удивительным. Наш Юрка никогда не разбирал, во что одеваться. Он накидывал на себя все, что попадало под руку. Его даже прозвали Машей, потому что все зимы у него не было шапки и мама повязывала ему вокруг головы свою шаль. В ней он катался на санках, ходил в ларек за хлебом и откликался на ребячьи возгласы: "Маша!" без всякой обиды. А тут так закричал, хоть уши закрывай. Мама еле уговорила его.

– Надо же! Не из тучи гром! Или вон те, старые, с ляжкой.

– Сама одевай! – опять закричал Юрка.

Тут мама не стерпела.

– Я тебе дам! – И опять несколько раз шлепнула его мокрыми штанами, но голос у нее стал тише. Уткнувшись лицом в Юркины штаны, она заплакала. Полинка прижалась к ней, захныкала, немного погодя на печке заголосил Юрка.

Дома сразу стало как-то неуютно, холодно и всем захотелось плакать. Мама сидела на табуретке недолго.

– Это че же у нас будет, если каждый так со мной разговаривать станет? – еле слышно сказала она, но мы расслышали каждое слово. – Тогда хоть глаза завязывай да беги из дому.

Юрка с печи ответил ей таким визгливым плачем, что мама, привстав на цыпочки, притянула его к себе и поцеловала в щеку, зная, что только этим успокоит кающегося слезами брата.

По сравнению с другими мы жили по-божески. От нашей черномастной Мотьки по утрам и вечерам мама приносила в подойнике парное молоко с воздушной запашистой пеной. Еще до ее прихода мы выстраивались возле стола в затылок друг другу и слушали нетерпеливое мяуканье кота Буськи. Он, подняв хвост трубой, кружил возле наших ног, сверкал большими блестящими глазами.

Теперь первую кружку мама наливала Полинке и все приговаривала:

– Пора ведь Мотьке отдых делать. Пора ее запускать.

Нам были непонятны эти слова. Но когда мама не пошла вечером доить корову, убрала с глаз подойник, сразу стало невесело. Правда, Колька храбрился.

– У Голдобинских нет коровы – не помирают. Генка говорит: без молока жить можно, а вот без хлеба долго не протянешь.

– Грамотей ты, грамотей, – говорила мама, подавая Полинке утреннее молоко.

– Вот ей как раз! Вот ее надо отпаивать, – упершись рукой о подбородок, говорил он. – Полинка маленькая. – Но Колька говорил не свое. Он больше всех любил молоко, не замечал, как облизывал губы, глядя, как Полинка пьет, и я слышала, как у него урчало в животе.

– Вона, видать, Василий Степанович к нам вышагивает. Кто его еще слушать станет, – сказал Колька и спрятался за трубу на печке. Колька и тут говорил не свои слова. Про Василия Степановича каждый день кто-нибудь что-нибудь рассказывал. И сегодня к нам прибежала райповская продавщица и жаловалась маме: мол, он, Василий Степанович, вытребовал у нее жалобную книгу: почему, мол, она кладовщице отвешивала хлеб хоть и по карточкам, но с походом, и даже сверх лишнюю корочку положила, а у него норовит лишний грамм уворовать.

– Я ему принародно с походом взвесила, – жаловалась она маме. – Так он совсем медведем заревел. Стал допытывать: по какому такому праву я ему излишки даю? Кого объегориваю? Ну до того поперечный человек: все ему не так, все ему не этак!

Пуговицы на шинели все оборваны, так и носится – полы нараспашку. Люмка к нему подговаривается и так и этак, а он еще куражится. А куда бы? Люмка одинокая, вся из себя. Не то что мы с этакими хвостами остались, – окинула продавщица взглядом нашу избу. – Он чего-то фасонит. Сам рожу-то как следует вымыть не умеет. Пока Марфа Ефремовна

жива была, так он был весь в аккурате, а теперь глядеть не на что. В избе, сказывают, сам черт ногу своротит. Возле печки – сажки на вершок, на кровати не постель, а гайно-гайном. Кружки да чашки в руки взять нельзя, и от мышей отбою нету. Сказывают, он сам боится их. Заберется на кровать и швыряет в них что попадет под руки.

– Мелешь че попало, – перебила мама, а та будто не слышала, свое: – А вечерами-то чтоб мышей разогнать, начинается маршировать по избе – только стукоток по половицам, а он себе командует: "Ать - два! Ать - два!" А потом еще как-нибудь песню затынет. Вчерась: "По долинам и по взгорьям" пел, а днями "Соловей, соловей-пташечка". Поет да еще посвистывает.

– Ты почем знаешь?

– Из первых рук. Люмка рассказывала. Она все как есть про него знает. Ей и изба его нравится. Она бы ее избиходила людям на загляденье, да его бы прибрала. Этак жить будет, так совсем свихнется. Чего бы ему нос воротить! Не война бы, так с ним на одной версте... не стала. А теперь какой он ни на есть, а мужичишко.

– Отец-то у него, Степан Степанович, задира был, грешная душа, – ответила мама. – Все будто он знал, все ведал, все умел, а как зачнет чего делать, курам на смех.

– Вот, вот, – вздохнула продавщица. – Хоть и по родовой стороне нет зависти, да ты, Татьяна, все-таки поговори с ним насчет Люмки.

С того вечера Василий Степанович дня три не приходил, а тут шел к нашему домику напрямик.

– Явился по вашему приказанию! – крикнул он весело с порога. Мама ответила ему ласково, а Колька на печке захохотал, наслушавшись бабьих разговоров.

– Это плохое воспитание, Татьяна Сергеевна, – покраснев, выпалил он. – Такое неуважение к старшим до добра не доведет.

В ответ мама взяла с приступка холщовое полотенце и

замахнулась на Кольку.

– Ну прекрати, прекрати, Татьяна Сергеевна, – взял он мамину руку. – Это не воспитание.

– Много смыслишь в воспитании, – зло ответила она.

– Ну не сердись, Татьяна Сергеевна. Не сердись. Шел с самыми радужными мыслями. Хочется поговорить о томо сем. Ну, хоть о погоде, о снеге. Погляди, какой он стерильный. А жаль больше суток ему не продержаться. Растает.

– Чего ему таять? Вся земля морозом скована. Неужто не видно?

– Тебе, Татьяна Сергеевна, только возражать. Только бы все говорить мне наперекор, – вспылил Василий Степанович. – Ты со мной ни в чем не соглашаешься, решительно ни в чем. Вот и про этих, – кивнул он головой в сторону Полинки. – Говорено было: надо их куда-нибудь в казенное место отправить, а ты по-своему. Мало своих?

– Ну чего ты мелешь? Взрослый мужик. И как язык поворачивается? Сам недавно какую лекцию бабам читал? Сказывал все про людскую доброту, про бедствия и страдания людей. В пример говорил про какую-то семью, где восемнадцать чужих ребятшек пригрето. Или война не для всех?!

– Ты, Татьяна, говори да не заговаривайся. Я тебе не позволю с собой так разговаривать. Ты на то не имеешь права. Я участник войны. На моей стороне закон.

– Ну да, – пренебрежительно сказала мама, махнув перед лицом холщовым полотенцем, которое все еще было у нее в руках. Он испуганно вытаращил глаза. – Язык без костей, – и сразу переменяла тему разговора. – А снег-то все-таки не растает.

– Растает! – закричал Василий Степанович.

– Ты думаешь погода станет ждать, когда Пономариха тебе телогрейку выстежит? Жди. У ней очередь до будущей зимы. Погляди, на улице-то вьюжит.

– Но тут, Татьяна Сергеевна, не твоя печаль. – Он опять в сердцах ушел от нас. Но мы знали, утром он опять посту-

чит в дверь, попросит у мамы извинения, будет сидеть возле печки, разговаривать, пока у них не найдет коса на камень.

– Хуна-Хуна пришел! – закричал я. Все спрыгнули с печки.

По двору расхаживал дровокол Гоша, по прозвищу Хуна-Хуна. Все лето его не было в селе. Он косил сено для почтовых лошадей, жил на покосе. Без него в нашем дворе было сиротливо, забегали парни с соседних улиц, безбоязно лазали по нашим крышам, гоняли вонючего таловского козла, который, обозлясь, налетел на всех с разбегу и даже свалил с ног Юрку. Мы его боялись, залезали на крышу, подолгу сидели там. Когда сидеть надоедало, а крутолобый козел укладывался на завалинку отдохнуть, нам ничего не оставалось, как звать на помощь кого-нибудь из взрослых. А когда был на почте дровокол Гоша, мы жили под его крепкой защитой.

Забыв про всякую осторожность, мы затарабанили в окно. Дровокол ответил нам, приподнял на голове большую, как воронье гнездо, старую заячью шапку.

– Невидаль какая! – отгоняла нас от окна мама. – Куда он денется, ваш Хуна-Хуна?

– Его все лето не было, – как бы оправдывался Колька, и мы, наспех набросив на себя любую попавшуюся под руки одежонку, бежали во двор.

Гоша, по-видимому простыл на покосе, дышал шумно, минутно облизывал нижнюю губу. И руки у него были горячими, когда он печально гладил нас по головам и хрипло выговаривал:

– За лето выросли. Совсем большими стали.

Нам было невдомек, как в эти минуты от встречи с нами, трепетало от радости Гошино сердце и как крепился он не показать нам слез, которые щекотали его покрасневшие веки.

В селе все старые люди знали, что Гоша подкидыш, что прибрала его и пригрела вдова Федора Сушкина.

– Было это весной, когда с крыш днем потайка показывалась, а к ночи сосульки ледяные нарастали, – рассказывала беззубая Парамониха, – Федора пошла в сараюшку по дрова

и услышала какой-то писк. Поначалу подумала, коты на крыше разыгрались – пришла им пора свои кошачьи свадьбы справлять. Она уже за дверную скобку взялась, а вдогонку ей опять такой же звук. Бросила Федора охапку дров, пошла за сараюшку и ужаснулась: между двумя бревнами лежал сверток, перевязанный веревкой, а из него выставлялись маленькие ножки с красными пятками. Федора схватила в охапку сверток и бегом в избу. У самой все внутри колотит. Развернула лохмотья, а в них мальчонка ножками сучит, рот разевает, а голосу уже нет. – Господи, оборони и помилуй. На беду аль на радость? – шептала она в испуге. Своих-то детей ей Господь не дал.

Не зная что делать, развернула тряпицу, а возле правого боку ребенка бархатный лоскуток, а в нем золотые. Зажмурила Федора глаза, испугалась. Мальчонка закатился в плаче, начал разевать рот, по-видимому материнскую титьку искал.

Нажевала Федора хлебного мякиша, завязала его в тряпочку, обмакнула в теплую водицу, стала подносить тюрю к его губам. Малыш язычком зачмокал, а у него на верхней губе расщелина. "Заячья губа!" – всплеснула Федора руками. А найденыш сосет тюрю, язычком посвистывает. Скоро на лбу у него потные капельки высыпали. Глядела на него Федора, слезы глотала, себя уговаривала: "Всякие изъяны у людей бывают".

Накинула на плечи пальтишко, побежала к соседке. Та, как только услышала – бегом в Федорину избу. Только перешагнула порог, сразу спросила:

– Како с ним приданое было? – Та, скорее с испугу, ответила

– Ничего нету. – Помрачнела Парамониха, насупилась, хотела Федору заставить перед образами побожиться, да дверь распахнулась.

По селу весть тут же разнеслась. Все в один голос: Федора подкидыша нашла. Многие приходили из любопытства, посмотрят, что подкидыш с заячьей губой, сразу уходят.

– Как же так, Федора? Неужто при нем ничего не было? – Удивлялись бабы. – Что это за люди? Мало, что дитя осиротили, да и на жизнь ни гроша не положили.

– Кабы были у матери гроши, так не оставила бы ребенка под забором, – сгорая от стыда лепетала Федора.

– Нужда, видать, у нее великая, – вставила соседка Маруська, всхлипывая над подкидышем.

– Мир-то теперь весь пошатнулся. У людей ни стыда ни совести не стало.

– А то будто раньше такого не было? Сказывают, наш приказчик, Осип Петрович, тоже подкидышем был.

– Так с ним вексель на цельную тысячу рядышком лежал. Старик-то, Петр Силантьевич Шарапов, Царство ему Небесное, – перекрестилась Паномариха, – до последней копейки на Осипа расходовал. Одевал, как родных сыновей, выучил, дом ему какой выстроил. А этому?

– Глазки-то, глазки какие черненькие, – гулила над малышом Маруська, – и носик аккуратненький, волосенки густые, поди, кудрявиться станут. Поди, мать-то твоя изжогой маялась, когда тебя носила. Это всегда бывает, когда у ребенка в утробе волосья растут. Моя Настя такая косматая родилась, а я же только от этой изжоги не пила, чего не перепробовала, и глину ела, а брусничного соку до опухоли пила.

– Кто хоть твоя мать-то будет? – в задумчивости проговорила Паномариха. – Всех в уме перебрала. Разве какая чернавка из Бурмантовского скита?

– Неужто святые девы на такое решатся? – перекрестилась Маруська.

– Ох, грехи наши тяжкие, – ответила ей на это Парамониха и стала усердно класть поклоны перед висевшей в переднем углу иконой.

– В приют сдавать станешь али как? – спросила Маруська. – Гляди, Федора.

– Оставлю, – еле слышно ответила Федора и разрыдалась.

– Мой бы совет тебе такой же был. Оставляй, – молвила

Маруська. – Как-никак рядом завсегда будет живая душа. Он подле тебя греться будет, ты подле него. А там Бог сам дорогу укажет.

Побежало время, оставляя год за годом. Имя подкидышу Георгий дали, по Федориному батюшке. Рос он крепышом и ладным, только все заячья губа портила. Пустяк вроде, а поди ты! Этот изъян всем в глаза лез. Немало пролила Федора из-за этого горьких слез, не раз говаривала Маруське: "Кабы можно было отдать ему свою губу, глазом не моргнула. Но чего замариваться на то, что самой судьбой уготовлено. Постарше станет, под усы спрячет, а пока на каждый роток не накинешь платок". Хорошей матерью была Федора. Часто Гоше твердила: "С людьми в дружбе живи, не охлаждай сердце". Всему учила, что умела сама. Потом Прошка-гармонист выучил его на гармошке играть. Самого из-за нее не было видно, а крохотные пальчики по кнопкам вроде сами бегали.

Прошка сказал Федоре:

– Талант у него. В столицу бы ему. Многих бы за пояс заткнул твой Гоша.

И пошло по селу: как только где какое веселье, Федоре первое приглашение. У хмельных людей в пляске сила дикая! Мужики с вывертами, лихо на пятках поворачиваются, баб кружат вокруг себя – только визг стоит да подолы мелькают. Ай да Гоша! Ай да молодец! А он сквозь рассеченную губу подпевает в такт: хуна-хуна - хуна-хуна! Хуна-хуна-хуна!

А вскоре в его жизни черный день настал. Померла Федора. Только и успела Гоше сказать:

– У тебя золотые на черный день есть. Никому не говори, а как нужда придет, найдешь в подполье, под пятым венцом. Про них никому не сказывай.

– Че мать-то тебе наказывала? – тормозила Парамониha Гошу. – Какие слова сказывала? Как и на что жить велела?

– Легла и глаза закрыла, только слезинка из глаз выкатилась, – отвечал он.

Опустело в избе. Дня три Гоша на крючке сидел – никого к себе не пускал, только голос подавал, что живой. Но скоро все про Гошино сиротство позабыли.

Гармошку он забросил, никогда не брал в руки, глядел и будто видел ее впервые. Видно, Федорина смерть унесла с собой его песню.

По совету Парамонихи пошел, он зарабатывать на жизнь. Как взяли его подростком дровоколом на почту, так и составил он в этом дворе.

Жил Гоша бобылем. Вроде как Маруськина дочь, рябоватая Настя, просилась к нему на житье, да он не знал, как ответить. А вскорости война грянула. Забрала всех самолучших мужиков. Остались бабы с оравами ребятишек. Не было в русских селах понятия: для себя жить, а детей опосля рожать, как на забаву. Если кто с первого года замужества не обзаводился ребенком, все настораживались. То ли яловая молодуха оказалась, то ли еще что. Да и мужик по селу ходил как виноватый. А уж у кого пойдут, то как горох посыплется. А тут война. Ребят на ноги поднимать – не сено в стога складывать. Гоша многое себе в укор ставил, а больше всего то, что на войну его не брали. "По мне плакать некому", – рассуждал он, хотя и не было ему никакого покоя. Одна солдатка просит его что-то починить, другая – топор насадить, третья – сено сметать, четвертая – на крылечке доски поправить, пятая – из печки кирпич вытащить. А однажды Грунька Мальцева с ремнем пришла.

– Отстегай, Гоша, ремнем моего Федьку. У меня в руках силы совсем нет. Зачну его хлестать, а он только похохотывает. Седня весь день дома не был. В какие-то тимуровцы записался и водится тама с субботинскими ребятами. Ему рука мужская нужна. Обжег бы его раз-другой, он бы почаше на часы стал поглядывать.

– Не умею драться, – сказал Гоша и вернул Груньке ремень.

Жизнь тяжелая стала. Повели счет хлебным крошкам. В магазине все полки будто корова языком вылизала.

В хриплом радио все про жестокие бои рассказывали.

Как-то под вечер подошла к Гоше счетоводиха Настасья Насырова и как бы между прочим спросила:

– У тебя, Гоша, что из теплых вещей есть, чтобы на фронт послать? Может, деньги из зарплаты отчислять согласишься? Может, облигации есть? Наше село деньги на танк собирает.

Гоша ничего не ответил. Пришел домой, про разговор забыл, а как полез в голбец за картошкой, про золотые вспомнил, будто сама мать Федора ему в эти минуты в ухо шепнула: "Ищи под пятым венцом".

Засветил он свечу, отсчитал пять венцов, оглядел – нигде никакой щелочки нету, только в дальнем углу мох торчит. Вытащил он мох, увидел углубление, достал березовую кору, а в ней бархатный узелок. В нем золотые давнишней чеканки.

Не разгорелись у Гоши глаза, не задрожали руки, наверное, от того, что всю жизнь без зависти жил, а как мать учила. Глядит на эти золотые Гоша, а истинной их цены не знает.

Утром положил бархатный узелок в старую шапку с оторванным ухом, пошел к счетоводихе Анастасии Насыровой и высыпал перед ней золотые.

Счетоводиха побледнела, устала на Гошу немигающие глаза.

– Откуда? – еле слышно выдавила, а у самой из глаз слезы покатались.

– Из голбца достал. Маменька, как умирала, наказывала: в трудный час достать эти золотые.

– Сколько тут?

– Пятьдесят – один к одному, – ответил Гоша.

– Отдай мне один, отдай, Гоша, – прижав указательным пальцем один золотой, молила счетоводиха.

– Нет, – покачал головой Гоша. – Все на войну отдам. Пущай танк строят.

– Отдай, Гоша. На что он тебе? Столько лет лежали. Я твою-то мать чуть-чуть помню. Отдай, голубчик. Мои

ребята тебе каждый день молоко таскать будут.

– Нет, – стоял на своем Гоша.

– Тогда с твоим капиталом тебя в тюрьму засадят. Спросят: где столько взял? Ходишь в рамках, притворяешься нищим, а у самого такой капитал. А я вот их у тебя принять не могу! – Анастасия вся побледнела. Сидит, кусает дрожащие губы: "Мне бы эти деньги! Я бы нашла им дорогу, знала бы, куда их девать. На золотоскупке такие шубы продают! Купила бы шаль с кистями, боты фетровые. Корову бы на Талой, у бабки Тюленихи купила. Она за удой по ведру молока дает. Сепаратор бы купила. Бог ты мой! Две бы лошади взяла и чтоб одна была выездная. В гости бы в Надежденский завод съездила". – Так она рассуждала, слизывая с губ слезы, потом еле поднялась с табуретки, грозно сказала:

– Пошли в милицию!

– Пойдем, – сгребая золотые обратно в шапку, ответил Гоша.

Дежурный рядовой Столяров тоже опешил, позвал к начальнику, тот в область. Одним словом, не знают как поступить с золотыми.

Гоша ни добавляет, ни убавляет, а говорит свое: в голбце были, под пятым венцом. Тут милиционер Столяров про купеческого приказчика вспомнил, он больше с золотом возился, знает ему цену.

– На что нам цена? Без приказчика хрен от редьки отличить можем, видно, что золото. Другое дело, куда его сдавать? Скорее всего, в государственный банк нести надо. А за Осипом Петровичем все-таки сбегали.

Совсем дряхлым стал купеческий приказчик. Отощал, сторбился весь. Клинистая бороденка поредела. Все вроде годам не поддавался, бегал – грудь колесом, а как отправил на войну троих сыновей, в одну ночь согнуло спину.

Вошел в милицию с тростью, в неизменном вельветовом пиджаке, в белых фетровых валенках. Возле порога снял шапку, вымолвил:

– Мое почтение, люди добрые! – Это у него всю жизнь без изменений. Хотел еще что-то сказать и поперхнулся. Увидев на столе золотые, машинально полез в карман за очками. – Великое богатство! – еле выдохнул. – Великое богатство! Откуда выискался такой кладец? – Обвел всех взглядом и прежде чем молвить слово, сел на табуретку. – Эти золотые из Бурмантовского скита нет в этом сомнения: принадлежали они игуменье Серафиме. Сколько тебе лет-то, Гоша? – не поднимая глаз спросил Осип Петрович.

– Однако тридцать седьмой.

– Так и есть, золотые из Бурмантовского скита, – остановил приказчик взгляд на неуклюжей фигуре дровокола, одетого в длиннополый полушубок, стоптанные валенки и маломальскую шапку. – Ох и дура же Федора. Прожила в такой нищете! – но это он сказал так тихо, что никто не расслышал.

– Дуракам завсегда везет, – сказала счетоводиха Анастасия. – По золоту ходил, а у самого в чем душа держится.

Скоро пришла телеграмма: в ней вытребовали фамилию и имя человека, сдавшего государству золотой клад. Телеграфистка Елизавета Лопатина передала по буквам: Георгий Сушкин. Потом на его имя пришла благодарственная телеграмма от правительства и сообщение, что на сданные жителем села Сосновка Георгием Сушкиным средства построен танк с присвоением ему имени "Георгий Сушкин", и прямо с завода эта грозная машина отправлена на передовую линию фронта.

Так распорядился Гоша своим тайным кладом. Люди поговорили, посудачили, а жизнь пошла своим чередом.

Если бы не война, мы, быть может, не так привязались к Гоше. Без него нам было скучно и плохо. Завидев его, нас нельзя было остановить. Мы бежали к нему с разных сторон, толклись возле него, а он, когда прибегали и голдобинские ребята, и мартыновских целых шесть человек, садился на низкий чурбан, на котором колот дрова, и тихо спраши-

вал, как мы живем – поживаем. Каждый торопился сказать первым. Около чурбана поднимался гвалт. Но Гоша видел всех.

– Колька, – отыскивая взглядом моего брата, позвал дровокол. – Ты, кажись, уже запрягаешь лошадь, а я и не знал. Молодец. Это мужицкая работа.

Нам было всегда удивительно, как это Гоша узнавал все наперед. Его и в селе не было, когда Колька стал запрягать почтовых лошадей и ездить с Ефимом за почтой. Колька захохотал, ни с того ни с чего стал носиться по двору, насвистывать. Гоша еле заметно улыбнулся.

– А Нюська Неволина совсем не умеет колоть дрова, – сказала Гоше Гетка Голдобина. – Толку у ней нет никакого. Смешно смотреть. Как топором стукнет, так и присядет. Ха-ха-ха!

– Дрова колоть шибко тяжело, Гетка. Откуда у Нюски сила возьмется? У них и коровы нету, и картошки нынче мало сняли. Это дело мужицкое. Почто смеешься? – построжал Гоша. – Ежли я не умею пироги стряпать, а ты не умеешь шапки шить, так это смешно? Я вот ноне вокруг балагана от комаров бегал. Кружил, кружил и юркнул в балаган. А если бы кто глядел со стороны, вот бы надо мной похохотал.

Тут прибежала за нами Полинка. Увидев ее, Гоша ласково спросил:

– Это чья такая малюсенькая девочка к нам в гости пришла? – Протянул к ней свою большую, корявую ладонь. Полинка испугалась, уткнула лицо мне в подол.

– Это же Гоша! Полинка, ты чего, это же Гоша! – закричал Юрка. – Она у нас еще дикая. Она беженка. От войны с дедушкой убежали! Дедушка отошал – в больнице лежит, а она у нас. Она есть хочет – вот и ревет. У нас Мотька не доится, только картошка одна.

Гоша встал с чурбана, пошарил в карманах, вытащил горсть сушеной малины. – На-ко тебе, маленькая девочка. – Он хотел погладить ее по голове, но Полинка совсем разре-

велась.

– Да он только с виду такой. Не бойся. Он самый добрый! – уговаривала я Полинку. А Гоша выгреб до последней ягодки, молча раздал всем и, прихрамывая, пошел на почту. Возле порога он остановился:

– У меня еще есть работа, – сказал, – пойду в пекарню дрова колоть.

Разбитная пекарка Таська, которую последнее время стали навеличивать Таисией Лукьяновной, постановила дровоколом: – Кроме Гоши никого не ставьте! Он пальцем ничего не тронет, а другим у меня веры нету. На почте хоть кому дрова колоть можно, а в пекарне только Гоше. Пока у дровокола Сеньки рука не поправится.

Пекарка Таська с дровоколом Сенькой работали согласно. Она наловчилась в опростанной после выпечки хлеба корчаге бражку ставить. – У хлеба да без крох! – говорила она, подмигивая дровоколу, и наливала ему мутной парной водички. Он, как кот, мурлыкал, говорил Таське хорошие слова, а потом в тепле закимарит и тянется за печку дремать.

Пока Сенька тычет носом в теплую телогрейку, Таська свое дело знает: насыплет муки в мешочки, затолкнет за пазуху, а то и промеж ног шнурочками привяжет. Перед уходом домой разбудит Сеньку. Вскочит он как очумелый, спрячет оставленные ему куски хлеба, закроет ворота на палку.

Таська идет по селу, как корова с полным выменем молока. Еле с ноги на ногу переваливается, а в руках ничего. Голощаповские ребята глядят в проталинки между рам, караулят Таську.

– Идет, – крикнет кто-нибудь из них.

Мать бегом на кухню, сунет бидон с молоком, и велит бежать к Таисиному дому, чтобы успеть наперед ее прошмыгнуть в ограду, а то закроет, никого не пустит.

Таисия стала жить припеваючи. На окнах строченые задержушки появились, на столе клеенка. Сама то в кашемировой юбке придет в правление, то в новую шаль обрядится,

а как-то пришла в магазин с муфтой из серого барашка. Бабы на нее зыркнули, ее как ветром унесло. Больше никто той муфты не видел. Стали все говорить: ворует Таисия. Сеньку не один раз в милицию вызывали. Он одно: не вижу. Там ест сколько душе угодно, домой не таскает, при мне в пекарню никто не приходит. Голову на плаху положу.

– А тут на днях палец отсек, в глазах от выпитой бражки черти плясали.

Гоша пошел на пекарню с неохотой, хотя и манил хлебный дух. Таська сразу перед ним закружила, прямо с пода на лавку румяную лепешку бросила:

– Ешь, Гоша, пока она свеженькая, тепленькая. Поди, давно такого не едал? – У Гоши в глазах потемнело, во рту горечь скопилась. – Ешь, не бойся. – Отломил Гоша край лепешки. Голова кругом пошла.

– Вот и ладно. Вот и хорошо, – подбадривала его Таська. – Голод-то, Гоша, не тетка. Он хоть какого гордого под себя подомнет. Ниче, Гоша, не пропадем. Ты совсем отощал. Дрова колоть – силу надо. Помаши-ка колуном – руки у всякого отваяются.

Гоша не дослушал Таисьины разговоры, вышел из пекарни дрова колоть. Таська все дверь отворяет, на Гошу посматривает, а он полено за поленом колет.

– Ладно, отдохни, хватит на сегодня. – А Гоша будто ее не слышит. – Зови – не дозовешься, – выговаривала она, когда Гоша снял шапку, присел на табуретку возле порога. – Сенька только и ждал, когда я дверь отворю.

Таська сходила за печку, вышла оттуда с ковшом браги.

– На, отведай. Глядишь и работа веселее пойдет, – сказала она и успела подмигнуть правым глазом.

Гоша отодвинул ковш.

– Да выпей, дурачок, разгони кровь. В тебе ведь она, как в болоте вода застойная. Кровь-то разгонять надо. Да бери ты, не куражься.

– Не хочу, – пробурчал дровокол.

– Ты че?! Ненормальный совсем? – заорала на него пекарка. – Да голову наотрез даю. У каждого мужика губа бы затряслась от радости, а он: не хочу! – скривила она губы. Гоша распахнул дверь и вышел во двор.

“Во чучело огородное. И родятся же такие непутевые. Золотые сдал все до единого, ну хоть бы для смеха один оставил. Да за такой капитал, считай, каждая баба в приживалки бы к нему пошла. А у него все между пальцев утекло. Кто из путних мужиков откажется от хмельной бражки? В ней пена играет, а он: не хочу! – Таисья сделала несколько глотков из ковша, остатки на стол поставила. – Ну не быть мне Таськой, если его не упою! Вздумал передо мной куражиться, – распыляла себя пекарка, оскорбленная выходкой дровокола. – Как заведенный бухает и бухает, прислушивалась она к стуку топора. – Откуда силы берет? Сенька столько дров за неделю не накалывал”, – бурчала Таисья, выглядывая в окно.

– Да заходи ты, блаженный! – во весь голос заорала она, приоткрывая дверь. – Упадешь возле поленицы-то. И домой пора!

Гоша долго стряхивал с пимов опилки и снег, на Таську не глядел.

– Бери лепешку-то. Не ворована, небось, от припеку, – широко расставляя ноги, выходила Таська из кладовки. – Дрова ты хорошо колешь, – говорила она, закрывая в пекарне двери. – И хлеб ровно пропекся. Дрова дружно горели, ни одной головешки не осталось, – ласково жужжала она за спиной Гоши.

В тот вечер, когда Гоша ушел в пекарню, мы ждали его с нетерпением. Нам и в голову не приходило, что Гоша мог обойти наш двор. Не стовариваясь, мы попеременно выбегали на улицу и, взобравшись на повети, лезли на крыши, прислушивались к стуку топоров. Гошины удары мы отличали от всех.

– Все еще колет, – шепотом говорил Колька, когда на почте загорелся в окне свет.

Потом сбегал Юрка. Пришла моя очередь. Мама стала ру-

гаться, что мы выстудили избу и что ночью у нас станет холодно. Мне пришлось выпрашивать у нее разрешения сбежать к Мартыновским за учебником истории, который был один на всю улицу, но я тут же воротилась.

– Колет? – шепотом спросила у братьев.

– Перестал.

Они кивнули, теперь надо было выбегать во двор. Мы загоношились, не знали, что говорить маме. Юрка ни с того ни с сего заревел.

– Да одевайтесь. Бегите встречать своего Гошу, – догадалась мама и засмеялась, глядя на нашу толкотню возле порога. Некогда было удивляться маминой прозорливости. Во дворе уже носились голдобинские ребята. Важно вышел во двор Сашка Мартынов, стал насвистывать, гоняться за щенком. Все ждали из пекарни Гошу. Колька наш не выдержал, снова залез на крышу, хотя в бусом свете валившего снега не видно было пекарни.

На улице вьюжило. Белка давно забралась в конуру, свернулась калачиком. Со скрипом и скрежетом распахнулись ворота, во двор входили почтовые лошади. Колька Субботин в большом отцовском полушубке вел Серко под уздцы. Он вышагивал важно, будто не видя нас, громко посвистывал.

Я побежала на сеновал кинуть Мотьке на ночь мелкого сена. Напахнуло переспевшей сенной подстилкой, терпким коровьим потом. Мотька дышала шумно, хрустко жевала жвачку. Я села на сено и стала глядеть на звездное небо. Мне вспомнились слова старших девчонок, которые утверждали, что у каждого человека есть на небе своя звезда. Мне захотелось найти на небе свою звезду. Я пялила глаза, веря, что моя звезда обязательно видит меня. Я уже заприметила одну возле гор, старалась не выпускать ее из виду, но в это время сторожиха из артели "Победа" выплеснула под нашу конюшню ведро грязных помоев. Я вскочила, потеряла из виду свою звездочку. Возле забора сматерился Димка Ворошилов, выпрашивая у Юрки Левина самосад, потом узнала тороп-

ливые шаги Василия Степановича, поползла на край поветей удостовериться. Он стоял на крыльце, старательно стряхивал снег с солдатских ботинок.

Я вспомнила Гошу и нашу пекарню. Она была на задах леденевских огородов. Каждое утро, пробегая в школу, я останавливалась возле прясел и нюхала вкусный хлебный дух. В животе начинало урчать, зажмурив глаза, я опрометью бежала в школу – скорее к жарко натопленной печке. Пузатая, обшарпанная до красных кирпичей, она всех манила к себе.

– Подвинься, – кричала я Нинке Мешечко, которая каждое утро вставала на самое теплое место.

– Не спи, – сопротивлялась она, упираясь в пол ногами, давила спиной, будто хотела сдвинуть печь с места.

– Подвинься. Я замерзла. У нас Колька хлебные карточки потерял.

– Где? – шепотом спросила Нинка, уступая мне теплое место. Кто знает, где Колька выронил розовые бумажки, расчерченные на ровные квадратики с указанием чисел месяца. Мама по-всякому расспрашивала его. Он молчал. Когда сказала, что позовет Василия Степановича, мы все заревели, а Колька признался, что один раз снимал варешку на реке, а в это время ветер дул.

– На реке потерял?

– Ветер выхватил.

Наши хлебные карточки искали все соседи, мы оползали каждый сугроб, каждую снеговую ложбину. Ничего не нашли. Без хлеба мы все отощали, неохота стало бегать кататься на санках и даже читать книжки. Мама похудела, у нее появились седые волосы. По избе она ходила неслышно, говорила тихо, с Василием Степановичем не ссорилась. Гетка Голдобина говорила, что от голодухи кишки в животе могут прильнуть друг к другу. Я ощупывала пальцем впалый живот и, закрыв глаза, уже не видела ни темного неба, ни мигающих звезд... Мы только прислушивались к буханью топора со стороны пекарни. Колька считал удары. Вдруг стало тихо.

"Наверное, Гоша идет", – думали мы. Колька радостно свистнул. В густых сумерках трудно было отличить Кольку от Генки, Витьку от Юрки, Гетку от Насти, и только маленькая Полинка одна стояла в стороне, укутанная в мамину шаль, в больших маминих валенках. Сделав два-три шага, она взмахивала руками и падала в выпавший снег.

Поравнявшись с Полилкой, я взяла ее за руку.

– Айда, поторопимся. Может, Гоша нам хлебушка даст. – Полинка плакала. Шаль вокруг рта отсырела, я приподняла ее на руки. – Давай поторопимся, Полинка. Давай поскорее. Вон ребята как воробьи подле него кружат!

– Устал, Гоша? – спросил Колька. – Мы тута, на почте, за тебя дрова кололи.

– Вижу, – обтирая снятой с головы шапкой лицо, шепнул Гоша.

Мы весь день жили надеждой попробовать свежего хлебушка, а у него ничего с собой не было.

– А Сенька, пекарский дровокол, всегда по цельной буханке хлеба приносил, – не выдержав, сказал Колька.

Гоша сидел, низко опустив голову, как провинившийся, глухо кашлял.

– Простудишься, Гоша, одевай шапку, – деловито сказала я.

– Иди сюда, маленькая девочка! – ласково сказал дровокол. – Иди ко мне. Иди, маленькая, не бойся. – Полинка вдруг пошла к Гоше, встала возле его колен. У меня от такого жалостливого Гошиного голоса задрожали губы. Я вообще часто плакала, как мама говорила обо мне: в дело и без дела.

– Тебя-то сейчас я хлебушком угощу. Ты ведь у нас гостья, дальняя гостья, – и он сунул руку под рубаху.

– Да не торопись, во рту поддержи хлебушек, чтобы он свой вкус тебе отдал.

Полинка робко протянула руку к отломленному кусочку лепешки.

– Бери, бери, Полинка! – торопил ее Колька, облизывая

губы.

– Бери скорее, пока теплая.

– Какие у тебя ручки-то маленькие.

– У ней все маленькое, – сказал Колька. – И глазки, и ручки, и ножки, и вся сама маленькая. – Гоша разламывал лепешку и почти не глядя раздавал в каждую протянутую руку. Мне показалось, что у него у самого трясутся руки от голода.

– Какая вкуснятина! – говорил Колька. – Так бы привязал этот кусочек к носу и нюхал.

Раздав ребятам лепешку, дровокол поднялся с чурбана и молчком пошел на почту. Ребята кричали ему вслед "спасибо".

– Сам-то Гоша попробовал лепешку? – спросила мама, – он ведь еле ноги переставляет. И таких вот Господу на землю посылать надо, – вздохнула она.

Утром мы опять расслышали стук Гошиного топора. Мы опять считали его удары и выбегали по очереди на дорогу, ждали его, но он, не останавливаясь, сразу зашел на почту.

Вечером мама сказала, что Сенька-дровокол поправился, а Таисия-пекарка жаловалась, что Гоша таскал хлеб и кормил им всех ребят в почтовом дворе. "Этих ребят как саранчи. Всех не накормишь". Скоро Гоша захворал, его, как и Полинкиного дедушку, лечили от истощения. Мы бегали под окнами больницы, но нас не пускали, говорили, отделение заразное. Умер Гоша в середине зимы. Наш почтовый двор опустел.

МИХЕЕВЫ ЖИВУНЫ

За ночь метель перемела болото. Олени бежали неторопливо, часто проваливались в глубокий снег и скоро встали. Отец положил хорей на нарту, снял савик, пошел отыскивать настовый след. Он брел по пояс в снегу, как плыл, широко размахивая руками. Волосы на его голове заиндевели, от вспотевшей спины валил пар. Вдруг послышался его окрик, Михай догадался, что надо гнать упряжку по отцовскому следу. Тихонько задел по спине молодого коренника, и упряжка, бурова снег, тронулась.

Молодая олениха, Касатка первой, нащупала твердый наст, высоко вскинула голову, встряхнула со спины снег.

Отец вскочил на нарту, сел к Михею спиной и, пощелкивая языком, вскрикивал: "Пыр! Пыр! Пыр!" Эти звуки подбадривали оленей, колокольчик на крутой шее Касатки зазвенел ровно и певуче. Тропа потянулась возле низких кустарников вдоль берега реки.

Скоро отец положил хорей на колени и тихо, себе под нос затянул песню. Михай прижался к нему спиной, вслушиваясь в однообразные, монотонно-певучие звуки, пытаясь расслышать слова. Он знал, что отец в дороге часто напевает песню. То ли путь коротаает, то ли подпевает постоянной северной вьюге, то ли в песне разговаривает сам с собой. А может, он рассказывает о стаде, с которым прокочевал всю жизнь.

Раньше Михай никогда не думал об этом. Он был маленьким, теперь Михай стал большим. Осенью отец увез его в школу, и теперь он, как и все дети пастухов и оленеводов, живет в интернате, в большом поселке Саранпауль.

Он уже научился читать по букварю, решать задачи. Теперь очень легко сможет сосчитать всех рабочих оленей, которых по утрам пастухи загоняют в загон, чтобы поехать "кружить тропу" вокруг стада и узнать, не разбрелись ли олени, не зашел ли в стадо голодный волк. Михею все стадо

еще не пересчитать, но скоро Мария Петровна научит его считать до тысячи, до ста тысяч и больше. Тогда он будет помогать пастухам. А Куземке, своему младшему брату, он уже сейчас может прочитать сказку "Про репку" и про "Красную Шапочку и Серого волка".

Отец, как и обещал, приехал за ним в первый день каникул. Увидев возле школьного двора своих оленей, узнав вислоухую Касатку, Михей часто заморгал глазами, но не заплакал от радости, а подбежал к упряжке и стал гладить оленехе спину, шею, уши, и та, почувствовав ласку, доверчиво глядела на него большими глазами.

Михею хотелось поскорее оказаться в чуме пастухов-оленеводов, упасть на мягкие олени шкуры и погреться возле всегда горевшего чувала.

Сразу вспомнилось лицо матери, будто прошла она совсем рядом и прозвенели в ее косах вплетенные монеты и кольца.

Но отец уезжать не собирался. В Саранпауле у него оказалось много дел. Он ходил в правление совхоза, разговаривал с управляющим, зоотехником, потом с приемщиком пушнины. Надо было отцу побывать и в больнице, и в магазине, но, к великой радости Михея, вечером отец сказал, что все дела сделал и они через час-другой поедут домой.

От радости Михей подпрыгнул, обнял отца, прижался щекой к его бороде, от которой пахло снегом и дымом.

Они ехали ночь, день, еще ночь, делая остановки для отдыха оленей после каждого попрыска.

Нескончаемая песня отца убаюкивала мальчика. Он открыл глаза, проснувшись от громкого лая собак, быстро вскочил на нарте. Северок подбежал к нарте первым, обнюхал Михея, умудрился лизнуть ему щеку холодным кончиком языка.

В чуме было тепло, пахло оленьими шкурами, в пузатом чайнике бабушка кипятила чай. Отыскав взглядом свой лук, сделанный отцом из гибкого прутика черемушника, и стре-

лы в берестяной коробке, увидев ошейник Северка, Михей заулыбался, ему показалось, что он вовсе и не уезжал из дома. В этом чуме он прожил целых семь лет. А отец его, Герасим Анямов, – бригадир пастухов одного из оленьих стад совхоза Саранпаульский, каслает со своим стадом целых двадцать лет. Он перегоняет оленей с летних пастбищ на зимние за сотни верст, от Уральских предгорий до низменных ягельных мест, и знает в этой дороге каждый поворот, каждый переход, каждую озерину и болотину.

– Возле нашего озера вышку построили, – присаживаясь на корточки возле Михея, шепотом сказал Куземка. – А самый главный начальник в нашем чуме ночует. Я еще трубы видел. Они во какие, – Куземка развел руки в разные стороны и отвел их за спину. – И дом у них есть. Его на большой нарте машина таскает. Они там, за рекой.

Михей в школе много слышал о большой нефти Сибири, о буровиках, вышкомонтажниках, нефтяниках, но никогда не думал, что и на берегах маленькой речки Охыт-Еганки построят буровую вышку. В эту минуту ему вспомнились олени: гордые, с ветвистыми рогами.

– А олени где? – спросил он.

– Пастухи чуть-чуть отогнали. Скоро далеко погонят. Скоро и мы свой чум переставим на другое место. Здесь земля дымом запахла.

Михей выскочил из чума. За ним, надевая через голову савик, выбежал Куземка. Сразу подбежал Северок, будто подкарауливал Михея. Радостно взылая, теребил Михея за подол малицы, подпрыгивал перед ним на задних лапах, лизал руки.

– Обожди, обожди, Северок, – как взрослый говорил Михей, прислушиваясь.

Проскрипела сухостойная сосна. Какими-то таинственными показались шорохи ветвей на деревьях.

– Сегодня тихо, – сказал Куземка. – У них, наверное, опять бур сломался.

– Совсем не тихо. Просто ветер не с той стороны.

– А их начальник бородатый. Он звал меня на буровую, да я боюсь, – сознался Куземка, поудобнее усаживаясь на нарту.

Михей не слушал, о чем говорит брат. В эти минуты ему было жалко, что на будущий год пастухи уже не погонят сюда стадо и что он, быть может, в последний раз видит этот сосновый бор и крутой берег Охыт-Еганки. В Михее поселилось незнакомое чувство тревоги и обиды на незнакомых людей, которые пришли сюда неожиданно-негаданно и захозяйничали на извечных оленьих пастбищах. Теперь из-за них пастухам придется искать новые тропы.

Он не заметил, как Касатка повела ушами, а Северок, прижав уши к спине, понесся в сторону реки. Из-за поворота с ревом выехала, разбрасывая в разные стороны снег, большая, с гусеницами, как у трактора, крытая брезентом машина. Из нее вышел высокий мужчина с кудрявой рыжей бородой, одетый в теплый полушубок и косматые унты. Он даже не взглянув в сторону Михея, вошел в чум.

– Это он, – прошептал Куземка. – Это самый главный начальник, Борис Иванович.

Почему-то Михею совсем не хотелось играть в снежной крепости, которую долго и старательно делал без него Куземка, неохота было бегать наперегонки с Северком, кататься с берега на оленьей шкуре.

– Ну тогда пойдем в лес, – позвал Куземка, не зная, как развеселить брата, который приехал домой совсем не таким, каким уезжал.

Они молча пошли вдоль берега Охыт-Еганки. Михей сразу заметил обломанные кусты, след машины, которая сильными колесами вывернула мох вместе с землей. Недалеко от берега были спилены сосны. Снег еще не успел засыпать желтовато-смолистые срезы пней. Увезенные лесины оставили после себя глубокий след на снегу, а срубленные сучья валялись разбросанными по всему берегу. Михей снял лыжи и стал стаскивать их в кучу.



THE END OF THE WORLD
BY J. R. R. TOLKIEN
WITH ILLUSTRATIONS BY E. R. BRADSHAW
LONDON: BLOOMSBURY PUBLISHERS, 1955

– Зачем? – пропищал Куземка. – Деревьев много. Дяденьки все равно их рубить будут.

Михей не слушал его, и скоро Куземка стал помогать брату. Все тот же грозный рев машины заставил их обернуться.

– Вы что тут делаете? – услышали ребята хрипловатый голос бородатого дяденьки, который наполовину вывалился из кабины.

– Сучья собираем. Кто так сорит в лесу? – крикнул Михей.

Бородач вышел из машины, посмотрел на ребят, подхватил две срубленных вершины, оттащил их в кучу, пробурчал: – Мда-а-а, вот оно какое дело, – и сев в машину, поехал.

В один из солнечных дней Борис Иванович позвал Михея с Куземкой на буровую. Боязно было взбираться по стальным лестницам на верх буровой. Борис Иванович крепко держал Куземку за руку, а Михей, хоть и дрожал, но виду не подавал. С маленькой площадки до самого горизонта виднелись снега и снега. Небольшие перелески казались темными кругами. Среди дальних кустарников Михей разглядел черные пятнышки.

– Это олени, совхозное стадо, – сказал Борис Иванович, уловив Михеев взгляд.

– Олени-и-и, – обрадованно протянул Куземка. – Какие маленькие!

– А свой чум видите?

Ребята обернулись.

– Вон! Дым идет. Вон дорога и место, где деревья рубили. Какая большая наша земля!

Озеро Пумпо большое. Даже с буровой ребята не увидели его край. Отец рассказывал Михею, что еще дедушка и прапра-дедушка поставили здесь свой чум потому, что оно богато рыбой, а по его берегам хороший мох. Рядом много других озер, но рыбу в них никогда не ловили.

Михей с Куземкой надумали прорубить лунки, чтобы испробовать удочки, купленные в Саранпаульском сельпо.

Лед на озере оказался толстым.

– Нам, наверное, лунки не сделать, – сказал Куземка, снимая с себя малицу

– Сделаем, – успокаивал его Михай, с силой опуская на лед пешню. От его ударов на крепком льду образовывались только белые кружочки, мелкие крошечки льда отлетали в сторону.

– Нет. Силы у тебя мало, – не унимался Куземка, надевая снова малицу. Но вдруг показалась вода.

– Долби скорее! Я лед выбирать буду, – закричал Михай, заметив, как лунка быстро заполняется водой.

– Вычерпывай лед, вычерпывай! – закричал Куземка, увидев красноперого окунька.

– Е-е-е-е-е! Рыба сама прыгает. Удочек не надо! – обрадовался Куземка.

– Ты дурак. Рыба жедохнет. Думаешь, так бы она и стала тебе в руки прыгать? – говорил Михай, расширяя лунку.

– Живая рыба. Совсем недохнет, – не соглашался с братом Куземка, рассматривая окуня.

– Воздуха рыбе нехватает. Лед толстый. Озеро промерзло. Если так оставить, рыба вся передохнет.

– Вся?

– Вся не вся, а может, и вся.

Лунка вмиг оказалась заполнена живой рыбой. Прыгая, переворачиваясь, окуни оказывались на снегу, за ними, из-под льда выскакивали другие, будто кто-то выталкивал их в крохотное ледяное окошечко.

– Беги домой. Зови отца. Пусть торопится.

Куземка испугался. К чуму бежал запинаясь и, приоткрыв шкуру, закричал:

– Рыбадохнет! Рыба на озередохнет. Пойдемте помогать Михею. У него силы совсем мало лунки долбить. – Но взрослые не всполошились.

– Зачем, сынок, так кричишь? – тихим голосом сказала бабушка. – Озер много. Рыбы много. Дохнет одна, другая родит. Почто так кричишь?

Куземка громко заплакал.

– Михею в школу ехать пора, а он ушел лунки долбить, – сказал отец. – Зови его. Оленей пригнали.

Куземка побежал обратно на озеро, но не сказал Михею, что говорила бабушка, а стал помогать долбить лунки.

Домой пришли мокрые и уставшие. Михей, сняв малицу, лег на шкуры, отвернулся от всех. К нему подсел Борис Иванович.

– Что стряслось у тебя, хозяин? – как взрослого спросил он.

Михей фыркнул носом, но не заплакал, а тихо сказал:

– Рыба на озере дохнет. Завтра в школу надо ехать. Отец оленей пригнал. Рыбе воздуху не хватает. Лед толстый. Я места знаю, где лунки делать надо.

– Вот оно что, – протянул Борис Иванович, погладил Михея по черным жестким волосам. – Рыба, говоришь, дохнет. Тут подумать надо. Давай спи. Утро вечера мудренее.

– Значит, сына в школу увозишь? – спросил утром Борис Иванович Герасима.

– Пора ему в школу. Опаздывать нельзя, – сказал отец, поправляя упряжь.

– А сколько дней в дороге?

– На этих на второй день в Саранпауль домчимся, – поглаживая сытых оленей, ответил довольный отец.

– А что, если мы твоего Михея в школу вертолетом отвезем? – спросил Борис Иванович. – Быстро, всего один час – и в Саранпауле! – И продолжал: – Я сам туда лечу. Доставлю его в целости и сохранности.

– Если сам полетишь, тогда можно, – после долгого молчания сказал отец.

– Ну, хозяин, веди буровиков на выручку рыбе. Покажи, в каком месте лед долбить, где живуны делать, – спросил Борис Иванович, взяв в руки тяжелый лом.

Целый день Михей, Куземка, свободные от вахты буровики и сам Борис Иванович долбили лед и вычерпывали рыбу на безымянном озере. А к вечеру прилетел вертолет.

Впервые в жизни Михай подходил к винтокрылой машине. От сильного шума прикрыл ладонями уши. Когда вертолет медленно отрывался от земли, Михай прильнул к иллюминатору, не в силах оторвать взгляда от земли, которая казалась ему чистой, вымытой снегами, очищенной ветрами.

– Что это у вас там дымится? – сделав полукруг над озером, крикнул пилот и показал рукой.

– Живуны. Это Михеевы живуны! – ответил ему Борис Иванович и улыбнулся Михею.

Над озером, от каждой лунки поднимался туман.

ЗВОНОК СРЕДИ НОЧИ

Снежная пыль заволокла даль. Ветер-верховик давно оголил вершины хмурых кедрачей, сосняка, елей и воем выл в голых ветках березняка. Все живое вокруг замерло, спряталось в глубоком снегу, и только две узкие полоски лежневки-настила из деревянных плах выглядывали из-под снега, указывая зоркоглазому шоферу Шоте Топнадзе дорогу по узкой просеке к очередному лагпункту.

Его, опытного и проворного, немало поездившего фронтowymi дорогами, начальство отправляло в самые дальние рейсы. Жители дальних деревушек, зная про запрет не возить вольнонаемных пассажиров, тайком ждали Шоту за поворотом, у низкого сарая, за городком, затерянным среди Уральских гор, с красивым названием Светлая Балка. Машина, груженная мешками отрубей, бочками рыбной солонины, мороженой капустой, медленно останавливалась. Шота вылезал из кабины, безмолвно подавал знак рукой, что означало: залезайте! Околевшие на морозе люди молча устраивались между мешками, бочками и ящиками. Шофер накидывал поверх кузова большую брезентину, и грузовик, фырча и будто простужено кашляя, медленно следовал в снеговую даль. Проехав по вертким промороженным плахам километров тридцать, машина начинала "чихать", останавливалась. Шота стремглав перебрасывал ноги в серые пимы с толстыми подошвами, в несколько рядов прошитыми суровыми нитками дратвы, напевал:

— Где бравый танк не проползет и бронепоезд не промчится, "Захар" на пузе проползет, и ничего с ним не случится...

Он артистично отбрасывал чугунную крышку одного из пузатых бункеров и длинным металлическим штырем энергично шуровал обуглившиеся чурки. Столб искр, дыма, копоты поднимался ввысь, оседал на брезентине,

обволакивал смуглое бородатое лицо шофера. Шота широченной лопатой загружал котел заранее напиленными чурками. Все шло своим чередом, как вдруг...

– Ва-а! – раздался его удивленный возглас. Пассажиры переглянулись. – Ва-а! – снова крикнул Шота, улыбаясь. – Ирина здесь.

Одетая в длинное материнское пальто с большим шалевым воротником девушка глядела на Шоту, удивляясь: откуда он знает ее имя?

– К отцу на каникулы, – ответил за нее безногий счетовод Павел Рычков.

"Какой-то колонист знает мое имя", – подумала Ира и с пренебрежением посмотрела в его сторону.

– Откуда он тебя знает? – не упустил случая спросить Сашка Савченко, ехавший в колхоз. – Не боишься, Николай Михайлович узнает?

– Ну и что? Он не такой дурак, как ты, – набралась храбрости Ирина, хотя и помнила наказ домашних: не отвечать ни на какие вопросы заключенных. Она помнила и то, что все, кто привезен в этот край, предатели Родины. Каждое утро она видела, как проводят на работу этих заключенных под охраной вооруженных стрелков с собаками. "Жили бы с добрыми умыслами, так и не привезли бы в наши снега", – рассуждала Ирина.

На нее никто не обращал внимания, а в нынешнем году все как сдурели. Обязательно кто-нибудь да окликнет. Она даже стала бояться выходить из дома, пока не оглядится.

– Тебя ведь Ириной зовут? – спросил шофер. В ответ она кивнула и уже пожалела, что выпросилась у матери поехать в колхоз, к отцу, который работал там председателем. Колеса машины простучали по шпалам, и борт кузова накренился. Мотор заглох. Сменщик Шоты заматерился и, карабкаясь в кузов, буркнул:

– Теперь на морозе заснете. Не скоро выберемся из заноса.
– Машину на лежневку поднимали до самого вечера, бросая

под колеса хвойные ветки, деревянные чурки. Саша Савченко перепрыгнул через борт и, подпрыгивая, побежал по лежневке. Ирина сбросила с себя длиннущее пальто матери, легкой птичкой выпорхнула из кузова и снова быстро оделась.

– Давай наперегонки, – предложил ей Сашка.

У узкой тропки, ведущей в колхоз, они остановились.

– Там мой чемоданчик, – закричала Ирина сменщику. – Такой деревянный.

– Нет здесь никакого чемоданчика, – ответил тот.

– Там он! – закричала она, но машина поехала дальше.

Ирина заплакала.

– Найдется, – попытался успокоить ее Сашка.

– Много ты знаешь, – вытирая слезы, проговорила Ирина.

И в самом деле, откуда было знать парню, что в фанерном чемоданчике, закрытом братом на несколько узловков проволокой, лежало американское платье-клевш, фетровые боты матери, которые она весь вечер начищала двумя ложками манной крупы, и полушерстяной платок в крупную красно-черную клетку. В таком наряде она хотела появиться в колхозном клубе и при свете керосиновой лампы под скрипучую трофейную пластинку с фокстротом "Рио-Рита" танцевать перед колхозными ровесницами.

В деревню зашли в глубоких сумерках. Отец сидел в правлении среди окончивших работу доярок, скотников, конюхов. Обрадовался, увидев Ирину, но только и сказал:

– А я думал, мать приедет.

– Я завтра домой вернусь, пусть она едет.

– Чего так быстро собираешься обратно, еще и порог не переступила?

Она промолчала.

Отец жил в небольшом домике напротив правления. Пять ступенек из толстущих плах он одолел с двумя остановками. Домашнее тепло обняло Ирину, а горячее молоко разморило совсем. Она поправила на лбу челку.

– Как ты выросла за этот год, – сказал отец, когда дочь встала из-за стола. Серое байковое платье с отложным воротничком казалось совсем коротким, из-под него выставлялись длинные, худые ноги. Если бы не косы, то шея могла бы показаться ему чересчур длинной.

– Через год и школу закончу...

На следующий день до лежневой своротки ее и попутчиков домчал колхозный конь.

– Сегодня должен ехать из Бурмантово или Иван Трубка, или Иван Савельев, – сказал завмаг. Ехал Иван Трубка. Увидев колхозников, остановился.

– Ты, Ирина, иди в кабину садись, – сказал шофер.

"И этот меня знает! – с ужасом подумала она. – Вот наказание!"

– Что-то ты скоро нагостилась, – заметил шофер.

Тут Иринка не выдержала, заплакала и, сама не зная почему, рассказала Ивану, что у нее в предыдущем рейсе потерялся чемодан и что она об этом не сказала отцу и не знает, как сказать матери. Машина понеслась с такой скоростью, что сидевшие в кузове пассажиры начали стучать по кабине. Впереди задрожали тусклые огоньки - лампочки по всей длине высокого забора с колючей проволокой. Это была зона, которую крепко охраняли тяжелые засовы, бегающие по цепи собаки и вооруженные стрелки, сидевшие в будках, выстроенных гораздо выше забора. Не доезжая городка, пассажиры вылезли из кузова.

– Ты сиди.

– Я живу возле почты, – сказала Ирина, когда Иван Трубка не позволил ей открыть кабину, крепко придержав ручку. – А куда ты меня везешь? – закричала девушка, когда машина промчалась мимо почты.

– Куда надо.

Стрелок, стоявший возле ворот ЦРМ, не остановил Ивана. Через две минуты шофер привел пассажирку в какую-то пропахшую бензином конторку.

– Ба-а! Это же Ирина! – сказал кто-то весело.

– Где Шота Топнадзе? Кто был сменщиком? – строго спросил Иван Трубка. – У нее чемодан потерялся. Не выпрыгнул же он из кузова.

– Не может быть! Найдем его, Ирина.

– Откуда вы все знаете мое имя? – спросила она.

– Глупая! Как нам в этой глухомани не знать твоего имени? Вон у нас Алексей, все твои шаги высчитал. Каждую свободную минуту на крышу носится и все знает про тебя.

– Я, что одна живу в Светлой Балке?

– Нам нельзя с вами разговаривать, – сердито сказала она и замолчала. – Все вы предатели Родины!

– Это мы-то предатели Родины? Глубоко ошибаешься. Мы здесь все с фронта: кто раненым, кто контуженным в плен попал, а уж после – сюда!

– Давай, Иван, отвези ее домой, да так, чтобы никто и не узнал, что к нам завозил. Не наводи тень на плетень. Вон она какая хорошенькая, выросла на наших глазах, а мы все только издали поглядывали.

Ирина разревелась.

– Что ты такая плакса? Найдется твой чемоданчик, – успокаивали ее.

– Я уже не о нем плачу, а просто так.

Узнав о потере чемоданчика, мать не особо ругала Ирину, а только сокрушалась:

– Зачем брала мои фетровые боты! За них мне врачаха Елизавета Михайловна новый отрез на платье давала.

Там, в узелке, бабушка Русиниха шерсти на носки послала да две коровьих ноги на холодец, – сообщила дочь.

Мало-помалу мать успокоилась и велела:

– А ты на печь полезай да ложись не на доски, а на кирпичи, прогрейся как следует, а то взад-вперед по такому морозу. Опять захвораешь. – Ирина долго лежала с открытыми глазами, сон не шел.

Мать на цыпочках подошла, посмотрела в узкую

проталинку возле рамы.

– Какой-то парень, – сказала шепотом.

Ирина стремглав спрыгнула с печи.

– В руках-то у него мой чемоданчик! – воскликнула она.

Впопыхах засунув ноги в пимы, Ирина выскочила из избы. Не раздумывая, не говоря ни слова, с разбегу бросилась парню на шею. Он только успел спросить:

– Твой?

– Чего налетела на парня как сумасшедшая. С ног его свалишь! – кричала мать в приоткрытую дверь. Парень торопливо побежал к воротам. За ним стукнула щеколда.

– Кажись, он заключенный, – прошептала мать и погрозила Ирине пальцем.

В чемоданчике все лежало в целости и сохранности. С тех пор прошло целых тридцать лет. Ушли в прошлое трудные военные годы, изменилась жизнь в Светлой Балке. Городок похорошел с постройкой многоэтажных домов. По-прежнему говорливо шумит чистой водой речка Серебрянка. Правда, она стала мельче. Ирина Николаевна закончила институт, вышла замуж и давно уехала из Светлой Балки. И кому бы в голову пришло вспомнить про какой-то фанерный чемоданчик и старые фетровые боты да американское платье-клевш, если бы... не письмо, адресованное в редакцию Ирине Николаевне Аксеновой с пометкой "Лично!".

Письмо короткое, с единственным вопросом: "Ирина Аксенова не та ли девушка из далекого северного городка, которая жила в домике почтового двора?" И разборчивая подпись: Алексей Тимофеев... Ирина Николаевна несколько раз перечитала написанное. "Да – это я, – прошептала она сама себе и мысленно была уже в Светлой Балке, в домике, где прошло ее детство, – но Алексей Тимофеев, Алексей Тимофеев..." – повторяла она вслух.

Сколько лиц, судеб, различных встреч было у нее за время журналистской работы! Перебрала в уме всех одноклассников, ребят из параллельных классов, мысленно

пробежала от начала до конца по всем улицам Светлой Балки, но вспомнить этого загадочного Алексея Тимофеева так и не удалось. Домой пришла озадаченная.

Так кто же он?.. И вдруг лицо ее вспыхнуло.

– Боже мой! – вскочила она с постели. – Это же заключенный, который принес морозную ночь мой фанерный чемоданчик. Боже мой! Сколько же прошло лет? Двадцать? Нет, тридцать!

И сразу в голове вопрос: как он нашел меня? Ведь живу за тысячи километров от Светлой Балки... На память пришел еще один летний день, когда брат передал ей шариковую ручку (в ту пору редкий подарок!) от какого-то рыжего парня. Брату тут же велено было догнать парня и вернуть ручку.

– Он заключенный! – сказал брат, еле переводя дух. Ведут его в сторону ЦРМ.

– Достукалась? – сердито буркнула мать. – Моли Бога, что отца нет дома.

Да, это он. Парня звали Алексеем, а фамилию его она тогда не знала. Она была довольна, что смогла выискать кое-что в закромах памяти. Но что ему написать? Фразы, которые приходили на ум в этот момент, казались бессмысленными, никчемными, неубедительными, то слашаво-высокопарными, то совсем беспомощными. "Чего мудрить?" – подумала она и на чистом листке размашисто начала: "Да, я та девушка из почтового двора. Ирина Аксенова". Воспоминания вернули ее в те давние годы. На глаза навернулись слезы. Письмо она все-таки написала и отправила в Москву по указанному адресу.

Нельзя сказать, что Ирина Николаевна с нетерпением ждала ответа, но замечала, что в ворохе журналистской почты отбирала прежде всего письма с московскими адресами. Письмо пришло. "Светлейшая Ирина Николаевна" – так начиналось оно, и дальше шла исповедь Алексея, написанная убористым почерком. После отбытия

срока наказания в отдаленных от Светлой Балки лагпунктах "...ноги сами несли меня к домику во дворе почтового дома. Но та девушка, Ирина, уже не жила в нем. Она вышла замуж и уехала. Въезд домой, в Москву, мне был запрещен. И вот тут-то со мной произошла полная метаморфоза! Веря все-таки в человеческое добро, я стал упорно искать женщину по имени Мария Кирилловна, которая в те невыносимо трудные дни побега из фашистского плена помогла мне скрываться: держала в чулане, поила, кормила, перевязывала рану, рискуя собственной жизнью. С ее помощью мне удалось через суд восстановить свое воинское звание, получить заслуженные в боях ордена, поступить в институт и окончить его. Я долго был холост. Мне все снилась та девушка с длинными косами, что жила в домике почтового двора. Теперь у меня жена и две дочери! А сердце мое чувствовало, что я найду Ирину. Ирину Аксенову. И вот в газете "Социалистическая индустрия" я встретил очерк под этой фамилией. И почему-то совсем не сомневался, что это написано Вами, Ирина Николаевна! Однако не сразу взялся за письмо ведь прошла целая жизнь! Но я не мог не сказать главного: что своей счастливой судьбой я обязан двум русским женщинам, незабвенно дорогой Марии Кирилловне, спасшей меня от физической смерти, и той хрупкой девушке из почтового двора, которой я любовался издали, из-за которой несколько раз отправлялся в "побеги", и ловили меня всегда возле почты или в вашем огороде. Вначале сидел за это в карцере, а в последний раз отправили в Понил. Своим спасением и желанием жить я обязан Вам, Ирина Николаевна! С поклоном!.."

– Ничего себе, девушка с почтового двора! – вслух сказала она, еще раз вчитываясь в искреннюю исповедь Алексея Тимофеева.

Их переписка была редкой и немногословной, казалось, что каждый из них боялся лишних фраз. И только между строчек угадывался намек на желание встречи. Отважилась

на это Ирина Николаевна. В очередной раз проезжая через Москву, отыскала в блокноте номер министерства, где в то время работал Алексей Тимофеев, и позвонила. После секретаря ответил густой мужской голос.

– Мне бы Алексея Тимофеева.

– Ивановича, – послышалось в трубке.

На какой--то миг она стусевалась, но бодро продолжила:

– Это Ирина Макарова.

Воцарилось молчание, и через какое-то время послышалось невообразимо громкое:

– Ириночка! Ирина! Ира! Господи! Где вы?

– В Москве.

– Я сейчас! Я бегу, еду! Где найти?

– Я рядом с площадью Пушкина!

– Через десять-пятнадцать минут буду там. – И вдруг после заминки: – Ириночка, я теперь лысый!

– Зато с портфелем, – нашлась она. Послышался смех, похожий на гоготанье. И длинные гудки.

Она повесила трубку и задумалась: "А узнает ли он меня?" Вместо кос – модная стрижка, вместо тонкой талии – спрятанные под роскошным фасоном юбки раздобрившие бедра, да и лицо округлилось, возле глаз появились мелкие морщинки. Прежней осталась, пожалуй, лишь улыбка.

Шла к площади в раздумье: как они узнают друг друга, ведь она его совсем не помнила. На площади народу тьма – лысых, кудрявых, седых, бритых, старых, молодых, грустных, веселых! День был солнечным и, как ей показалось, праздничным. Прошло минут десять – двенадцать, прежде чем на углу среди покупателей цветов появился мужчина высокого роста, в сером костюме, в рубашке без галстука.

"Он!" – подумала она и торопливо пошла навстречу.

– Ирина! – закричал он издали.

Из букета повалились цветы.

– Так и должно быть, Ирина Николаевна, – не поднимая

роз, сказал Алексей Иванович и как-то по-свойски взял ее за руку и повел к свободной скамейке. Он заплакал, припав к ее руке. Она не пыталась утешать его.

Не выпуская ее руки, он сбивчиво заговорил о Светлой Балке, о центральных ремонтных мастерских, в которых Ирина никогда не была.

– Теперь там автобусный парк и вместо заключенных работают вольнонаемные, – постаралась она поддержать разговор.

– Ты помнишь начальника лагеря, полковника? – И он назвал фамилию.

– Нет, – тихо ответила Ирина Николаевна.

– А механика Сашу Дубинина? Такого белокурого. Он после освобождения женился на одной из дочерей начальника лагпункта.

Ирина Николаевна молчала. Откуда она, тогдашняя десятиклассница, могла что-то знать о лагерном начальстве и вообще обо всем, связанном с заключенными. Она помнила только лица тех, кто играл в духовом оркестре клуба имени Дзержинского.

– Ну, а Шоту Топнадзе ты, конечно, помнишь? Твой фанерный чемоданчик украл его сменщик. При заправке машины выбросил в снег, а на обратной дороге, запомнив место, остановился и забрал. Мы тогда из этого сменщика чуть душу не вытрясли. Но если бы не чемоданчик, разве бы я мог разглядеть тебя? Шоту в прошлом году видел, к нему с дочерьми в гости ездил. – И опять разговор пошел вокруг фанерного чемоданчика и девушки из почтового двора. Мало-помалу Алексей Иванович успокоился, долгим и пристальным взглядом посмотрел на Ирину Николаевну и произнес:

– Я такой и представлял вас, Ирина Николаевна, и откровенно скажу – эта встреча мне была просто необходима. – Он еще хотел что-то сказать, но тут Ирина Николаевна заторопилась. Через два часа уходил ее поезд. Она отказалась поехать на вокзал в его машине, за углом

остановила такси. Расстались нелепо. Быть может, в этих нелепостях и таились вся сила и трагизм их отношений.

В вагоне она расплакалась, хотя толком не могла объяснить причину своих слез. И продолжала крепко держать одну, оставшуюся в руках розу. "Нет, не нужно больше встреч, – твердо решила она. – Пусть я останусь в его жизни сказкой из суровой юности". Не хотелось ни разочаровывать Алексея Ивановича, ни разочаровываться самой. Со сказкой и мечтой жить легче! Она осталась верна своему слову. Прошло еще двадцать лет. Внук принес почту и громко прочитал обратный адрес:

– Москва. Тимофееву А. И.

– От Тимофеева? – переспросила она.

Обычно они обменивались лаконичными открытками накануне праздников. Адресованные ей всегда начинались одинаково: "Светлейшая, благороднейшая, добрейшая...", а потом шли банальные поздравления и добрые пожелания. Но это была не открытка, а письмо. Пришлось взять очки. Оказалось, внук Алексея Ивановича, старшеклассник, узнав, что дед был репрессирован и отбыл срок в суровых краях, попросил его написать воспоминания. Дед согласился, но, сам того не ожидая, поймал себя на мысли, что ничего примечательного не помнит, если не считать встречи с девушкой из почтового двора. День начинался с желания увидеть ее то бегущей в школу, то носившей из проруби воду... И что она, эта девушка, до сих пор стоит перед его глазами, как добрый ангел-хранитель... Алексей Иванович спрашивал, не будет ли возражать Ирина Николаевна, если он расскажет об этом в своих воспоминаниях. Ну что ему было ответить? И вдруг телефонный звонок.

– Ириночка, это ты? – осведомился мужской голос.

– Для кого это я вдруг стала Ириночкой?

– Ириночка, ты что, не узнала меня? Это я, Алексей.

– Боже милостивый, – только и выговорила Ирина Николаевна.

- Я из Москвы. Неужели не узнала?
- Алексей Иванович, мой дорогой! – торопливо ответила Ирина Николаевна.
- Как ты назвала? Я не ослышался? Назвала меня дорогим?
- В нашем возрасте все позволительно, – весело сказала она.
- Всю жизнь я прожил в ожидании услышать от вас это слово. Спасибо. А сейчас слушайте меня не перебивайте, не останавливай: Вчера я приехал с дачи, и у меня нестерпимо заболело сердце. Болит и сейчас. Слышишь?
- Слышу, – пролепетала она.
- Знайте, что ты всегда была для меня самым дорогим и любимым человеком на всем белом свете. Думы о тебе спасали меня. Для всей моей семьи, жены, детей, внуков вы и ваша семья будете самыми желанными гостями в моем доме. Это на случай, если вдруг перестанет биться мое сердце.
- Ну, перестаньте, Алексей Иванович! Нам еще рано говорить об этом...
- Но вместо ответа в трубке пошли протяжные гудки.

1	COOPER'S BIRCH
2	COOPER'S BIRCH
3	COOPER'S BIRCH
4	COOPER'S BIRCH
5	COOPER'S BIRCH
6	COOPER'S BIRCH
7	COOPER'S BIRCH
8	COOPER'S BIRCH
9	COOPER'S BIRCH
10	COOPER'S BIRCH
11	COOPER'S BIRCH
12	COOPER'S BIRCH
13	COOPER'S BIRCH
14	COOPER'S BIRCH
15	COOPER'S BIRCH
16	COOPER'S BIRCH
17	COOPER'S BIRCH
18	COOPER'S BIRCH
19	COOPER'S BIRCH
20	COOPER'S BIRCH
21	COOPER'S BIRCH
22	COOPER'S BIRCH
23	COOPER'S BIRCH
24	COOPER'S BIRCH
25	COOPER'S BIRCH
26	COOPER'S BIRCH
27	COOPER'S BIRCH
28	COOPER'S BIRCH
29	COOPER'S BIRCH
30	COOPER'S BIRCH
31	COOPER'S BIRCH
32	COOPER'S BIRCH
33	COOPER'S BIRCH
34	COOPER'S BIRCH
35	COOPER'S BIRCH
36	COOPER'S BIRCH
37	COOPER'S BIRCH
38	COOPER'S BIRCH
39	COOPER'S BIRCH
40	COOPER'S BIRCH
41	COOPER'S BIRCH
42	COOPER'S BIRCH
43	COOPER'S BIRCH
44	COOPER'S BIRCH
45	COOPER'S BIRCH
46	COOPER'S BIRCH
47	COOPER'S BIRCH
48	COOPER'S BIRCH
49	COOPER'S BIRCH
50	COOPER'S BIRCH
51	COOPER'S BIRCH
52	COOPER'S BIRCH
53	COOPER'S BIRCH
54	COOPER'S BIRCH
55	COOPER'S BIRCH
56	COOPER'S BIRCH
57	COOPER'S BIRCH
58	COOPER'S BIRCH
59	COOPER'S BIRCH
60	COOPER'S BIRCH
61	COOPER'S BIRCH
62	COOPER'S BIRCH
63	COOPER'S BIRCH
64	COOPER'S BIRCH
65	COOPER'S BIRCH
66	COOPER'S BIRCH
67	COOPER'S BIRCH
68	COOPER'S BIRCH
69	COOPER'S BIRCH
70	COOPER'S BIRCH
71	COOPER'S BIRCH
72	COOPER'S BIRCH
73	COOPER'S BIRCH
74	COOPER'S BIRCH
75	COOPER'S BIRCH
76	COOPER'S BIRCH
77	COOPER'S BIRCH
78	COOPER'S BIRCH
79	COOPER'S BIRCH
80	COOPER'S BIRCH
81	COOPER'S BIRCH
82	COOPER'S BIRCH
83	COOPER'S BIRCH
84	COOPER'S BIRCH
85	COOPER'S BIRCH
86	COOPER'S BIRCH
87	COOPER'S BIRCH
88	COOPER'S BIRCH
89	COOPER'S BIRCH
90	COOPER'S BIRCH
91	COOPER'S BIRCH
92	COOPER'S BIRCH
93	COOPER'S BIRCH
94	COOPER'S BIRCH
95	COOPER'S BIRCH
96	COOPER'S BIRCH
97	COOPER'S BIRCH
98	COOPER'S BIRCH
99	COOPER'S BIRCH
100	COOPER'S BIRCH

СОДЕРЖАНИЕ

СОЛНЕЧНАЯ ЗЕМЛЯНКА	
Глава первая.....	7
Глава вторая.....	22
Глава третья.....	35
Глава четвертая.....	42
Глава пятая.....	53
Глава шестая.....	66
Глава седьмая.....	74
Глава восьмая.....	80
Глава девятая.....	90
Глава десятая.....	99
Глава одиннадцатая.....	105
Глава двенадцатая.....	118
Глава тринадцатая.....	127
Глава четырнадцатая.....	143
Глава пятнадцатая.....	151
Глава шестнадцатая.....	159
Глава семнадцатая.....	166
Глава восемнадцатая.....	181
Эпилог.....	183
СОЛДАТКИ.....	185
СКАЗАНИЕ О ГЕРОЕ АЛЕШЕ И ЕГО ЗЕМЛЯКАХ.....	232
БУРУНДУЧОК.....	250
ЛЕЙТЕНАНТОВА ЖЕНА.....	264
ДЕДУШКИН РЕМЕНЬ.....	284
ЗАЯЧЬИ ГОСТИНЦЫ.....	294
ДРОВОКОЛ ГОША.....	304
МИХЕЕВЫ ЖИВУНЫ.....	328
ЗВОНОК СРЕДИ НОЧИ.....	337

THE
UNIVERSITY OF
MICHIGAN
LIBRARY

1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960

1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

**Маргарита Кузминична
АНИСИМКОВА**
Солнечная землянка
*Повести
Рассказы*

Редактор *М. Э. Чупрякова*
Дизайн обложки, титула и шмуцтитуров
В. И. Реутова
Иллюстрации *А. В. Реутовой*
Фото на переплете *А. В. Реутовой*
Корректор *М. С. Попова*
Компьютерная верстка *А. В. Реутов*
Компьютерная верстка обложки, титула
и шмуцтитуров *А. П. Никифорова*

Подписано в печать 16.03.2004 г.
Формат 84x108 1/32. Бумага ВХИ. Печать офсетная.
Гарнитура «Times». Усл. печ. л. 11.
Тираж 2250 экз. Заказ № 848.

ООО «Издательский дом «ПАКРУС»
Представительство Ассоциации книгоиздателей России
по Урала и Сибири
620219, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 49.
Лицензия на издательскую деятельность
ЛР № 071939, выдана 14.07.99

Отпечатано с готовых диапозитивов
в ОАО «ИПП Уральский рабочий».
620219, г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 13.
<http://www.uralprint.ru>
[e-mail:book@uralprint.ru](mailto:book@uralprint.ru)

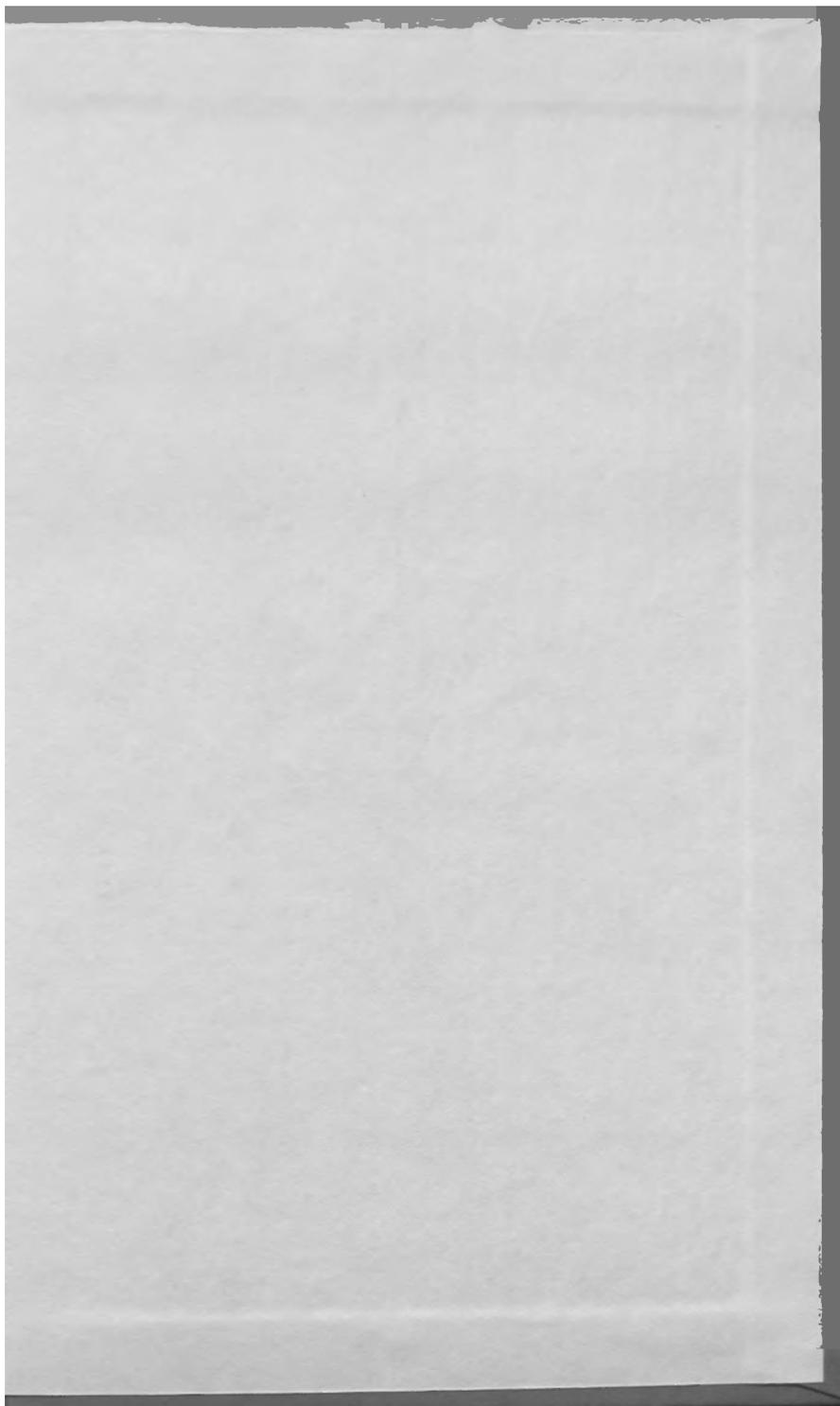


1002

BIS NIZHNEVARTOVSKA



347 107 1000



Новая книга
«Солнечная землянка»
известной писательницы
России
Маргариты Анисимковой
включает повесть
о солдате, вернувшемся
с войны, его жизни
и любви, и цикл рассказов
о жизни детей военного
времени.
Издается к 60-летию
Великой Победы.

Издательский дом «ПАКРУС»